

с того берега

Г. Газданов

М. Осоргин

И. Бунин

В. Набоков

А. Несметов











# **с того берега**

Писатели русского зарубежья о России  
Произведения 20—30 гг.  
Книга вторая

**Г. Газданов**

**М. Осоргин**

**И. Бунин**

**В. Набоков**

**А. Несмелов**



Москва. Водолей. 1992

Составитель, автор вступительной статьи  
и справок об авторах  
**И. А. Курамжина**

Художник  
**А. П. Платонов**

**С того берега: Писатели русского зарубежья о России. Произведения 20—30 гг. Книга вторая. / Сост., авт. вступ. статьи и примеч. И. А. Курамжина. — М.: Водолей, 1992. 427 с.**

ISBN 5—7585—0018—6

Книгу составили роман Г. И. Газданова «Вечер у Клэр», рассказ М. А. Осоргина «Земля», этюд И. А. Бунина «Странствия», роман В. В. Набокова «Подвиг», рассказ А. И. Несмелова «Полковник Афонин».

С 4702010001—016 Без объявл.  
978(02)—92

**ББК 84Р**

ISBN 5—7585—0018—6 (Кн.2)

ISBN 5—7585—0016—х

© Состав., вступ. статья, справки об авторах, И. А. Курамжина, 1992  
© Оформление, А. П. Платонов, 1992

# Г. Газданов

## Вечер у Клэр

РОМАН

«Вся жизнь моя была залогом  
Свиданья верного с тобой».

*Пушкин*

Клэр была больна; я просиживал у нее целые вечера и, уходя, всякий раз неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена и шел потом пешком с улицы Raynouard на площадь St. Michel, возле которой я жил. Я проходил мимо конюшен Ecole Militaire; оттуда слышался звон цепей, на которых были привязаны лошади, и густой конский запах, столь необычный для Парижа; потом я шагал по длинной и узкой улице Babylone, и в конце этой улицы в витрине фотографии, в неверном

свете далеких фонарей, на меня глядело лицо знаменитого писателя, все составленное из наклонных плоскостей; всезнающие глаза под роговыми европейскими очками провожали меня полквартала — до тех пор, пока я не пересекал черную сверкающую полосу бульвара Raspail. Я добирался наконец до своей гостиницы. Деловитые старухи в лохмотьях обгоняли меня, перебирая слабыми ногами; над Сеной горели, утопая в темноте, многочисленные огни, и когда я глядел на них с моста, мне начинало казаться, что я стою над гаванью и что море покрыто иностранными кораблями, на которых зажжены фонари. Оглянувшись на Сену в последний раз, я поднимался к себе в комнату и ложился спать и тотчас погружался в глубокий мрак; в нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы и так и пропадающие, не воплотившись; и я во сне жалел об их исчезновении, сочувствовал их воображаемой, непонятной печали и жил и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не узнаю наяву. Это должно было бы огорчать меня; но утром я забывал о том, что видел во сне, и последним воспоминанием вчерашнего дня было воспоминание о том, что я опять опоздал на поезд. Вечером я снова отправлялся к Клэр. Муж ее несколько месяцев тому назад уехал на Цейлон, мы были с ней одни; и только горничная, приносящая чай и печенье на деревянном подносе с изображением худенького китайца, нарисованного тонкими линиями, женщина лет сорока пяти, носившая пенсне и потому непохожая на служанку, и раз навсегда о чем-то задумавшаяся — она все забывала то щипцы для сахара, то сахарницу, то блюдечко или

ложку — только горничная прерывала наше пребывание вдвоем, входя и спрашивая, не нужно ли чего-нибудь madame. И Клэр, которая почему-то была уверена, что горничная будет обижена, если ее ни о чем не попросят, говорила: да, принесите, пожалуйста, граммофон с пластинками из кабинета monsieur — хотя граммофон вовсе не был нужен и, когда горничная уходила, он оставался на том месте, куда она его поставила, и Клэр сейчас же забывала о нем. Горничная приходила и уходила раз пять за вечер; и когда я как-то сказал Клэр, что ее горничная очень хорошо сохранилась для своего возраста и что ноги ее обладают совершенно юношеской неутомимостью, но что, впрочем, я считаю ее не вполне нормальной — у нее или мания передвижения, или просто малозаметное, но несомненное ослабление умственных способностей, связанное с наступающей старостью, — Клэр посмотрела на меня с сожалением и ответила, что мне следовало бы изощрять мое специальное русское остроумие на других. И прежде всего, по мнению Клэр, я должен был бы вспомнить о том, что вчера я опять явился в рубашке с разными запонками, что нельзя, как я это сделал позавчера, класть мои перчатки на ее постель и брать Клэр за плечи, точно я здороваюсь не за руку, а за плечи, чего вообще никогда на свете не бывает, и что если бы она захотела перечислить все мои погрешности против элементарных правил приличия, то ей пришлось бы говорить... она задумалась и сказала: пять лет. Она сказала это с серьезным лицом — мне стало жаль, что такие мелочи могут ее огорчать, и я хотел попросить у нее прощения; но она отвернулась, спина ее задрожала, она поднесла платок к глазам — и когда, наконец, она



посмотрела на меня, я увидел, что она смеется. И она рассказала мне, что горничная переживает свой очередной роман и что человек, который обещал на ней жениться, теперь наотрез от этого отказался.— И потому она такая задумчивая.— О чем же тут задумываться?— спросил я,— ведь он отказался на ней жениться. Разве нужно так много времени, чтобы понять эту простую вещь?— Вы всегда слишком прямо ставите вопросы,— сказала Клэр.— С женщинами так нельзя. Она задумывается потому, что ей жаль, как вы не понимаете?— А долго длился роман?— Нет,— ответила Клэр,— всего две недели.— Странно, она ведь всегда была такой задумчивой,— заметил я.— Месяц тому назад она так же грустила и мечтала, как сейчас.— Боже мой,— сказала Клэр,— просто тогда у нее был другой роман.— Это действительно очень просто,— сказал я;— простите меня, я не знал, что под пенсне вашей горничной скрыта трагедия какого-то женского Дон-Жуана, который, однако, любит, чтобы на нем женились, в противоположность Дон-Жуану литературному, относившемуся к браку отрицательно. Но Клэр прервала меня и продекламировала с пафосом фразу, которую она прочла в рекламной афише, и читая которую, смеялась до слез:

— Heureux acquereurs de la vraie Salamandre  
Jamais abandonnés par le constructeur!<sup>1</sup>

Затем разговор вернулся к Дон-Жуану, потом, неизвестно как, перешел к подвижникам, к протопопу Аввакуму, но, дойдя до искушения святого

---

<sup>1</sup> Счастливые обладатели настоящей «Саламандры»,  
Никогда не оставляемые фабрикой! (фр.— Прим. автора.)



Антония, я остановился, так как вспомнил, что подобные разговоры не очень занимают Клэр; она предпочитала другие темы — о театре, о музыке; но больше всего она любила анекдоты, которых знала множество. Она рассказывала мне эти анекдоты, чрезвычайно остроумные и столь же неприличные; и тогда разговор принимал особый оборот — и самые невинные фразы, казалось, таили в себе двусмысленность — и глаза Клэр становились блестящими; а когда она переставала смеяться, они делались темными и преступными и тонкие ее брови хмурились; но как только я подходил ближе к ней, она сердитым шепотом говорила: *mais vous êtes fou*<sup>1</sup> — и я отходил. Она улыбалась, и улыбка ее ясно говорила: *mon Dieu, qu'il est simple*!<sup>2</sup> И тогда я, продолжая прерванный разговор, начинал с ожесточением ругать то, к чему обычно бывал совершенно равнодушен; я старался говорить как можно резче и обиднее, точно хотел отомстить за поражение, которое только что претерпел. Клэр насмешливо соглашалась с моими доводами; и оттого, что она так легко уступала мне в этом, мое поражение становилось еще более очевидным. — *Oui, mon petit, c'est très intéressant, ce que vous dites là*<sup>3</sup>, — говорила она, не скрывая своего смеха, который относился, однако, вовсе не к моим словам, а все к тому же поражению, — и подчеркивая этим пренебрежительным «*là*», что она всем моим доказательствам не придает никакого значения. Я делал над собой усилие, вновь

---

<sup>1</sup> Но вы с ума сошли (фр.— Прим. автора.).

<sup>2</sup> Боже, как он прост! (фр.— Прим. автора.)

<sup>3</sup> Да, то, что вы говорите, очень интересно (фр.— Прим. автора.).

преодолевая искушение приблизиться к Клэр, так как понимал, что теперь было поздно; я заставлял себя думать о другом, и голос Клэр доходил до меня полузаглушенным; она смеялась и рассказывала мне какие-то пустяки, которые я слушал с напряженным вниманием, пока не замечал, что Клэр просто забавляется. Ее развлекало то, что я ничего не понимал в такие моменты. На следующий день я приходил примиренным; я обещал себе не приближаться к ней и выбирал такие темы, которые устранили бы опасность повторения вчерашних унижительных минут. Я говорил обо всем печальном, что мне пришлось видеть, и Клэр становилась тихой и серьезной и рассказывала мне в свою очередь, как умирала ее мать.— *Asseyez-vous ici*<sup>1</sup>,— говорила она, указывая на кровать, и я садился совсем близко к ней, и она клала мне голову на колени и произносила:— *oui, mon petit, c'est triste, nous sommes bien malheureux quand même*<sup>2</sup>. Я слушал ее и боялся шевельнуться, так как малейшее мое движение могло оскорбить ее грусть. Клэр гладила рукой одеяло то в одну, то в другую сторону; и печаль ее словно тратилась в этих движениях, которые сначала были бессознательными, потом привлекали ее внимание, и кончалось это тем, что она замечала на своем мизинце плохо срезанную кожу у ногтя и протягивала руку к ночному столику, на котором лежали ножницы. И она опять улыбалась долгой улыбкой, точно поняла и проследила в себе какой-то длинный ход воспоминаний, который кончился неожиданной,

---

<sup>1</sup> Садитесь сюда (фр.— Прим. автора).

<sup>2</sup> Да, это грустно, мы все-таки очень несчастны (фр.— Прим. автора).

но вовсе не грустной мыслью; и Клэр взглядывала на меня мгновенно темневшими глазами. Я осторожно перекладывал ее голову на подушку и говорил: простите, Клэр, я забыл папиросы в кармане плаща — и уходил в переднюю, и тихий ее смех доносился до меня. Когда я возвращался, она замечала:

— J'étais étonnée tout à l'heure. Je croyais que vous portiez vos cigarettes toujours sur vous, dans la poche de votre pantalon, comme vous le faisiez jusqu'à présent. Vous avez changé d'habitude?<sup>1</sup>

И она смотрела мне в глаза, смеясь и жалея меня, и я знал, что она прекрасно понимала, почему я встал и вышел из комнаты. Вдобавок я имел неосторожность сейчас же вытащить портсигар из заднего кармана брюк. — Ditez moi, — сказала Клэр, как бы умоляя меня ответить ей правду, — quelle est la difference entre un trench-coat et un pantalon?<sup>2</sup>

— Клэр, это очень жестоко, — ответил я.

— Je ne vous reconnais pas, mon petit. Mettez toujours en marche le phono, ça va vous distraire<sup>3</sup>.

В тот вечер, уходя от Клэр, я услышал из кухни голос горничной, — надтреснутый и тихий. Она пела с тоской веселую песенку, и это удивило меня.

---

<sup>1</sup> Я была удивлена. Я думала, что вы носите папиросы в кармане брюк, как вы это делали до сих пор. Вы изменили этой привычке? (Фр.— Прим. автора.)

<sup>2</sup> Скажите мне: какая разница между плащом и брюками?.. (Фр.— Прим. автора.)

<sup>3</sup> Я вас не узнаю. Заведите граммофон, это вас развлечет (фр.— Прим. автора).

C'est une chemise rose  
Avec une petite femme dedans,  
Fraiche comme la fleur éclore,  
Simple comme la fleur des champs<sup>1</sup>.

Она вкладывала столько меланхолии в эти слова, столько ленивой грусти, что они начинали звучать иначе, чем обычно, и фраза «*fraiche comme le fleur éclore*» сразу напомнила мне пожилое лицо горничной, ее пенсне, ее роман и постоянную ее задумчивость. Я рассказал это Клэр; она отнеслась к несчастью горничной с участием — потому что с Клэр ничего подобного случиться не могло, и это сочувствие не пробуждало в ней личных чувств или опасений — и ей очень понравилась песенка:

C'est une chemise rose  
Avec une petite femme dedans.

Она придавала этим словам самые разнообразные оттенки — то вопросительный, то утвердительный, то торжествующий и насмешливый. Каждый раз, как я слышал этот мотив на улице или в кафе, мне становилось не по себе. Однажды я пришел к Клэр и стал бранить песенку, говоря, что она слишком французская, что она пошлая и что соблазн такого легкого остроумия не увлек бы ни одного композитора, более или менее способного; вот в этом главное отличие французской

---

<sup>1</sup> Почти непереводаимо. Буквально это значит следующее:  
Это розовая рубашка,  
Внутри которой — женщина,  
Свежая, как распутившийся цветок.  
Простая, как цветок полей.

(Фр.— Прим. автора.)

психологии от серьезных вещей — говорил я: это искусство, столь же непохожее на настоящее искусство, как поддельный жемчуг на неподдельный. В этом не хватает самого главного, сказал я, исчерпав все свои аргументы и рассердившись на себя. Клэр утвердительно кивнула головой, потом взяла мою руку и сказала:

— Il n'y manque qu'une chose<sup>1</sup>.

— Что именно? — Она засмеялась и пропела:

— C'est une chemise rose

Avec une petite femme dedans.

Когда Клэр выздоровела и провела несколько дней уже не в кровати, а в кресле или на chaiselongue<sup>2</sup> и почувствовала себя вполне хорошо, она потребовала, чтобы я сопровождал ее в кинематограф. После кинематографа мы просидели около часа в ночном кафе. Клэр была со мной очень резка, часто обрывала меня: когда я шутил, она сдерживала свой смех и, улыбаясь против воли, говорила: non, ce n'est pas bien dit, ça<sup>3</sup>, и так как она была в плохом, как мне казалось, настроении, то у нее было впечатление, что и другие всем недовольны и раздражены. И она с удивлением спрашивала меня: mais qu'est ce que vous avez ce soir? Vous n'etes pas comme toujours<sup>4</sup>, — хотя я вел себя нисколько не иначе, чем всегда. Я проводил ее домой; шел дождь. У двери, когда я поцеловал ей руку, прощаясь, она вдруг раздраженно сказала: mais entrez donc, vous allez boire une

---

<sup>1</sup> Здесь не хватает только одного (фр.— Прим. автора).

<sup>2</sup> шезлонг (фр.).

<sup>3</sup> Нет, это не остроумно (фр.— Прим. автора).

<sup>4</sup> Что с вами сегодня вечером? Вы не такой, как всегда (фр.— Прим. автора).

tasse de thé<sup>1</sup>,— и произнесла это таким сердитым тоном, как если бы хотела прогнать меня: ну, уходите, разве вы не видите, что вы мне надоели? Я вошел. Мы выпили чай в молчании. Мне было тяжело, я подошел к Клэр и сказал:

— Клэр, не надо на меня сердиться. Я ждал встречи с вами десять лет. И я ничего у вас не прошу.— Я хотел прибавить, что такое долгое ожидание дает право на просьбу о самом простом, самом маленьком снисхождении; но глаза Клэр из серых стали почти черными; я с ужасом увидел,— так как слишком долго этого ждал и перестал на это надеяться,— что Клэр подошла ко мне вплотную и ее грудь коснулась моего двубортного застегнутого пиджака; она обняла меня, лицо ее приблизилось; ледяной запах мороженого, которое она ела в кафе, вдруг почему-то необыкновенно поразил меня; и Клэр сказала: *comment ne compreniez vous pas?..*<sup>2</sup>— и судорога прошла по ее телу. Туманные глаза Клэр, обладавшие даром стольких превращений, то жестокие, то бесстыдные, то смеющиеся,— мутные ее глаза я долго видел перед собой; и когда она заснула, я повернулся лицом к стене, и прежняя печаль посетила меня; печаль была в воздухе, и прозрачные ее волны проплывали над белым телом Клэр, вдоль ее ног и груди; и печаль выходила из рта Клэр невидимым дыханием. Я лежал рядом с Клэр и не мог заснуть; и, отводя взгляд от ее побледневшего лица, я заметил, что синий цвет обоев в комнате Клэр мне показался внезапно посветлевшим и странно

---

<sup>1</sup> Ну, входите же, выпейте чашку чая (фр.— *Прим. автора*).

<sup>2</sup> Как, вы не понимали?.. (Фр.— *Прим. автора*.)



изменившимся. Темно-синий цвет, каким я видел его перед закрытыми глазами, представлялся мне всегда выражением какой-то постигнутой тайны — и постижение было мрачным и внезапным и точно застыло, не успев высказать все до конца; точно это усилие чьего-то духа вдруг остановилось и умерло — и вместо него возник темно-синий фон. Теперь он превратился в светлый; как будто усилие еще не кончилось и темно-синий цвет, посветлев, нашел в себе неожиданный, матово-грустный оттенок, странно соответствовавший моему чувству и несомненно имевший отношение к Клэр. Светло-синие призраки с обрубленными кистями сидели в двух креслах, стоявших в комнате, они были равнодушно враждебны друг другу, как люди, которых постигла одна и та же судьба, одно и то же наказание, но за разные ошибки. Лиловый бордюр обоев изгибался волнистой линией, похожей на условное обозначение пути, по которому проплывает рыба в неведомом море; и сквозь трепещущие занавески открытого окна все стремилось и не могло дойти до меня далекое воздушное течение, окрашенное в тот же светло-синий цвет и несущее с собой длинную галерею воспоминаний, падавших обычно как дождь и столь же неудержимых; но Клэр повернулась, проснувшись и пробормотав: *vous ne dormez pas? Dormez toujours, mon petit, vous serez fatigué le matin*<sup>1</sup>, и глаза ее опять было потемнели. Она, однако, была не в силах преодолеть оцепенение сна и, едва договорив фразу, опять заснула; брови ее остались поднятыми, и во сне она как будто удив-

---

<sup>1</sup> Вы не спите? Спите, утром вы будете усталым (фр.— Прим. автора).

лялась тому, что с ней сейчас происходит. В том, что она этому удивлялась, было нечто чрезвычайно для нее характерное: отдаваясь власти сна или грусти или другого чувства, как бы сильно оно ни было, она не переставала оставаться собой; и казалось, самые могучие потрясения не могли ни в чем изменить это такое законченное тело, не могли разрушить это последнее, непобедимое очарование, которое заставило меня потратить десять лет моей жизни на поиски Клэр и не забывать о ней нигде и никогда.— Но во всякой любви есть печаль — вспоминал я:— печаль завершения и приближения смерти любви, если она бывает счастливой, и печаль невозможности и потери того, что нам никогда не принадлежало — если любовь остается тщетной. И как я грустил о богатствах, которых у меня не было,— так раньше я жалел о Клэр, принадлежавшей другим; и так же теперь, лежа на ее кровати, в ее квартире в Париже, в светло-синих облаках ее комнаты, которые я до этого вечера счел бы несбыточными и несуществующими — и которые окружали бледное тело Клэр, покрытое в трех местах такими постыдными и мучительно соблазнительными волосами; так же теперь я жалел о том, что я уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда; и что пройдет еще много времени, пока я создам себе иной ее образ и он опять станет в ином смысле столь же недостижимым для меня, сколь недостижимым было до сих пор это тело, эти волосы, эти светло-синие облака.

Я думал о Клэр, о вечерах, которые я проводил у нее, и постепенно стал вспоминать все, что им предшествовало; и невозможность понять и выразить все это была мне тягостна. В тот вечер

мне казалось более очевидно, чем всегда, что никакими усилиями я не могу вдруг охватить и почувствовать ту бесконечную последовательность мыслей, впечатлений и ощущений, совокупность которых возникает в моей памяти как ряд теней, отраженных в смутном и жидком зеркале позднего воображения. Самым прекрасным, самым пронзительным чувством, которые я когда-либо испытывал, я обязан был музыке; но ее волшебное и мгновенное существование есть лишь то, к чему я бесплодно стремлюсь — и жить так я не могу. Очень часто в концерте я внезапно начинал понимать то, что до тех пор казалось мне неуловимым; музыка вдруг пробуждала во мне такие странные физические ощущения, к которым я считал себя неспособным, но с последними замиравшими звуками оркестра эти ощущения исчезали и я опять оставался в неизвестности и неуверенности, мне часто присущими. Болезнь, создававшая мне неправдоподобное пребывание между действительным и мнимым, заключалась в неумение моем ощущать отличие усилий моего воображения от подлинных, непосредственных чувств, вызванных случившимися со мной событиями. Это было как бы отсутствием дара духовного осязания. Всякий предмет был почти лишен в моих глазах точных физических очертаний; и в силу этого странного недостатка я никогда не мог сделать даже самого плохого рисунка; и позже, в гимназии, я при всем усилии не представлял себе сложных линий чертежей, хотя понимал ясную цель их сплетений. С другой стороны, зрительная память у меня была всегда хорошо развита, и я до сих пор не знаю, как примирить это явное противоречие: оно было первым из тех бесчисленных противоречий,

которые впоследствии погружали меня в бес-  
сильную мечтательность; они укрепляли во мне  
сознание невозможности проникнуть в сущ-  
ность отвлеченных идей; и это сознание, в свою  
очередь, вызывало неуверенность в себе. Я был  
поэтому очень робок; и моя репутация дерзкого  
мальчика, которую я имел в детстве, объясня-  
лась, как это понимали некоторые люди, например  
моя мать, именно сильным желанием победить  
эту постоянную несамоуверенность. Позже у ме-  
ня появилась привычка к общению с самыми раз-  
нообразными людьми, и я даже выработал извест-  
ные правила разговора, которых почти никогда  
не преступал. Они заключались в употреблении  
нескольких десятков мыслей, достаточно сложных  
на вид и чрезвычайно примитивных на самом де-  
ле, доступных любому собеседнику; но сущность  
этих простых понятий, общепринятых и обязатель-  
ных, всегда была мне чужда и неинтересна. Я, од-  
нако, не мог победить в себе мелочного любопыт-  
ства, и мне доставляло удовольствие вызывать  
некоторых людей на откровенность; их уничитель-  
ные и ничтожные признания никогда не возбужда-  
ли во мне вполне законного и понятного отвра-  
щения, оно должно было бы появляться, но не  
появлялось. Я думаю, это происходило потому,  
что резкость отрицательных чувств была мне  
несвойственна, я был слишком равнодушен к внеш-  
ним событиям; мое глухое, внутреннее существо-  
вание оставалось для меня исполненным несрав-  
ненно большей значительности. И все-таки в  
детстве оно было более связано с внешним ми-  
ром, чем впоследствии; позже оно постепенно от-  
далялось от меня — и чтобы вновь очутиться в  
этих темных пространствах с густым и ощути-

мым воздухом, мне нужно бывало пройти расстояние, которое увеличивалось по мере накопления жизненного опыта, т. е. просто запаса соображений и зрительных или вкусовых ощущений. Изредка я с ужасом думал, что, может быть, когда-нибудь наступит такой момент, который лишит меня возможности вернуться в себя; и тогда я стану животным — и при этой мысли в моей памяти неизменно возникала собачья голова, поедающая объедки из мусорной ямы. Однако опасность того сближения, мнимого и действительного, которое я считал своей болезнью, никогда не была далека от меня; изредка, в приступах душевной лихорадки, я не мог ощутить моего подлинного существования; гул и звон стояли в ушах, и на улице мне вдруг становилось так трудно идти, как будто я с моим тяжелым телом пытаюсь продвигаться в том плотном воздухе, в тех мрачных пейзажах моей фантазии, где так легко скользит удивленная тень моей головы. В такие минуты меня оставляла память. Она вообще была самой несовершенной моей способностью, — несмотря на то, что я легко запоминал наизусть целые печатные страницы. Она покрывала мои воспоминания прозрачной, стеклянной паутиной и уничтожала их чудесную неподвижность; и память чувств, а не мысли была неизмеримо более богатой и сильной. Я никогда не мог дойти до первого моего ощущения, я не знал, каким оно было; сознавать происходящее и впервые понимать его причины я стал тогда, когда мне было лет шесть; и восьми лет от роду, благодаря большому сравнительно количеству книг, которые от меня запирали и которые я все-таки читал, я был способен к письменному изложению

мыслей; я сочинил тогда довольно длинный рассказ об охотнике на тигров. Из раннего моего детства я запомнил всего лишь одно событие. Мне было три года; мои родители вернулись на некоторое время в Петербург, из которого незадолго перед этим уехали; они должны были побыть там очень немного, что-то недели две. Они остановились у бабушки, в большом ее доме на Кабинетской улице, том самом, где я родился. Окна квартиры, находившейся на четвертом этаже, выходили во двор. Помню, что я остался один в гостиной и кормил моего игрушечного зайца морковью, которую попросил у кухарки. Вдруг странные звуки, доносившиеся со двора, привлекли мое внимание. Они были похожи на тихое урчание, прерывающееся изредка протяжным металлическим звоном, очень тонким и чистым. Я подошел к окну, но как я ни пытался подняться на цыпочках и что-нибудь увидеть, ничего не удавалось. Тогда я подкатил к окну большое кресло, взобрался на него и оттуда влез на подоконник. Как сейчас вижу пустынный двор внизу и двух пыльщиков; они поочередно двигались взад и вперед, как плохо сделанные металлические игрушки с механизмом. Иногда они останавливались, отдыхая; и тогда раздавался звон внезапно задержанной и задрожавшей пилы. Я смотрел на них как зачарованный и бессознательно сползал с окна. Вся верхняя часть моего тела свешивалась во двор. Пыльщики увидели меня; они остановились, подняв головы и глядя вверх, но не произнося ни слова. Был конец сентября; помню, что я вдруг почувствовал холодный воздух и у меня начали зябнуть кисти рук, не закрытые оттянувшимися назад рукавами. В это время в комнату вошла моя мать. Она ти-



хонько приблизилась к окну, сняла меня, закрыла раму — и упала в обморок. Этот случай запомнился мне чрезвычайно; я помню еще одно событие, случившееся значительно позже — и оба эти воспоминания сразу возвращают меня в детство, в тот период времени, понимание которого мне теперь уже недоступно.

Это второе событие заключалось в том, что, когда меня только что научили грамоте, я прочел в маленькой детской хрестоматии рассказ о деревенском сироте, которого учительница из милости приняла в школу. Он помогал сторожу топить печь, убирал комнаты и очень усердно учился. И вот однажды школа сгорела, и этот мальчик остался зимой на улице, в суровый мороз. Ни одна книга впоследствии не производила на меня такого впечатления: я видел этого сироту перед собой, видел его мертвых отца и мать и обгоревшие развалины школы; и горе мое было так сильно, что я рыдал двое суток, почти ничего не ел и очень мало спал. Отец мой сердился и говорил:

— Вот, научили так рано читать мальчика, — вот все потому так и вышло. Ему бегать нужно, а не читать. Слава Богу, будет еще время. И зачем в детских книжках такие рассказы печатают?

Отец мой умер, когда мне было восемь лет. Помню, как мать привела меня в лечебницу, где он лежал. Я не видал его месяца полтора, с самого начала болезни, и меня поразило его исхудавшее лицо, черная борода и горящие глаза. Он погладил меня по голове и глухо сказал, обращаясь к матери:

— Береги детей.

Мать не могла ему отвечать. И тогда он прибавил с необыкновенной силой:

— Боже мой, если бы мне сказали, что я буду

простым пастухом, только пастухом, но что я буду жить!

Потом мать выслала меня из комнаты. Я вышел в садик: хрустел под ногами песок, было жарко и светло и очень далеко видно. Сев с матерью в коляску, я сказал:

— Мама, у папы все-таки хороший вид, я думал, гораздо хуже.

Она ничего не ответила, только прижала мою голову к коленям, и так мы доехали до дому.

Было в моих воспоминаниях всегда нечто невыразимо сладостное: я точно не видел и не знал всего, что со мной случилось после того момента, который я воскрешал, и я оказывался попеременно то кадетом, то школьником, то солдатом — и только им; все остальное переставало существовать. Я привыкал жить в прошедшей действительности; восстановленной моим воображением. Моя власть в ней была неограниченна, я не подчинялся никому, ничьей воле; и долгими часами, лежа в саду, я создавал искусственные положения всех людей, участвовавших в моей жизни, и заставлял их делать то, что хотел, и эта постоянная забава моей фантазии постепенно входила в привычку. Потом сразу наступил такой период моей жизни, когда я потерял себя и перестал сам видеть себя в картинах, которые себе рисовал. Я тогда много читал; помню портрет Достоевского на первом томе его сочинений. Эту книгу у меня отобрали и спрятали; но я разбил стеклянную дверцу шкафа и из множества книг вытащил именно том с портретом. Я читал все без разбора, но не любил книг, которые мне давали, и ненавидел всю «золотую библиотеку», за исключением сказок Андерсена и Гауфа. В то время личное мое сущест-

зование было для меня почти неощутимо. Читая Дон-Кихот, я представлял себе все, что с ним происходило, но работа моего воображения совершалась помимо меня, и я не делал почти никаких усилий. Я не принимал участия в подвигах рыцаря печального образа и не смеялся ни над ним, ни над Санчо-Пансо; меня вообще как будто не было, и книгу Сервантеса читал кто-то другой. Я думаю, что это время усиленного чтения и развития, бывшее эпохой моего совершенно бессознательного существования, я мог бы сравнить с глубочайшим душевным обмороком. Во мне оставалось лишь одно чувство, окончательно созревшее тогда и впоследствии меня уже не оставлявшее, чувство прозрачной и далекой печали, вполне беспричинной и чистой. Однажды, убежав из дому и гуляя по бурому полю, я заметил в далеком овраге нарастающий слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле; но он слабо блестел сине-зеленым цветом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб. И уже несколько лет спустя, когда я читал одну трогательную книгу без главных листов, я представил себе весеннее поле и далекий снег и то, что стоит только сделать несколько шагов, и увидишь грязные, тающие остатки.— И больше ничего?— спрашивал я себя. И жизнь мне показалась такой же: вот я проживу

на свете столько-то лет и дойду до моей последней минуты и буду умирать. Как? И больше ничего? То были единственные движения моей души, происходившие в этот период времени. А между тем я читал иностранных писателей, наполнялся содержанием чуждых мне стран и эпох, и этот мир постепенно становился моим: и для меня не было разницы между испанской и русской обстановкой.

Я очнулся от этого состояния через год, незадолго до поступления в гимназию. И уже тогда все мои ощущения были мне известны, и в дальнейшем происходило только внешнее расширение моих знаний, очень незначительное и очень неважное. Моя внутренняя жизнь начинала существовать вопреки непосредственным событиям; и все изменения, происходившие в ней, совершались в темноте и вне какой бы то ни было зависимости от моих отметок по поведению, от гимназических наказаний и неудач. То время, когда я был всецело погружен в себя, ушло и побледнело и только изредка возвращалось ко мне, как припадки утихающей, но неизлечимой болезни.

Семья моего отца часто переезжала с места на место, нередко пересекая большие расстояния. Я помню хлопоты, укладывание громоздких вещей и вечные вопросы о том, что именно положено в корзину с серебром, а что в корзину с шубами. Отец неизменно бывал весел и беспечен, мать сохраняла строгое выражение; всеми заботами по укладыванию и путешествию ведала она. Она взглядывала на свои маленькие золотые часики, висевшие, по тогдашнему обычаю, на груди, и все боялась опоздать, и отец ее успокаивал, говоря с удивленным видом:

— Ну, у нас еще масса времени.

Сам он всегда и всюду опаздывал. Случалось, что, когда ему нужно было уезжать, он вспоминал об этом за три дня, говорил — ну, уж на этот раз я буду точен — и неизменно, после поцелуев, прощанья и слез моей маленькой сестры, возвращался домой через полчаса.

— Просто не понимаю, как это могло выйти. В моем распоряжении было не меньше четырнадцати минут. Являюсь на вокзал — только что, говорят, ушел поезд. Удивительно.

Он всегда был занят химическими опытами, географическими работами и общественными вопросами. Это всецело его поглощало, и об остальном он нередко забывал — точно остального и не существовало. Впрочем, были еще две вещи, которые его интересовали: пожары и охота. На пожарах он проявлял необычайную энергию. Он вытаскивал из горящего дома все, что мог; и так как он был очень силен, то нередко спасал от пламени целые шкафы, которые выносил на спине, и однажды, в Сибири, когда пылал дом одного из богатых купцов, он ухитрился спустить по деревянной лестнице несгораемую кассу. Между прочим, незадолго до пожара он обращался к этому купцу с просьбой сдать внаем одну из квартир, которая находилась в другом доме купца; но тот, узнав, что отец не коммерсант, наотрез отказался. После пожара он пришел к нам и просил отца переехать в тот дом и даже принес какие-то подарки. Отец успел забыть о пожаре: он был рад помочь кому угодно, но его влекло туда не только сочувствие людям, находящимся в несчастье; он питал непонятную любовь к огню. Купец, между тем, настаивал. — Разве ж я знал, что вы мою

кассу спасете?— простодушно говорил он. Отец, наконец, вспомнил, в чем дело, рассердился и выпроводил купца, сказав ему: вы тут всякие глупости говорите, а я занят.

Он любил физические упражнения, был хорошим гимнастом, неутомимым наездником,— он все смеялся над «посадкой» его двух братьев, драгунских офицеров, которые, как он говорил, «даже кончив их эту самую лошадиную академию, не научились ездить верхом; впрочем, они и в детстве были неспособны к верховой езде, а пошли в лошадиную академию потому, что там алгебры не надо учить»;— и прекрасным пловцом. На глубоком месте он делал такую необыкновенную вещь, которой я потом нигде не видал: он садился, точно это была земля, а не вода, поднимал ноги так, что его тело образовывало острый угол, и вдруг начинал вертеться как волчок; я помню, как я, сидя голым на берегу, смеялся; и потом, вцепившись руками в шею отца, переплывал реку на его широкой, волосатой спине. Охота была его страстью. Иногда он возвращался домой на розвальнях, после суток осторожного и утомительного выслеживания зверя — и с саней глядели стеклянные, мертвые глаза лося; он охотился за турами на Кавказе; и ему ничего не стоило поехать за несколько сот верст по простому охотничьему приглашению. Он никогда ничем не болел, не знал усталости и просиживал в своем кабинете, заставленном колбами, ретортами и ящиками с какой-то вязкой массой, много часов подряд, а потом уезжал на три дня охотиться за волками, мало спал и, вернувшись, опять садился за письменный стол как ни в чем не бывало. Терпение его было необычайно. Целый год, вечерами, он лепил из гипса рельеф-



ную карту Кавказа, с мельчайшими географическими подробностями. Она была уже кончена. Я как-то вошел в кабинет отца; его не было. Карта стояла наверху, на этажерке. Я потянулся за ней, дернул ее к себе,— она упала на пол и разбилась вдребезги. На шум пришел отец, посмотрел на меня укоризненно и сказал:

— Коля, никогда не ходи в кабинет без моего разрешения.

Потом он посадил меня к себе на плечи и пошел к матери. Он рассказал ей, что я разбил карту, и прибавил: представь себе, придется карту опять делать с самого начала. Он принялся за работу, и к концу второго года карта была готова.

Я мало знал моего отца, но я знал о нем самое главное: он любил музыку и подолгу слушал ее, не двигаясь, не сходя с места. Он не переносил зато колокольного звона. Все, что хоть как-нибудь напоминало ему о смерти, оставалось для него враждебным и непонятным; и этим же объяснялась его нелюбовь к кладбищам и памятникам. И однажды я видел отца очень взволнованным и расстроенным,— что случилось с ним чрезвычайно редко. Это произошло в Минске, когда он узнал о смерти одного из своих товарищей по охоте, бедного чиновника; я не знал его имени. Помню, что он был высоким человеком, с лысиной и бесцветными глазами, плохо одетым. Он всегда необыкновенно оживлялся, говоря о куропатках, зайцах и перепелах; он предпочитал мелкую дичь.

— Волк, это не охота, Сергей Александрович,— сердито говорил он отцу.— Это баловство. И волк баловство, и медведь баловство.

— Как баловство?— возмущался отец.— А лось? А кабан? Да знаете ли вы, что такое кабан?

— Не знаю я, что такое кабан, Сергей Александрович. Но вы меня, повторяю, не переубедите.

— Ну, Бог с вами,— неожиданно успокаивался отец.— А чай вы тоже баловством считаете?

— Нет, Сергей Александрович.

— Ну, тогда идемте пить чай. Мелочью все занимаетесь. Вот я посмотрю, сколько вы чаю можете выпить.

В Минске частыми нашими гостями были этот чиновник и художник Сиповский. Сиповский был высокий старик с сердитыми бровями, борзятник и любитель искусства. Он был громаден и широк в плечах; карманы его отличались страшной глубиной. Один раз, придя к нам и не застав дома никого, кроме меня и няни, он поглядел на меня в упор и отрывисто спросил:

— Петуха видел?

— Видел.

— Не боишься?

— Нет.

— Вот смотри.

Он залез в карман и вытащил оттуда огромного, живого петуха. Петух застучал когтями по полу и принялся кружиться по передней.

— А вам петух зачем?— спросил я.

— Рисовать буду.

— Он не будет сидеть смирно.

— А я заставлю.

— Нет, не заставите.

— Нет, заставлю.

Мы вошли в детскую. Няня, взмахивая руками, загнала туда петуха. Сиповский, придерживая его одной рукой, другой обвел мелом круг по полу — и петух, к моему изумлению, покачнувшись раза два, остался неподвижным. Сиповский быст-

ро нарисовал его. Помню еще один его рисунок: охотник, наклонившись набок, скачет на лошади; прямо перед ним две борзые набегают на волка. Лицо у охотника красное и отчаянное; все четыре ноги коня как-то сплелись вместе. Эту картину Сиповский подарил мне. Я очень любил вообще изображения животных, знал, никогда их не видя, множество пород диких зверей и три тома Брэма прочел два раза с начала и до конца. Как раз в то время, когда я читал второй том «Жизни животных», ошенилась сука отца, сеттер-лаверак. Отец роздал слепых собачонок знакомым и оставил себе только одного щенка, самого крупного. Дня через три вечером к нам прибежал чиновник.

— Сергей Александрович,— сказал он со слезами в голосе, даже не поздоровавшись.— Вы всех щенят роздали? Что же, обо мне забыли?

— Забыл,— ответил отец, глядя в пол. Ему было неловко.

— Так ни одного и не осталось?

— Один есть: да это для меня.

— Отдайте его мне, Сергей Александрович.

— Не могу.

— Я, Сергей Александрович,— сказал чиновник с отчаянием,— честный человек. Но если вы не отдадите щенка, я решусь и украду.

— Попробуйте.

— А если украду и вы не заметите?

— Ваше счастье.

— Требовать обратно не будете?

— Нет.

Когда он ушел, отец засмеялся и сказал с удовольствием:

— Вот это охотник. Вот это я понимаю.

Он был очень доволен, и, когда щенок через не-

сколько дней действительно пропал, он для виду рассердился, даже сказал, что, дескать, в доме ничего уберечь нельзя, — его неожиданно поддержала няня, сказав: нынче собаку, а завтра самовар унесут — и сестра моя, необыкновенно любопытная, спросила мать: а потом, мама, пианино, да? — но исчезновение щенка, видимо, нисколько его не огорчило. Чиновник не показывался недели две, потом явился. — Как собака? — спросил отец. Тот только широко улыбнулся и ничего не ответил. Щенок этот вырос необыкновенно быстро. Звали его Трезором; и очень часто, когда чиновник приходил к нам, Трезор прибежал вслед за ним, и мы его считали почти что собственным. Один раз — отец куда-то уехал, мать читала у себя — был осенний солнечный день, — Трезор, с высунутым языком и окровавленной мордой, выскочил откуда-то из-за угла, бросился ко мне, завизжал, схватил меня зубами за штаны и потащил вон. Я побежал за ним. Мы прошли сквозь еврейский квартал, находившийся на окраине, вышли за город, в поле, и там я увидел чиновника, который неподвижно лежал на траве, лицом вниз. Я тормозил его, звал, пытался заглянуть ему в лицо, но он оставался неподвижен. Трезор лизал его голову, на которой запеклась кровь, растекшаяся по исковерканной лысине. Потом пес сел на задние лапы и завыл; он захлебывался от воя, и то визжал, то опять принимался выть. Мне стало очень жутко. Мы были втроем в поле, дул ветерок с реки; страшное, старинное ружье валялось рядом с телом чиновника. Не помню, как я добежал домой. Увидев отца, я тотчас рассказал ему все. Он нахмурился и, не сказав ни слова, ускакал на лошади, которую еще не успели расседлать, так как

он только что приехал. Он вернулся через двадцать минут и объяснил, что чиновник, неловно разряжая ружье, пустил себе в лоб весь заряд крупной дробы. Отец был чрезвычайно расстроен несколько дней, не шутил, не смеялся, даже не ласкал меня. За обедом или за ужином он вдруг переставал есть и задумывался.

— Ты о чем?— спрашивала мать.

— Какая бессмысленная вещь!— говорил он.— Как глупо погиб человек! Вот нет его больше — и ничего не поделаешь.

И только спустя некоторое время он опять стал таким же, как всегда, и по-прежнему каждый вечер рассказывал продолжение бесконечной сказки: как мы всей семьей едем на корабле, которым команду я.

— Маму мы с собой не возьмем, Коля,— говорил он.— Она боится моря и будет только расстраивать храбрых путешественников.

— Пусть мама останется дома,— соглашался я.

— Итак, мы, значит, плывем с тобой в Индийском океане. Вдруг начинается шторм. Ты капитан, к тебе все обращаются, спрашивают, что делать. Ты спокойно отдаешь команду. Какую, Коля?

— Спустить шлюпки!— кричал я.

— Ну, рано еще спускать шлюпки. Ты говоришь: закрепите паруса и ничего не бойтесь.

— И они крепят паруса,— продолжал я.

— Да, Коля, они крепят паруса.

За время моего детства я совершил несколько кругосветных путешествий, потом открыл новый остров, стал его правителем, построил через море железную дорогу и привез на свой остров маму прямо в вагоне — потому что мама очень боит-

ся моря и даже не стыдится этого. Сказку о путешествии на корабле я привык слушать каждый вечер и сжился с ней так, что когда она изредка прекращалась — если, например, отец бывал в отъезде, — я огорчался почти до слез. Зато потом, сидя на его коленях и взглядывая по временам на спокойное лицо матери, находившейся обычно тут же, я испытывал настоящее счастье, такое, которое доступно только ребенку или человеку, награжденному необычайной душевной силой. А потом сказка прекратилась навсегда: мой отец заболел и умер.

Перед смертью он говорил, задыхаясь:

— Только, пожалуйста, хороните меня без попов и без церковных церемоний.

Но его все-таки хоронил священник: звонили колокола, которых он так не любил; и на тихом кладбище буйно рос высокий бурьян. Я прикладывался к восковому лбу; меня подвели к гробу, и дядя мой поднял меня, так как я был слишком мал. Та минута, когда я, неловко висая на руках дяди, заглянул в гроб и увидел черную бороду, усы и закрытые глаза отца, была самой страшной минутой моей жизни. Гудели высокие церковные своды, шуршали платья теток, и вдруг я увидел нечеловеческое, окаменевшее лицо моей матери. В ту же секунду я вдруг понял все: ледяное чувство смерти охватило меня, и я ощутил болезненное исступление, сразу увидев где-то в бесконечной дали мою собственную кончину — такую же судьбу, как судьба моего отца. Я был бы рад умереть в то же мгновение, чтобы разделить участь отца и быть вместе с ним. У меня потемнело в глазах. Меня подвели к матери, и ее холодная рука легла на мою голову: я взглянул на нее, но

мать не видела меня и не знала, что я стою рядом с ней. С кладбища вскоре мы поехали домой: коляска подпрыгивала на рессорах, могила моего отца оставалась позади, воздух качался передо мной. Все дальше и дальше беззвучно скользят лошадиные спины; мы возвращаемся домой, а отец неподвижно лежит там; с ним погиб я, и мой чудесный корабль, и остров с белыми зданиями, который я открыл в Индийском океане. Воздух колебался в моих глазах; желтый свет вдруг замелькал передо мной, невыносимое солнечное пламя, кровь прилила к моей голове, и я очень плохо себя почувствовал. Дома меня уложили в постель: я заболел дифтеритом.

Индийский океан, и желтое небо над морем, и черный корабль, медленно рассекающий воду. Я стою на мостике, розовые птицы летят над кормой, и тихо звенит пылающий, жаркий воздух. Я плыву на своем пиратском судне, но плыву один. Где же отец? И вот корабль проходит мимо лесистого берега: в подзорную трубу я вижу, как среди ветвей мелькает крупный иноходец матери и вслед за ним размашистой, широкой рысью идет вороной скакун отца. Мы поднимаем паруса и долго едем наравне с лошадьми. Вдруг отец поворачивается ко мне:— Папа, куда ты едешь?— кричу я. И глухой, далекий голос его отвечает мне что-то непонятное.— Куда?— переспрашиваю я.— Капитан,— говорит мне штурман,— этого человека везут на кладбище. Действительно, по желтой дороге медленно едет пустой катафалк, без кучера: и белый гроб блестит на солнце.— Папа умер!— кричу я. Надо мной наклоняется мать. Волосы ее



распущены, сухое лицо страшно и неподвижно.

— Крепите паруса и ничего не бойтесь!— командую я.— Начинается шторм!

— Опять кричит,— говорит няня.

Но вот мы проходим Индийский океан и бросаем якорь. Все погружается в темноту: опять матросы, спит белый город на берегу; спит мой отец в глубокой черноте, где-то недалеко от меня, и тогда мимо нашего заснувшего корабля тяжело пролетают черные паруса Летучего Голландца.

Через некоторое время мне стало лучше; и няня подолгу сидела у моей постели и подолгу рассказывала мне о разных вещах — и я узнал от нее много интересного. Она рассказала мне, как в Сибири на улицах продают замороженные круги молока, как ставят на ночь провизию у окон для беглых каторжников, скитающихся лютой зимой по городам и селам. Жизнь моих родителей в Сибири, по словам няни, была прекрасной.

— Ничего барыня в хозяйстве не знала,— говорит няня.— Ничего. Курей с утками путала. Курей было много, ну только ни одна не неслась. Покупали яйца на базаре. Дешевые были яйца, тридцать пять копеек сотня, не то что здесь. Мяса фунт две копейки. Масло в бочках продавали, вот как. А экономка была очень хитрая. Идет раз барин покойный по улице, к нему баба подходит.

— Не знаете,— говорит,— и где здесь лесничего дом? То есть наш, значит. Он говорит: знаю. А вам кого? Ихнюю экономку, говорит. Она, говорит, яйца вот как дешево продает, а на базаре, говорит, дороже. Пошли они с барином за покупками, впереди идет баба, а за ней барин. Ну, экономка и призналась, да все плакала, плакала, прямо совестно.

— Няня, а про Васильевну?

— Сейчас про Васильевну. Наняла барыня повариху. Уже серьезная была женщина, лет пятьдесят, а может, тридцать.

— Как же, няня, это большая разница.

— Разница небольшая,— убежденно говорит няня.— Ты слушай, а то я рассказывать не стану.

— Я больше не буду.

— Звали Васильевной. Я, говорит, нездешняя, только у меня сын на каторге. А сама я из Петербурга. Все, говорит, умею готовить. И верно, все готовила. Жили, жили, вот раз барыня гостей созвала, Васильевна пирог делает, а стол накрыли еще днем. Вечером барыня приезжает, а она все на лошади ездила, хорошая лошадь, гнедая, хоть гнедые нам не ко двору, но хорошая. Приезжает, значит, и видит: ничего то есть нет, все чисто. Пирога нет, посуда разбросана. Идет на кухню. И Васильевна сидит, вся красная, злая, не дай Бог. Барыня спрашивает: почему не готово? Что вы, говорит, Васильевна? А та отвечает: я сама барыня, ишь как раскричалась. Не хочу больше подавать, хочу сама есть. И весь пирог обкусанный. Потом Васильевна как сбежала со двора, так только на шестой день воротилась. Пришла грязная, обтрепанная, все платье оборвано, а сама плачет. Простите, говорит, меня, такой у меня запой бывает, ничего не поделаешь. Большая аккуратистка.

— Кто это, няня?

— Аккуратистка? Васильевна. А теперь ты спи; и болезнь твоя будет спать, а после пройдет. Спи.

Был легкий, паутинный день, когда я впервые вышел. Убегали белые, маленькие облака; но уже

на востоке синел холодеющий воздух, и я подумал, что в такой же день полевая мышь Андерсена, приютившая Дюймовочку, запирала дверь своей норки, осматривала запасы зерна, а вечером, ложась спать, говорила:

— Ну, теперь остается только сыграть свадьбу. Ты должна быть благодарна Богу, ведь не у всякого жениха есть такая шуба, как у крота. И пожалуйста, не забывай, что ты бесприданница.

Я очень жалел Дюймовочку и особенно сочувствовал тому, что она была одинока — потому что все мое детство я провел один. Впрочем, я не дичился моих сверстников. Я играл и в войну, и в прятки, был, по мнению многих, даже слишком общительным; но я никого не любил и без сожаления расставался с теми, от кого меня отделяли обстоятельства. Я быстро привыкал к новым людям и, привыкнув, переставал замечать их существование. Это была, пожалуй, любовь к одиночеству, но в довольно странной, не простой форме. Когда я оставался один, мне все хотелось к чему-то прислушиваться; другие мне мешали это делать. Я не любил откровенничать; но так как я обладал привычкой быстрого воображения, то задушевные разговоры были мне легки. Не будучи лгуном, я высказывал не то, что думал, невольно отстраняя от себя трудности искренних признаний, и товарищей у меня не было. Впоследствии я понял, что, поступая так, я ошибался. Я дорого заплатил за эту ошибку, я лишился одной из самых ценных возможностей: слова товарищ и друг я понимал только теоретически. Я делал невероятные усилия, чтобы создать в себе это чувство; но я добился лишь того, что понял и почувствовал дружбу других людей, и тогда вдруг я ощутил ее до

конца. Она становилась особенно дорога, когда появлялся призрак смерти или старости, когда многое, что было приобретено вместе, теперь вместе потеряно. Я думал: дружба — это значит: мы еще живы, а другие умерли. Помню, когда я учился в кадетском корпусе, у меня был товарищ Диков; мы дружили потому, что оба умели хорошо ходить на руках. Потом мы больше не встречались — так как меня взяли из корпуса. Я помнил о Дикове, как обо всех остальных, и никогда не думал о нем. Спустя много лет в Севастополе, в жаркий день, я увидел на кладбище деревянный крест и дощечку с надписью: «Здесь похоронен кадет Тимофеевского корпуса Диков, умерший от тифа». В тот момент я почувствовал, что потерял друга. Бог весть почему этот чужой человек стал мне так близок, точно я провел с ним всю мою жизнь. Я заметил тогда, что чувство утраты и печали особенно сильно в дни прекрасной погоды, в особенно легком и прозрачном воздухе; мне казалось, что такие же состояния бывают и в моей душе; и если где-то далеко внутри меня наступает тишина, — заменяющая тот тихий непрерывный шум моей душевной жизни, которого я почти не слышу, но который звучит всегда, а в иные моменты лишь слегка ослабевает, — это значит, что произошла катастрофа. И мне представилось огромное пространство земли, ровное, как пустыня, и видимое до конца. Далекий край этого пространства внезапно отделяется глубокой трещиной и бесшумно падает в пропасть, увлекая за собой все, что на нем находилось. Наступает тишина. Потом беззвучно откалывается второй слой, за ним третий; и вот мне уже остается лишь несколько шагов до края; и, наконец, мои ноги уходят в пылающий

песок; в медленном песчаном облаке я тяжело лечу туда, вниз, куда уже упали все остальные. Там близко, над головой, горит желтый свет, и солнце, как громадный фонарь, освещает черную воду неподвижного озера и оранжевую мертвую землю. Мне стало тяжело — и я, как всегда, подумал о матери, которую я знал меньше, чем отца, и которая всегда оставалась для меня загадочной. Она совсем не походила на отца — ни по привычкам, ни по вкусам, ни по характеру. Мне казалось, что и в ней таилась уже та опасность внутренних взрывов и постоянной раздвоенности, которая во мне была совершенно несомненной. Она была очень спокойной женщиной, несколько холодной в обращении, никогда не повышавшей голоса: Петербург, в котором она прожила до замужества, чинный дом бабушки, гувернантки, выговоры и обязательное чтение классических авторов оказали на нее свое влияние. Прислуга, не боявшаяся отца, даже когда он кричал своим звучным голосом: это черт знает, что такое! — всегда боялась матери, говорившей медленно и никогда не раздражавшейся. С самого раннего моего детства я помню ее неторопливые движения, тот холодок, который от нее исходил, и вежливую улыбку; она почти никогда не смеялась. Она редко ласкала детей: и в то время, как к отцу я бежал навстречу и прыгал ему на грудь, зная, что этот сильный человек только иногда притворяется взрослым, а в сущности, он такой же, как и я, мой ровесник, и если я приглашу его сейчас идти в сад и возить игрушечные коляски, то он подумает и пойдет, — к матери я подходил потихоньку, чинно, как полагается благовоспитанному мальчику, и уж, конечно, не позволил бы себе кричать от восторга или стремглав

нестись в гостиную. Я не боялся матери: у нас в доме никого не наказывали — ни меня, ни сестер; но я не переставал ощущать ее превосходство над собой,— превосходство необъяснимое, но несомненное и вовсе не зависевшее ни от ее знаний, ни от ее способностей, которые, действительно, были исключительны. Ее память была совершенно непогрешима, она помнила все, что когда-либо слышала или читала. По-французски и по-немецки она говорила с безукоризненной точностью и правильностью, которая могла бы, пожалуй, показаться слишком классической; но и в русской речи моя мать — при всей ее простоте и нелюбви к эффектным выражениям — употребляла только литературные обороты и говорила с обычной своей холодностью и равнодушно-презрительными интонациями. Такой она была всегда; только отцу она вдруг за столом или в гостиной улыбалась неудержимо радостной улыбкой, которой в другое время я не видал у нее ни при каких обстоятельствах. Мне она часто делала выговоры,— совершенно спокойные, произнесенные все тем же ровным голосом: отец мой при этом сочувственно на меня смотрел, кивал головой и как бы оказывал мне какую-то безмолвную поддержку. Потом он говорил:

— Ну, Бог с ним, он больше не будет. Не будешь, Коля?

— Нет, не буду.

— Ну, иди.

Я поворачивался, а он замечал извиняющимся тоном:

— В конце концов, было бы печально, если бы он не шалил, а был тихоней. В тихом омуте черти водятся.



Делая мне замечания и объясняя, почему следует поступать так, а не иначе, мать, однако, со мной почти не разговаривала, то есть не допускала, что я могу возражать. С отцом я спорил; с матерью — никогда. Однажды, я помню, я пытался ей что-то ответить; она посмотрела на меня с удивлением и любопытством, точно впервые заметив, что я обладаю даром слова. Я был, впрочем, самым неспособным в семье: сестры мои целиком унаследовали от матери быстроту понимания и феноменальную память и развивались быстрее, чем я; мне никогда не давали понять этого, но я очень хорошо знал это сам. В детстве, как и позже, я был чужд зависти; а мать мою очень любил, несмотря на ее холодность. Эта спокойная женщина, похожая на воплотившуюся картину и как будто сохранившая в себе ее чудесную неподвижность, была в самом деле совсем не такой, какой казалась. Мне понадобились годы, чтобы понять это; а поняв, я сидел долгими часами в задумчивости, представляя себе ее настоящую, а не кажущуюся жизнь. Она любила литературу так сильно, что это становилось странным. Она читала часто и много; и, кончив книгу, не разговаривала, не отвечала на мои вопросы; она смотрела прямо перед собой остановившимися, невидящими глазами и не замечала ничего окружающего. Она знала наизусть множество стихов, всего «Демона», всего «Евгения Онегина», с первой до последней строчки; но вкус отца — немецкую философию и социологию — недолюбливала: это было ей менее интересно, нежели остальное. Никогда у нас в доме я не видел модных романов — Вербицкой или Арцыбашева; кажется, и отец и мать сходились в единодушном к ним презре-



нии. Первую такую книгу принес я; отца в то время не было уже в живых, а я был учеником четвертого класса, и книга, которую я случайно оставил в столовой, называлась «Женщина, стоящая посреди». Мать ее случайно увидела — и, когда я вернулся домой вечером, она спросила меня, брезгливо приподняв заглавный лист книги двумя пальцами:

— Это ты читаешь? Хороший у тебя вкус.

Мне стало стыдно до слез; и всегда потом воспоминание о том, что мать знала мое кратковременное пристрастие к порнографическим и глупым романам, — было для меня самым унижительным воспоминанием; и если бы она могла сказать это моему отцу, мне кажется, я не пережил бы такого несчастья.

Моего отца мать любила всеми своими силами, всей душой. Она не плакала, когда он умер; но и мне, и няне было страшно оставаться наедине с ней. Три месяца, с раннего утра до поздней ночи, она ходила по гостиной, не останавливаясь, из одного угла в другой. Она ни с кем не разговаривала, почти ничего не ела, спала три-четыре часа в сутки и никуда не выходила. Родные были уверены, что она сойдет с ума. Помню, ночью в детской проснешься и слышишь быстрые шаги по ковру; заснешь, проснешься — опять: все так же чуть-чуть скрипят туфли и слышится скорая походка матери. Я вставал с кровати и босиком, в рубашке шел в гостиную.

— Мама, ложись спать. Мама, почему ты все время ходишь?

Мать смотрела на меня в упор: я видел бледное, чужое лицо и пугающие глаза.

— Мама, мне страшно. Мама, лежи немного.

Она вздыхала, точно очнувшись.

— Хорошо, Коля, я сейчас лягу. Иди спать.

Вначале жизнь моей матери была счастливой. Мой отец отдавал все свое время семье, отвлекаясь от нее только для охоты и научных работ,— и больше ничем не интересовался; с женщинами был чрезвычайно любезен, никогда с ними не спорил, соглашаясь даже в тех случаях, когда они говорили что-нибудь совершенно противоположное его взглядам,— но вообще, казалось, недоумевал, зачем на свете существуют еще какие-то дамы. Мать ему говорила:

— Ты опять Веру Михайловну назвал Верой Владимировной. Она, наверное, обиделась. Как же ты до сих пор не запомнил? Она ведь у нас года два бывает.

— Да?— удивлялся отец.— Это которая? Жена инженера, который свистит?

— Нет, это свистит Дарья Васильевна, а инженер поет. Но Вера Михайловна тут ни при чем. Она жена доктора, Сергея Ивановича.

— Ну, как же,— оживлялся отец.— Я ее прекрасно знаю.

— Да, но ты называешь ее то Верой Васильев-ной, то Верой Петровной, а она Вера Михайловна.

— Удивительно,— говорил отец.— Это, конечно, ошибка. Я теперь совершенно точно при-поминаю. Я прекрасно знаю эту даму. Она, ка-жется, очень милая. И муж у нее симпатичный; а вот пойнтер у него неважный.

Никаких размолвок или ссор у нас в доме не было, и все шло хорошо. Но судьба недолго баловала мать. Сначала умерла моя старшая сестра; смерть последовала после операции желудка от не вовремя принятой ванны. Потом, несколько лет

спустя, умер отец и, наконец, во время великой войны, моя младшая сестра девятилетней девочкой скончалась от молниеносной скарлатины, проболев всего два дня. Мы с матерью остались вдвоем. Она жила довольно уединенно; я был предоставлен самому себе и рос на свободе. Она не могла забыть утрат, обрушившихся на нее так внезапно, — и долгие годы проводила как заколдованная, еще более молчаливая и неподвижная, чем раньше. Она отличалась прекрасным здоровьем и никогда не болела; и только в ее глазах, которые я помнил светлыми и равнодушными, появилась такая глубокая печаль, что мне, когда я в них смотрел, становилось стыдно за себя и за то, что я живу на свете. Позже моя мать стала мне как-то ближе: и я узнал необыкновенную силу ее любви к памяти отца и сестер, и ее грустную любовь ко мне. Я узнал также, что она награждена гибким и быстрым воображением, значительно превосходившим мое, и способностью понимания таких вещей, о которых я ничего не подозревал. И ее превосходство, которое я чувствовал с детства, только подтвердилось впоследствии, когда я стал почти взрослым. И я понял еще одно, самое важное: тот мир второго моего существования, который я считал закрытым навсегда и для всех, был известен моей матери.

В первый раз я расстался надолго с моей матерью в тот год, когда я стал кадетом. Корпус находился в другом городе: помню сине-белую реку, зеленые кущи Тимофеева и гостиницу, куда мать привезла меня за две недели до экзаменов и где она проходила со мной маленький учебник французского языка, в правописании которого я был нетверд. Потом экзамен, прощание с матерью,

новая форма и мундир с погонами и извозчик в порванном зипуне, беспрестанно дергавший вожжами и увезший мать вниз, к вокзалу, откуда уходит поезд домой. Я остался один.

Я держался в стороне от кадет, бродил часами по гулким залам корпуса и лишь позже понял, что я могу ждать далекого Рождества и отпуска на две недели. Я не любил корпуса. Товарищи мои во многом отличались от меня: это были в большинстве случаев дети офицеров, вышедшие из полувоенной обстановки, которой я никогда не знал; у нас в доме военных не бывало, отец относился к ним с враждебностью и пренебрежением. Я не мог привыкнуть к «так точно» и «никак нет» и, помню, в ответ на выговор офицера ответил: вы отчасти правы, господин полковник,— за что меня ещё больше наказали. С кадетами, впрочем, я скоро подружился; начальство меня не любило, хотя я хорошо учился. Методы преподавания в корпусе были самыми разнообразными. Немец заставлял кадет читать всем классом вслух, и поэтому в немецком хрестоматическом тексте слышались петушиные крики, пение неприличной песни и взвизгивание. Учителя были плохие, никто ничем не выделялся, за исключением преподавателя естественной истории, штатского генерала, насмешливого старика, материалиста и скептика.

— Что такое гигроскопическая вата, ваше превосходительство?

И он отвечал:

— Вот, если такой молодой кадет, как вы, бегают по двору и скачет вроде теленка, а потом случайно порежет себе хвост; так вот, к этому порезу прикладывают вату. Делается это для того, чтобы

кадет, похожий на теленка, не слишком огорчился. Поняли?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Так точно...— бормотал он, мрачно улыбаясь.— Эх, вы...

Не знаю почему, этот штатский генерал мне чрезвычайно нравился; и когда он обращал на меня внимание, я бывал очень рад. Однажды мне пришлось отвечать ему урок, который я хорошо знал, и я несколько раз сказал «главным образом», «преимущественно» и «в сущности». Он посмотрел на меня с веселой насмешкой и поставил хорошую отметку.

— Какой образованный кадет. «Главным образом» и «в сущности». В сущности, можете идти на место.

Другой раз он поймал меня в коридоре, сделал серьезное лицо и сказал:

— Я попросил бы вас, кадет Соседов, не размахивать на ходу так сильно хвостом. Это, наконец, привлекает всеобщее внимание.

И ушел, улыбаясь одними глазами. Это был единственный, непохожий на других преподаватель в корпусе,— как единственной вещью, которой я там научился, было искусство ходить на руках. И потом, по прошествии значительного времени после моего ухода из корпуса, если мне приходилось стать на руки, я сейчас же видел перед собой навощенный паркет рекреационного зала, десятки ног, идущих рядом с моими руками, и бороду моего классного наставника:

— Сегодня вы опять без сладенького.

Он всегда говорил уменьшительными словами, и это вызывало во мне непобедимое отвращение. Я не любил людей, употребляющих уменьшитель-

ные в ироническом смысле: нет более мелкой и бес-  
сильной подлости в языке. Я замечал, что к таким  
выражениям прибегают чаще всего или люди  
недостаточно культурные, или просто очень дурные,  
неизменно пребывающие в низости человеческой.  
Присутствие моего классного наставника было са-  
мо по себе неприятно. Но особенно тягостной в  
корпусе мне казалась невозможность вдруг рас-  
сердиться на все и уйти домой; дом был далеко от  
меня, в другом городе, на расстоянии суток езды  
по железной дороге. Зима, громадное, темное зда-  
ние корпуса, плохо освещенные длинные кори-  
доры, одиночество; мне было тяжело и скучно.  
Учиться мне не хотелось; лежать на кровати не  
разreshалось. Мы развлекались катаньем на коньках  
по свеженавощенному паркету; мы открывали  
на всю ночь кран в умывальной, прыгали через  
табуретки и кафедры и держали бесчисленные па-  
ри на котлеты, сладкое, сахар и макароны. Учи-  
лись все довольно средне, за исключением первого  
в классе Успенского, самого усердного и не-  
счастливого кадета нашей роты. Он зубрил с исступ-  
лением; он готовил уроки все время, с обеда до  
деяти часов вечера, когда мы ложились спать.  
Вечерами он простаивал на коленях по полтора  
часа и молился, беззвучно всхлипывая. Будучи  
сыном очень бедных родителей, он учился на  
казенный счет и должен был непременно иметь  
хорошие отметки.

— Ты о чем молишься, Успенский?— спраши-  
вал я, проснувшись и видя его фигуру в длинной  
ночной рубахе перед небольшим образком на его из-  
головье: он спал через две кровати от меня.

— О том, чтобы учиться,— быстро отвечал он  
своим обыкновенным тоном, каким говорил всегда,



и сейчас же продолжал исступленным голосом:

— Отче наш! Иже еси на небесех...— причем слова молитвы он понимал плохо и говорил «иже еси» так, как если бы это значило: «уж раз Ты на небе»...

— Ты неправильно молишься, Успенский,— говорил я ему.— «Отче наш, иже еси на небесех» это все вместе надо произносить.

Он вдруг обрывал молитву и начинал плакать.

— Ты чего?

— Зачем ты мне мешаешь?

— Ну, молись, я не буду.

И опять тишина, кровати, коптящие ночники, темнота под потолком и маленькая, белая фигурка на коленях. А утром гремел барабан, играла труба за стеной и дежурный офицер проходил по рядам постели:

— Подъем, вставайте.

Я так и не мог привыкнуть к военному, канцелярскому языку. У нас дома говорили по-русски чисто и правильно, и корпусные выражения мне резали слух. Как-то раз я увидел ротную ведомость, где было написано: «Выдано столько-то сукна на предмет постройки мундиров», а дальше было сказано о расходах на «застекление» окон. Мы обсуждали эти выражения с двумя товарищами и решили, что дежурный офицер — мы были убеждены, что это написал он,— необразованный человек; это вряд ли, впрочем, было далеко от истины, хотя офицера, дежурившего в этот день, мы знали плохо: было только известно, что он человек чрезвычайно религиозный. С религией в корпусе было строго: каждую субботу и воскресенье нас водили в церковь; и этому хождению, от которого никто не мог уклониться, я обязан был

тем, что возненавидел православное богослужение. Все в нем казалось мне противным: и жирные волосы тучного дьякона, который громко сморкался в алтаре и, перед тем как начинать службу, быстро дергал носом, прочищал горло коротким кашлем, и лишь потом глубокий бас его тихо ревел: благослови, владыко!— и тоненький, смешной голос священника, отвечавший из-за закрытых царских врат, облепленных позолотой, иконами и толстоногими, плохо нарисованными ангелами с меланхолическими лицами и толстыми губами:

— Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков...

И длинноногий регент с камертоном, который и сам пел и прислушивался к пению других, отчего его лицо выражало невероятное напряжение; мне все это казалось нелепым и ненужным, хотя я не всегда понимал почему. Но, уча закон Божий и читая евангелие, я думал:

— Какой же наш подполковник христианин? Он не исполняет ни одной из заповедей, постоянно наказывая меня, ставит под часы и оставляет «без сладенького». Разве Христос так учил? Я обратился к Успенскому, признанному знатоку Закона Божия:

— Как ты думаешь,— спросил я,— наш подполковник христианин?

— Конечно,— сказал он быстро и испуганно.

— А какое он имеет право меня наказывать почти каждый день?

— Потому что ты плохо себя ведешь.

— А как же в евангелии сказано: не судите, да не судимы будете?!

— Не судимы будете, это страдательный залог,— прошептал про себя Успенский, точно про-

веря свои знания.— Это не про кадет сказано.

— А про кого?

— Я не знаю.

— Значит, ты не понимаешь Закона Божия,— сказал я и ушел; и мое неприязненное отношение к религии и к корпусу еще более утвердилось.

Долго потом, когда я уже стал гимназистом, кадетский корпус мне вспоминался как тяжелый, каменный сон. Он все еще продолжал существовать где-то в глубине меня; особенно хорошо я помнил запах воска на паркете и вкус котлет с макаронами, и как только я слышал что-нибудь, напоминающее это, я тотчас представлял себе громадные, темные залы, ночники, дортуар, длинные ноги и утренний барабан, Успенского в белой рубашке и подполковника, бывшего плохим христианином. Эта жизнь была тяжела и бесплодна; и память о каменном оцепенении корпуса была мне неприятна, как воспоминание о казарме или тюрьме или о долгом пребывании в Богом забытом месте, в какой-нибудь холодной железно-дорожной сторожке, где-нибудь между Москвой и Смоленском, затерявшейся в снегах, в безлюдном, морозном пространстве.

Но все же ранние годы моего учения были самыми прозрачными, самыми счастливыми годами моей жизни. Сначала — как в корпусе, так и в гимназии, куда я потом поступил,— меня смущало количество моих одноклассников. Я не знал, как мне относиться ко всем этим стриженным мальчикам. Я привык к тому, что вокруг меня существует несколько жизней — матери, сестры, няни, которые мне близки и знакомы; но такую массу новых и неизвестных людей я не мог сразу воспринять. Я боялся потеряться в этой толпе, и инстинкт

самосохранения, обычно дремавший во мне, вдруг пробудился и вызвал в моем характере ряд изменений, каких в иной обстановке со мной, наверное, не произошло бы. Я часто стал говорить совсем не то, что думал, и поступать не так, как следовало бы поступать; стал дерзок, утратил ту медлительность движений и ответов, которая после смерти отца безраздельно воцарилась у нас в доме, точно заколдованном холодным волшебством матери. Мне трудно было дома отвыкать от гимназических привычек; однако это искусство я скоро постиг. Я бессознательно понимал, что нельзя со всеми быть одинаковым; поэтому, после короткого периода маленьких домашних неурядиц, я вновь стал послушным мальчиком в семье; в гимназии же моя резкость была причиной того, что меня наказывали чаще других. Хотя в семье я был самым неспособным, я все же частично унаследовал от матери хорошую память, но восприятие мое никогда не бывало непосредственно сознательным, и полный смысл того, что мне объяснялось, я понимал лишь через некоторое время. Способности отца мне передались в очень измененной форме, вместо его силы воли и терпения, у меня было упрямство, вместо охотничьих талантов — острого зрения, физической неутомимости и точной наблюдательности — мне досталась только необыкновенная, слепая любовь к животному миру и напряженный, но невольный и бесцельный интерес ко всему, что происходило вокруг меня, что говорилось и делалось. Занимался я очень неохотно, но учился хорошо; и только мое поведение всегда служило предметом обсуждения в педагогическом совете. Объяснялось это, помимо других причин, еще и тем, что у меня никогда не было детского страха

перед преподавателями, и чувства мои по отношению к ним я не скрывал. Мой классный наставник жаловался матери на то, что я не культурен и дерзок, хотя развит для своих лет почти исключительно. Мать, которую часто вызывали в гимназию, говорила:

— Вы меня извините, но, мне кажется, вы не вполне владеете искусством обращаться с детьми. Коля в семье очень тихий мальчик и вовсе не буян и не дерзит обычно.

И она посылала слугу за мной. Я приходил в приемную, здоровался с ней; она, поговорив со мной десять минут, отпускала меня.

— Да, с вами у него совершенно другой тон,— соглашался классный наставник.— Не знаю, как вы этого достигаете. В классе же он нетерпим.— И он обиженно разводил руками. Особенное осуждение и классного наставника и инспектора вызвала моя дерзость преподавателю истории (с ним у меня был однажды такой разговор: кто такой Конрад Валленрод?— спросил я, так как прочел это имя в книге и не знал его,— он ответил, подумав:— такой же хулиган, как и вы), который поставил меня к стенке за то, что я «неспокойно сидел». Я был не очень виноват; мой сосед провел резинкой по моей голове — этого учитель не видел,— а я ударил его в грудь,— что было замечено. Так как товарища я выдать не мог, то в ответ на слова историка: станьте сейчас же к стенке; вы не умеете себя прилично вести,— я смолчал. Историк, привыкший к моим постоянным возражениям, не услышав их на этот раз, вдруг рассердился на меня, раскричался, ударил своим стулом об пол, но, сделав какое-то неловкое движе-

ние, поскользнулся и упал рядом с кафедрой. Класс не смел смеяться. Я сказал:

— Так вам и надо, я очень рад, что вы упали.

Он был вне себя от гнева, велел мне уйти из класса и пойти к инспектору. Но потом, так как он был добрым человеком, он успокоился и простил меня, хотя я не просил прощения. Он, в общем, относился ко мне без злобы; главным моим врагом был классный наставник, преподаватель русского языка, который ненавидел меня, как ненавидят равного. Ставить мне плохие отметки он все-таки не мог, потому что я знал русский язык лучше других. Зато я оставался «без обеда» чуть ли не каждый день. Помню бесконечно грустное чувство, с которым я следил, как все уходят после пятого урока домой; сначала идут те, кто быстро собирается, потом другие, наконец, самые медлительные, и я остаюсь один и смотрю на загадочную немую карту, напоминавшую мне лунные пейзажи в книгах моего отца; на доске красуется кусок батистовой тряпки и уродливый чертик, нарисованный Парамоновым, первым в классе по рисованию, и чертик почему-то кажется мне похожим на художника Сиповского. Такое томительное состояние продолжалось около часу, пока не приходил классный наставник:

— Идите домой. Постарайтесь вести себя не так по-хулигански.

Дома меня ждали обед и книжки, а вечером игра на дворе, куда мне запрещалось ходить. Мы жили тогда в доме, принадлежавшем Алексею Васильевичу Воронину, бывшему офицеру, происходившему из хорошего дворянского рода, человеку странному и замечательному. Он был высок ростом, носил густые усы и бороду, которые как-



то скрывали его лицо: светлые, сердитые глаза его, помню, всегда меня смущали. Мне казалось почему-то, что этот человек знает про меня много таких вещей, которых нельзя рассказывать. Он был страшен в гневе, не помнил себя, мог выстрелить в кого угодно: долгие месяцы Порт-Артуровской осады отразились на его нервной системе. Он производил впечатление человека, носившего в себе глухую силу. Но при этом он был добр, хотя разговаривал с детьми неизменно строгим тоном, никогда ими не умилялся и не называл их ласкательными именами. Он был образован и умен и обладал той способностью постижения отвлеченных идей и далеких чувств, которая почти никогда не встречается у обыкновенных людей. Этот человек понимал гораздо больше, чем должен был понимать офицер в отставке, чтобы счастливо прожить свою жизнь. У него был сын, старше меня года на четыре, и две дочери, Марианна и Наталья, одна моих лет, другая ровесница моей сестры. Семья Воронина была моей второй семьей. Жена Алексея Васильевича, немка по происхождению, всегдашняя заступница провинившихся, отличалась тем, что не могла противиться никакой просьбе. Бывало, скажешь ей:

— Екатерина Генриховна, можно попросить у вас хлеба с вареньем, знаете, тем самым, что вы на Новый год сделали?

— Что ты, голубчик? — ужасалась она. — Этого варенья нельзя трогать.

— Екатерина Генриховна, мне очень хочется. Может быть, можно?

— Ах, какой ты странный. Ну, я тебе дам другого варенья, английского, оно тоже очень вкусное...

— Нет, Екатерина Генриховна, я знаю, что оно

невкусное. Оно пахнет смолой. Можно новогоднего?

— Ты не понимаешь самых простых вещей. Ну, давай хлеб, я тебе принесу.

В ней текла такая стойкая и здоровая кровь, что за долгие годы она совсем не изменилась и, казалось, не могла постареть: достигла возраста двадцати пяти лет и такой осталась на всю жизнь. Ни в каких обстоятельствах она не теряла своей постоянной, спокойной хлопотливости, не забывала ни о чем и не волновалась. Когда однажды во дворе случился пожар — загорелся деревянный сарай — и я проснулся ночью оттого, что все вокруг было ярко освещено пламенем и стекла моего окна трескались от пожара, я увидел стоящую у моей кровати Екатерину Генриховну, совершенно так одетую, как если бы это происходило среди бела дня, причесанную и спокойную.

— А мне жалко тебя будить было, — сказала она. — Ты так сладко спал. Ну, вставай, не дай Бог, еще дом загорится. Только не засни опять, пожалуйста, мне еще надо пойти разбудить твою маму. Вот ведь как неосторожно люди с огнем обращаются, оттого все и происходит.

Сын ее был тогда уже гимназистом четвертого класса, добрейшим мальчиком, но очень беспутным и неуравновешенным. Моя мать очень не любила его игры на пианино, хотя он обладал некоторыми музыкальными способностями; но он обрушивался на клавиатуру с такой яростью и так немилосердно нажимал педали, что она говорила:

— Миша, зачем вы тратите столько энергии?

И он отвечал:

— Это потому, что я очень увлекаюсь.

Младшую дочь в семье Ворониных мы дразнили

Sophie, так как она очень походила на маленькую героиню книжки «Les malheurs de Sophie»<sup>1</sup>, которую мы читали. У этой девочки была любовь к необыкновенным приключениям: она то убегала на базар и вертелась там целый день среди торговков, карманщиков и воров покрупнее — людей в хороших костюмах, с широкими внизу штанами, — точильщиков, букинистов, мясников и тех продавцов хлама, которые существуют, кажется, во всех городах земного шара, одинаково одеваются в черные лохмотья, плохо говорят на всех языках и торгуют обломками решительно никому не нужных вещей; и все-таки они живут, и в их семьях сменяются поколения, как бы самой судьбой предназначенные для такой торговли, и никогда ничем другим не занимающиеся; они олицетворяли в моих глазах великолепную неизменность; — то снимала чулки и туфли и ходила босиком по саду после дождя и, вернувшись домой, хвасталась:

— Мама, посмотри, какие у меня ноги черные.

— Ноги, действительно, очень черные, — отвечала Екатерина Генриховна. — Только что же в этом хорошего?

Старшая дочь, Марианна, отличалась молчаливостью, рано развивавшейся женственностью и необыкновенной силой характера. Один раз, когда ей было одиннадцать лет, отец обозвал ее дурой: он находился в одном из своих припадков гнева, заставлявших его терять всегдашнюю вежливость. Она побледнела и сказала:

— Я теперь с тобой не буду разговаривать.

И не разговаривала два года. С сестрой и братом она обращалась, как старшая; и в семье ее не

---

<sup>1</sup> «Злоключения Софи» (фр.).

то что побаивались, а остерегались. Все дети были красивы хорошей, крепкой красотой, были сильны физически и склонны к веселью; но русский сангвинический тип не бывал в них доведен до конца благодаря германской крови матери.

И Воронины и я составляли только часть того детского общества, которое собиралось по вечерам в саду или во дворе воронинского дома; с нами бывало еще несколько мальчиков и девочек: маленькая красавица еврейка Сильва, ставшая потом артисткой; двенадцатилетние сестры-близнецы Валя и Ляля, вечно друг с другом враждовавшие, реалист Володя, вскоре умерший от дифтерита. Пока было светло, все играли в классы, то есть прыгали по квадратам, нарисованным на земле: квадраты эти кончались большим неправильным кругом, на котором было написано: рай, и маленьким кружком: пеклом. Когда темнело, начиналась игра в прятки; и мы расходились по домам только после того, как горничная звала нас по крайней мере три раза. Я делил свое время между чтением, гимназией и пребыванием дома, на дворе, и бывали долгие периоды, когда я забывал о том мире внутреннего существования, в котором пребывал раньше. Изредка, однако, я возвращался в него — этому обыкновенно предшествовало болезненное состояние, раздражительность и плохой аппетит — и замечал, что второе мое существо, одаренное способностью бесчисленных превращений и возможностей, враждебно первому и становится все враждебнее, по мере того как первое обогащается новыми знаниями и делается сильнее. Было похоже, что оно боится собственного уничтожения, которое случится в тот момент, когда внешне я окончательно окрепну. Я проделывал тогда безмолвную, глухую работу, пы-

таясь достигнуть полноты и соединения двух разных жизней, которые мне удавалось достигать, когда представлялась необходимость быть резким в гимназии и мягким дома. Но то была простая игра, в этом же случае я чувствовал, что такое напряжение мне не по силам. Кроме того, мою внутреннюю жизнь я любил больше, чем другие. Я замечал вообще, что мое внимание бывало гораздо чаще привлекаемо предметами, которые не должны были бы меня затрагивать, и оставалось равнодушным ко многому, что меня непосредственно касалось. Прежде чем я понимал смысл какого-нибудь события, проходило иногда много времени, и только утерев совсем воздействие на мою восприимчивость, оно приобретало то значение, какое должно было иметь тогда, когда происходило. Оно переселялось сначала в далекую и призрачную область, куда лишь изредка спускалось мое воображение и где я находил как бы геологические наслоения моей истории. Вещи, возникавшие передо мной, безмолвно рушились, и я опять все начинал сначала, и только испытав сильное потрясение и опустившись на дно сознания, я находил там те обломки, в которых некогда жил, развалины городов, которые я оставил. Это отсутствие непосредственного, немедленного отзыва на все, что со мной случалось, эта невозможность сразу знать, что делать, послужили впоследствии причинами моего глубокого несчастья, душевной катастрофой, произошедшей вскоре после моей первой встречи с Клэр. Но это было несколько позже.

Я долго не понимал внезапных припадков моей усталости, — в те дни, когда я ничего не делал и не должен был бы утомиться. Однако, ложась на кровать, я испытывал такое чувство, точно проработал

много часов подряд. Потом я догадался, что неведомые мне законы внутреннего движения заставляют меня пребывать в постоянных поисках и погоне за тем, что лишь на мгновение появится передо мной в виде громадной, бесформенной массы, похожей на подводное чудовище, — появится и исчезнет. Физически эта усталость выражалась в головных болях, да бывала еще иногда странная боль в глазах, как будто кто-то надавливал на них пальцами. И в глубине моего сознания ни на минуту не прекращалась глухая, безмолвная борьба, в которой я сам почти не играл никакой роли. Я часто терял себя: я не был чем-то раз навсегда определенным; я изменялся, становясь то больше, то меньше; и может быть, такая неверность своего собственного призрака, не позволявшая мне разделиться однажды и навек стать двумя различными существами, — позволяла мне в реальной моей жизни быть более разнообразным, нежели это казалось возможным.

Эти первые, прозрачные годы моей гимназической жизни отягчались лишь изредка душевными кризисами, от которых я так страдал и в которых все же находил мучительное удовольствие. Я жил счастливо — если счастливо может жить человек, за плечами которого стелется в воздухе неотступная тень. Смерть никогда не была далеко от меня, и пропасти, в которые повергало меня воображение, казались ее владениями. Я думаю, что это ощущение было наследственным: недаром мой отец так болезненно не любил всего, что напоминало ему о неизбежном конце; этот бесстрашный человек чувствовал здесь свое бессилие. Бессознательное, холодное равнодушие моей матери точно отразило в себе чью-то последнюю неподвижность, и жадная



память сестер вбирала в себя все так быстро потому, что где-то в отдаленном их предчувствии смерть уже существовала. Иногда мне снилось, что я умер, умираю, умру; я не мог кричать, и вокруг меня наступало привычное безмолвие, которое я так давно знал; оно внезапно ширилось и изменялось, приобретая новое, донныне бывшее мне неизвестным значение: оно предостерегало меня.

Мне всю жизнь казалось,— даже когда я был ребенком,— что я знаю какую-то тайну, которой не знают другие; и это странное заблуждение никогда не покидало меня. Оно не могло основываться на внешних данных: я был не больше и не меньше образован, чем все мое невежественное поколение. Это было чувство, находившееся вне зависимости от моей воли. Очень редко, в самые напряженные минуты моей жизни, я испытывал какое-то мгновенное, почти физическое перерождение, и тогда приближался к своему слепому знанию, к неверному постижению чудесного. Но потом я приходил в себя: я сидел, бледный и обессиленный, на том же месте, и по-прежнему все окружающее меня пряталось в свои каменные, неподвижные формы, и предметы вновь обретали тот постоянный и неправильный облик, к которому привыкло мое зрение.

После таких состояний я надолго забывал о них и возвращался к ежедневным моим заботам и к сборам в отъезд, если наступало лето,— потому что каждый год во время каникул я ездил на Кавказ, где жили многочисленные родные моего отца. Там из дома моего деда, стоявшего на окраине города, я уходил в горы. Высоко в воздухе летели орлы, я шагал по высокой траве с моим ружьем монте-кристо, из которого стрелял воробьев и кошек; в стороне с

шумом тек Терек, и черная мельница одиноко возвышалась над его грязными волнами. Вдалеке, на горах, блестел снег — и я вспоминал опять о сугробе, который видел возле Минска несколько лет тому назад. Дойдя до леса, я ложился возле первого муравейника, который мне попадался, ловил гусеницу и осторожно клал ее у одного из входов в высокую, ноздреватую пирамиду, из которой выбегали муравьи. Гусеница уползала, подтягивая к себе извивающееся мохнатое тело. Ее настигал муравей; он хватался за ее хвост и пытался задержать ее, но она легко тащила его за собой. На помощь первому муравью прибегали другие: они облепляли гусеницу со всех сторон, живой клубок медленно подвигался назад и, наконец, скрывался в одном из отверстий. Та же судьба постигала крупных мух с синими крыльями, дождевых червей и даже жуков, хотя с последними муравьям было труднее всего справиться: жуки гладкие и твердые, их нелегко ухватить. Но самую жестокую борьбу я наблюдал тот раз, когда пустил в муравейник большого черного тарантула. Я не видел более свирепого существа ни среди зверей, ни среди насекомых, известных своей жестокостью, — если можно так назвать их непостижимый инстинкт. Самые злые зверьки, которых мне доводилось встречать — хорьки, хомяки, ласки, — обычно обладают известными аналитическими способностями и в случае опасности отступают, бросаются же на врага, только если нет возможности бегства. Я видел всего один раз, как ласка вцепилась в руку конюха, ранившего ее камнем: обычно же ласки убегали с чудесной, змеиной быстротой. Тарантул никогда не отступает. Я осторожно выпустил его из стеклянного пузырька: он упал прямо на муравьиную

кучу. Муравьи тотчас напали на него. Он передвигался по земле прыжками и отчаянно сражался, и вскоре множество перекушенных пополам муравьев бились на земле, умирая. Он с яростью бросался на все, что шевелилось, не воспользовался тем, что мог уйти, и оставался на месте, как бы ожидая новых противников. Битва длилась более часа, но, наконец, и тарантул был втянут в муравейник. Я смотрел на этот бой с томительным волнением, и смутные, бесконечно давно забытые воспоминания будто брезжили во мгле моих навсегда похороненных знаний. И сейчас же после этого я отправился дальше: ловить ящериц, лить воду в норки сусликов. После долгого ожидания, из воды показывался мокрый зверек; он быстро выскакивал оттуда, мчался в сторону и исчезал в какой-нибудь другой дыре. Но и суслики, и ящерицы, и муравьи, и даже тарантулы — все это было ничто по сравнению с необыкновенным зрелищем, которое мне пришлось увидеть как-то ранним утром июльского дня. Я видел переселяющихся крыс. Они шли неправильным четырехугольником, волоча по земле хвосты и перебирая лапками. Я сидел на дереве и глядел, как быстро чернела земля, как крысы дошли до маленького оврага, пропали в нем и потом снова появились, пища и стремясь все дальше; как потом они дошли до Терека, как остановилось на минуту их стадо и как затем, переплыв реку, они скрылись в чьем-то саду. Я слез с дерева и пошел лежать на опушку леса.

Тишина, солнце, деревья... Изредка слышно, как сыплется земля в овраге и трещат маленькие сухие ветки: это бежит кабан. Я засыпал на траве и просыпался с влажной спиной и желтым огнем перед глазами. Затем, оглядываясь на красное, за-

ходящее солнце, я шел домой, в прохладные комнаты дедовской квартиры, и приходил как раз вовремя для того, чтобы увидеть пастуха в белой войлочной шляпе, гнавшего стадо с пастбища; и бодливые коровы деда, славящиеся злым нравом и хорошим удоем, мыча, входили в ворота скотного двора. Я знал, что сейчас к коровам бросятся телята, что работница будет отводить упрямые телячьи головы от вымени и об белые донья ведер зазвонят упругие струи молока,— и дед будет смотреть на это с галереи, выходящей во двор, и постукивая палкой по полу; потом он задумается, точно вспоминая что-то. А вспомнить ему было что. Когда-то, давным-давно, он занимался тем, что угонял табуны лошадей у враждебных племен и продавал их. В те времена это считалось молодечеством; и подвиги таких людей были предметом самых единодушных похвал; все это происходило в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия. Я помнил деда маленьким стариком, в черкеске, с золотым кинжалом. В девятьсот двенадцатом году ему исполнилось сто лет; но он был крепок и бодр, а старость сделала его добрым. Он умер на второй год войны, сев верхом на необъезженную английскую трехлетку своего сына, старшего брата моего отца; но несравненное искусство верховой езды, которым он славился много десятков лет, изменило ему. Он упал с лошади, ударился об острый край котла, валявшегося на земле, и через несколько часов умер. Он знал и помнил очень многое, но не обо всем рассказывал: и только со слов других стариков, младших его товарищей, я мог составить себе представление о том, что дед был умен и хитер, как змея,— так говорили простодушные выходцы из середины девятнадцатого столетия. Хитрость деда

заклучалась в том, что после прихода русских на Кавказ он оставил навсегда в покое табуны и зажил мирной жизнью, которой никак нельзя было ожидать от этого неудержимого человека. Все его товарищи погибли жертвами мести; на его дом дважды производили нападение, но в первый раз он узнал об этом заблаговременно и уехал со всей семьей, на второй раз — отстреливался несколько часов из винтовки, убил шесть человек и продержался до того времени, пока не подоспела помощь. Нападавшие все же успели причинить деду некоторый вред: они срубили его лучшую яблоню. Садам своим дед гордился и не пускал туда никого, кроме меня. В саду этом росли яблоки «белый налив», золотые громадные сливы и овальные груши необыкновенной величины, а посередине, в глубине оврага, который на кавказско-русском языке называется балкой, тек ручей, в котором водились форели. Я обедался незрелыми фруктами и ходил с бледным лицом и страданием в глазах. Тетка укоризненно говорила деду:

— Вот, пустил мальчика в сад!

Она фактически управляла всеми делами и, по мере того как дед все больше старел, забирала себе власть в руки. Но возражать деду она обычно не смела — и когда она сказала: вот, пустил мальчика в сад, — дед разгневался и закричал высоким старческим голосом:

— Молчать!

Она до полусмерти испугалась, пошла к себе в комнату и лежала целый час на диване, уткнувшись лицом в подушки. — Почему ты так испугалась? — спросил я. — Ты ничего не знаешь, — ответила тетка. — Дед меня зарубит. Дед страшный человек. — Ты просто трусиха, — сказал я. — Дед очень симпа-

тичный, он тебя пальцем не тронет, хотя ты злая и скупая. Почему ты не хочешь, чтобы я ходил в сад? — продолжал я, забыв о дедушке и внезапно раздражившись. — Ты хочешь, чтобы все яблоки тебе остались? Ты их все равно не съешь. — Я напишу твоей маме, что ты говоришь мне дерзости. — Но угроза тетki меня нисколько не пугала, тем более что даже с теткой я редко ссорился: я был слишком занят стрельбой по воробьям, охотой за кошками и путешествиями в лес. И, прожив у деда месяц или полтора, я уезжал в Кисловодск, который очень любил, — единственный провинциальный город со столичными привычками и столичной внешностью. Я любил его дачи, возвышающиеся над улицами, его игрушечный парк, зеленую виноградную галерею, ведущую из вокзала в город, шум шагов по гравию курзала и беспечных людей, которые съезжались туда со всех концов России. Но, начиная с первых лет войны, Кисловодск был уже наводнен разорившимися дамами, прогоревшими артистами и молодыми людьми из Москвы и Петербурга: эти молодые люди ездили верхом на наемных лошадях и отчаянно трясли локтями, точно кто-то подталкивал их под руку. В Кисловодске я пил нарзан, разбавленный сиропом, ходил по парку и взбирался в гору к маленькому белому зданию с колоннами, которое стояло высоко над городом; оно называлось «Храм воздуха». Я не знал, кому принадлежало это претенциозное название, достойное уездного поэта с длинными волосами и тремя классами высшего начального училища в прошлом. Но я любил подниматься туда; там ветер, как воздушная река, журчал и струился между колоннами. Белые стены были покрыты надписями, в которых изощрялась российская безнадежная лю-



бовь и тщеславное стремление увековечить свое имя. Я любил красные камни на горе, любил даже «Замок коварства и любви», где был ресторан, а в ресторане прекрасные форели. Я любил красный песок кисловодских аллей и белых красавиц курзала, северных женщин с багровыми белками кроличьих глаз. Я проходил в парке мимо того пустяшного утеса на Ольховке, где постоянно дежурил фотограф, который снимал дам и барышень, стоящих над падающей водяной стеной; эти снимки я видел везде, в самых глухих углах России.

— А это я в Кисловодске снималась...

— Как же, как же,— говорил я.— Я знаю.

Тот Кисловодск, который я видел в детстве, остался в моей памяти белым зданием с чувствительными надписями. Но вот по вечерам уже начинало делаться чуть-чуть прохладно; ранней осенью я возвращался домой, чтобы опять погрузиться в ту холодную и спокойную жизнь, которая в моем представлении неразрывно связана с хрустящим снегом, тишиной в комнатах, мягкими коврами и глубочайшими диванами, стоявшими в гостиной. Дома я точно переселялся в какую-то иную страну, где нужно было жить не так, как всюду. Я любил вечерами сидеть в своей комнате, с незажженным светом; с улицы розовое ночное пламя фонарей доходило до моего окна мягкими отблесками. И кресло было мягкое и удобное; и внизу, в квартире доктора, жившего под нами, медленно и неуверенно играло пианино. Мне казалось, что я плыву по морю, и белая, как снег, пена волн колыхается перед моими глазами. И когда я стал вспоминать об этом времени, я подумал, что в моей жизни не было отрочества. Я всегда искал общества старших и двенадцати лет всячески стремился, вопреки оче-

видности, казаться взрослым. Тринадцати лет я изучал «Трактат о человеческом разуме» Юма и добровольно прошел историю философии, которую нашел в нашем книжном шкафу. Это чтение навсегда вселило в меня привычку критического отношения ко всему, которая заменяла мне недостаточную быстроту восприятия и неотзывчивость на внешние события. Чувства мои не могли поспеть за разумом. Внезапная любовь к переменам, находившая на меня припадками, влекла меня прочь от дому; и одно время я начал рано уходить, поздно возвращаться и бывал в обществе подозрительных людей, партнеров по бильярдной игре, к которой я пристрастился в тринадцать с половиной лет, за несколько недель до революции. Помню густой, синий дым над сукном и лица игроков, резко выступавшие из тени; среди них были люди без профессии, чиновники, маклера и спекулянты. У меня было несколько товарищей, таких же, как я: и после общего выигрыша мы все в десять часов вечера отправлялись в цирк, смотреть на наездниц или в какое-нибудь кабаре, где пелись скабрёзные куплеты и танцевали шансонетки; они приплясывали, стоя на эстраде и складывая руки ниже пояса таким образом, чтобы концы большого и указательного пальца правой руки соприкасались с концами тех же пальцев левой. Это стремление к перемене и тяга из дому совпали со временем, которое предшествовало новой эпохе моей жизни. Она все вот-вот должна была наступить: смутное сознание ее нарастающей неизбежности всегда существовало во мне, но раздроблялось в массе мелочей: я как будто стоял на берегу реки, готовый броситься в воду, но все же не решался, зная, однако, что этого не миновать: пройдет еще немного времени — и я погружусь в воду и поплыву,

подталкиваемый ее ровным и сильным течением. Был конец весны девятьсот семнадцатого года; революция произошла несколько месяцев тому назад; и, наконец, летом, в июне месяце, случилось то, к чему постепенно и медленно вела меня моя жизнь, к чему все, прожитое и понятое мной, было только испытанием и подготовкой: в душный вечер, сменивший невыносимо жаркий день, на площадке гимнастического общества «Орел», стоя в трико и туфлях, обнаженный до пояса и усталый, я увидел Клэр, сидевшую на скамье для публики.

Утром следующего дня я опять пришел на площадку, чтобы принимать солнечную ванну, и лежал на песке, закинув руки за голову и глядя в небо. Ветер шевелил складку на моем купальном трико, которое было мне чуть-чуть просторнее, чем следовало бы. Площадка была пуста, только в тени сада, прилегающего к соседнему дому, Гриша Воробьев, студент и гимнаст, читал роман Марка Криницкого. Через полчаса молчания он спросил меня:

— Читал ты Криницкого?

— Нет, не читал.

— Это хорошо, что не читал.— И Гриша опять замолчал. Я закрыл глаза и увидел оранжевую мглу, пересеченную зелеными молниями. Должно быть, я проспал несколько минут, потому что ничего не слышал. Вдруг я почувствовал холодную мягкую руку, коснувшуюся моего плеча. Чистый женский голос сказал надо мной: товарищ гимнаст, не спите, пожалуйста. Я открыл глаза и увидел Клэр, имени которой я тогда не знал.— Я не сплю,— ответил я.— Вы меня знаете? — продолжала Клэр.— Нет, вчера вечером я увидел вас в первый раз. Как ваше имя? — Клэр.— А, вы француженка,— сказал я, обрадовавшись неизвестно

почему.— Садитесь, пожалуйста; только здесь песок.— Я вижу,— сказала Клэр.— А вы, кажется, усиленно занимаетесь гимнастикой и даже ходите по брусьям на руках. Это очень смешно.

— Это я в корпусе научился.

Она помолчала минуту. У нее были длинные розовые ногти, очень белые руки, литое, твердое тело и длинные ноги с высокими коленями.— У вас, кажется, есть площадки для тенниса? — Голос ее содержал в себе секрет мгновенного очарования, потому что он всегда казался уже знакомым; мне и казалось, что я его где-то уже слышал и успел забыть и вспомнить.— Я хочу играть в теннис,— говорил этот голос,— и записаться в гимнастическое общество. Развлекайте меня, пожалуйста, вы очень нелюбезны.— Как же вас развлекать? — Покажите мне, как вы делаете гимнастику.— Я ухватился руками за горячий турник, показал все, что умел, потом перевернулся в воздухе и опять сел на песок. Клэр смотрела на меня, держа руку над глазами; солнце светило очень ярко.— Очень хорошо; только вы когда-нибудь сломаете себе голову. А в теннис вы не играете? — Нет.— Вы очень односложно отвечаете,— заметила Клэр.— Видно, что вы не привыкли разговаривать с женщинами.— С женщинами? — удивился я; мне никогда не приходила в голову мысль, что с женщинами нужно как-то особенно разговаривать. С ними следовало быть еще более вежливым, но больше ничего.— Но вы ведь не женщина, вы барышня.

— А вы знаете разницу между женщиной и барышней? — спросила Клэр и засмеялась.— Знаю.— Кто же вам объяснил? Тетя? — Нет, я это знаю сам.— По опыту? — сказала Клэр и опять

рассмеялась.— Нет,— сказал я, краснея.— Боже мой, он покраснел! — закричала Клэр и захлопала в ладоши; и от этого шума проснулся Гриша, мирно заснувший над Марком Криницким. Он кашлянул и встал: лицо его было помято, зеленая полоса от травы пересекала его щеку.

— Кто этот красивый и сравнительно молодой человек?

— К вашим услугам,— сказал Гриша низким голосом, еще не вполне чистым, еще звучавшим из сна.— Григорий Воробьев.

— Вы это говорите так гордо, как будто бы вы сказали: Лев Толстой.

— Товарищ председателя этой симпатичной организации,— объяснил Гриша,— и студент третьего курса юридического факультета.

— Ты забыл прибавить: и читатель Марка Криницкого,— сказал я.

— Не обращайтесь к Клэр,— сказал Гриша, обращаясь к Клэр.— Этот юноша чрезвычайно молод.

Я переходил тогда из пятого класса в шестой; Клэр кончала гимназию. Она не была постоянной обитательницей нашего города; ее отец, коммерсант, временно проживал на Украине. Они все, то есть отец и мать Клэр и ее старшая сестра, занимали целый этаж большой гостиницы и жили отдельно друг от друга. Матери Клэр никогда не бывало дома; сестра Клэр, ученица консерватории, играла на пианино и гуляла по городу, куда ее всегда сопровождал студент Юрочка, носивший за ней папку с нотами. Вся жизнь ее заключалась только в этих двух занятиях, прогулках и игре; и за пианино она быстро говорила, не переставая играть: — Боже мой,— и подумать, что я сегодня еще не выходила из дому! — а гуляя, вдруг вспоми-

нала о том, что плохо разучила какое-то упражнение; и Юрочка, неизменно при ней находившийся, только деликатно кашлял и перекладывал папку с нотами из одной руки в другую. Это была странная семья. Глава семейства, седой человек, всегда тщательно одетый, казалось, игнорировал существование гостиницы, в которой жил. Он ездил то в город, то за город на своем желтом автомобиле, бывал каждый вечер в театре, или в ресторане, или в кабаре, и многие его знакомые даже не подозревали, что он воспитывает двух дочерей и заботится о своей жене, их матери. С ней он встречался изредка в театре и очень любезно ей кланялся, а она с такой же любезностью, которая, однако, казалась более подчеркнутой и даже несколько насмешливой, отвечала ему.

— Кто это? — спрашивала спутница главы семейства.

— Кто это? — спрашивал мужчина, сопровождавший его жену.

— Это моя жена.

— Это мой муж.

И они оба улыбались и оба знали и видели: он — улыбку жены, она — улыбку мужа.

Дочери их были предоставлены самим себе. Старшая собиралась выходить замуж за Юрочку; младшая, Клэр, была равнодушно-внимательна ко всем; в доме их не было никаких правил, никаких установленных часов для еды. Я был несколько раз в их квартире. Я приходил туда прямо с площадки, усталый и счастливый потому, что сопровождал Клэр. Я любил ее комнату с белой мебелью, большим письменным столом, покрытым зеленой промокательной бумагой — Клэр никогда ничего не писала — и кожаным креслом, украшенным льви-



ными головами на ручках. На полу лежал большой синий ковер, изображавший непомерно длинную лошадь с худощавым всадником, похожим на пожелтевшего Дон-Кихота; низкий диван с подушками был очень мягок и покат; уклон его был к стене. Я любил даже акварельную Леду с лебедем, висевшую на стене, хотя лебедь был темного цвета, — наверное, помесь обыкновенного лебедя с австралийским, — сказал я Клэр, — а Леда была непростительно непропорциональна. Мне очень нравились портреты Клэр — их у нее было множество, потому что она очень любила себя, — но не только то нематериальное и личное, что любят в себе все люди, но и свое тело, голос, руки, глаза. Клэр была весела и насмешлива и, пожалуй, слишком много знала для своих восемнадцати лет. Со мной она шутила: заставляла меня читать вслух юмористические рассказы, одевалась в мужской костюм, рисовала себе усики жженой пробкой, говорила низким голосом и показывала, как должен вести себя «приличный подросток». Но, несмотря на шутки Клэр и ту пустоту, с какой она постоянно ко мне относилась, мне бывало не по себе. Клэр находилась в том возрасте, когда все способности девушки, все усилия ее кокетливости, каждое ее движение и всякая мысль суть бессознательные проявления необходимости физического любовного чувства, нередко почти безличного и превращающегося из развязки взаимных отношений в нечто другое, что ускользает от нашего понимания и начинает вести самостоятельную жизнь, как растение, которое незримо находится в комнате и наполняет воздух томительным и непреодолимым запахом. Я тогда не понимал этого, но не переставал это ощущать; и мне было нехорошо, у меня срывал-

ся голос, я невпопад отвечал, бледнел и, взглядывая на себя в зеркало, не узнавал своего лица. Мне все чудилось, что я погружаюсь в огненную и сладкую жидкость и вижу рядом с собой тело Клэр и ее светлые глаза с длинными ресницами. Клэр как будто понимала мое состояние: она вздыхала, потягивалась всем телом — она обычно сидела на диване — и вдруг опрокидывалась на спину, с изменившимся лицом и стиснутыми зубами. Это могло бы продолжаться долго, если бы через некоторое время я не перестал приходить в гости к Клэр, обидевшись на ее мать, — что случилось очень неожиданно; я сидел как-то у Клэр, как всегда, в кресле; Клэр лежала на диване; внезапно я услышал за дверью низкий женский голос, раздраженно говоривший что-то горничной. — Моя мать, — сказала Клэр. — Странно, она в такое время редко бывает дома. — И в ту же минуту мать Клэр вошла в комнату, не постучавшись. Она была худощавой дамой, лет тридцати четырех; на шее у нее было бриллиантовое кольцо, на руках громадные изумруды: меня сразу неприятно удивило это обилие драгоценностей. Она могла показаться красивой, но ее лицо портили толстые губы и светлые, жестокие глаза. Я встал и поклонился ей: Клэр меня тотчас представила. Ее мать, едва на меня взглянув, сказала: бесконечно счастлива с вами познакомиться — и в ту же секунду обратилась к Клэр по-французски:

— Je ne sais pas, pourquoi tu invite toujours des jeunes gens, comme celui-là, qui à sa sale chemise déboutonnée et qui ne sait même pas se tenir<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Я не знаю, почему ты всегда приглашаешь таких молодых людей, как вот этот, у которого грязная, расстегнутая рубашка

Клэр побледнела.

— *Ce jeune homme comprend bien le français*<sup>1</sup>, — сказала она.

Мать ее посмотрела на меня с упреком, точно я был в чем-нибудь виноват, быстро вышла из комнаты, шумно закрыв за собой дверь, и уже в коридоре закричала:

— *Oh, laissez-moi tranquille tous!*<sup>2</sup>

После этого случая я перестал бывать у Клэр; наступала поздняя осень, в теннис больше не играли, я не мог видеть Клэр на гимнастической площадке. В ответ на мои письма она назначила мне два свидания, но ни на одно не явилась. И я не встречал ее четыре месяца. Потом была уже зима; и в лесу, за городом, куда я ходил на лыжах, деревья звенели от мороза, как серебро; и лихачи неслись по укатанной дороге в загородный ресторан «Версаль». Над снежными равнинами, которые начинались за лесом, медленно летали вороны. Я следил за их неторопливым полетом и думал о Клэр: и странная надежда встретить ее здесь вдруг начинала мне казаться возможной, хотя не было никакого сомнения в том, что Клэр не могла сюда прийти. Но так как я готовился только к встрече с ней и забывал обо всем остальном, то способности здорового размышления были во мне заглушены; и я походил на человека, который, потеряв деньги, ищет их повсюду и главным образом там, где их никак быть не может. Все эти четыре месяца я

---

и который даже не умеет себя прилично держать (*фр.— Прим. автора*).

<sup>1</sup> Этот молодой человек понимает по-французски (*фр.— Прим. автора*).

<sup>2</sup> Ах, оставьте меня все в покое! (*Фр.— Прим. автора.*)

думал только о Клэр. Я все видел перед собой ее невысокую фигуру, ее взгляд, ее ноги в черных чулках. Я представлял себе диалог, который произойдет между нами; я слышал смех Клэр, я видел ее во сне. И, медленно скользя на лыжах, я с бессознательным вниманием смотрел на снег, точно искал ее следы. Остановившись в лесу, чтобы закурить папиросу, я слушал хруст веток, согнувшихся под тяжестью снега, и ждал, что вот-вот послышатся шаги, взвьется снежная пыль и в белом ее облаке я увижу Клэр. И хотя я хорошо знал ее наружность, но я не всегда видел ее одинаковой; она изменялась, принимала формы разных женщин и становилась похожей то на лэди Гамильтон, то на фею Раутенделейн. Я не понимал тогда своего состояния; теперь же мне казалось, что все эти странности и изменения походили на то, как если бы по широкой и гладкой полосе воды вдруг пробежал бы луч прожектора и вода рябилась бы и блестела, и человек, глядящий туда, увидел бы в этом блистании и изломанное изображение паруса, и огонек далекого дома, и белую ленту известкового шоссе, и сверкающий рыбий хвост, и дрожащий образ какого-то высокого стеклянного здания, в котором он никогда не жил. Мне становилось холодно; я опять пускался в дорогу и шел к городу; был уже вечер; розовый от заката снег расстилался кругом, и за дальним поворотом шоссе бряцали колокольчики под дугой, и звуки их сталкивались и перебивали друг друга, лепеча невнятные мелодии. Темнело; и как будто синее стекло застывало в воздухе, — синее стекло, в котором возникало изображение города, куда я возвращался, где в белом высоком доме гостиницы жила Клэр; наверное, думал я, она лежит теперь на диване, все так же

безмолвно скачет желтый Дон-Кихот на ковре, и темно-серый лебедь обнимает толстую Леду; и дорога от Клэр ко мне стелется над землей и прямо соединяет лес, по которому я иду, с этой комнатой, с этим диваном и Клэр, окруженной романтическими сюжетами. Я ждал — и обманывался: и в этих постоянных ошибках черные чулки Клэр, ее смех и глаза соединялись в нечеловеческий и странный образ, в котором фантастическое смешивалось с настоящим и воспоминания моего детства со смутными предчувствиями катастроф; и это было так невероятно, что я много раз хотел бы проснуться, если бы спал. И это состояние, в котором я и был и не был, вдруг стало принимать знакомые облики, я узнал побледневшие призраки моих прежних скитаний в неизвестном — и я снова впал в давнишнюю мою болезнь; все предметы представлялись мне неверными и расплывчатыми, и опять оранжевое пламя подземного солнца осветило долину, куда я падал в туче желтого песка, на берег черного озера, в мою мертвую тишину. Я не знал, сколько времени прошло с той минуты, когда я увидел себя в своей постели, в комнате с высокими потолками. Я измерял тогда время расстоянием, и мне казалось, что я шел бесконечно долго, пока чья-то спасительная воля не остановила меня. Я видел однажды на охоте раненого волка, спасавшегося от собак: он тяжело прыгал по снегу, оставляя на белом поле красные следы. Он часто останавливался, но потом с трудом снова пускался бежать; и когда он падал, мне казалось, что страшная земная сила тщится приковать его к одному месту и удержать там — вздрагивающей серой массой — до тех пор, пока не приблизятся вплотную оскаленные морды собак. Эта же сила,

думал я, точно громадный магнит, останавливает меня в моих душевных блужданиях и пригвождает меня к кровати; и опять я слышу слабый голос няни, доходящий до меня будто с другого берега синей невидимой реки:

Ах, не вижу я милова  
Ни в деревне, ни в Москве,  
Только вижу я милова  
В темной ночи да в сладком сне.

На стене висит давно знакомый рисунок Сиповского: петух, которого он рисовал при мне.— А у Клэр лебедь и Дон-Кихот,— думаю я и тотчас приподнимаюсь.— Да,— говорю я себе, точно проснувшись и прозрев,— да, это Клэр. Но что «это»?— опять думаю я с беспокойством,— и вижу, что это — все: и няня, и петух, и лебедь, и Дон-Кихот, и я, и синяя река, которая течет в комнате, это все — вещи, окружающие Клэр. Она лежит на диване, с бледным лицом, со стиснутыми зубами, ее сосцы выступают под белой кофточкой, ноги в черных чулках плывут по воздуху, как по воде, и тонкие жилки под коленями набухают от набегающей в них крови. Под ней коричневый бархат, над ней лепной потолок, вокруг мы с лебедем, Дон-Кихотом и Ледой томимся в тех формах, которые нам суждены навсегда; вокруг нас громоздятся дома, обступающие гостиницу Клэр, вокруг нас город, за городом поля и леса, за полями и лесами — Россия; за Россией вверху, высоко в небе, летит, не шевелясь, опрокинутый океан, зимние, арктические воды пространства. А внизу у доктора играют на пианино, и звуки качаются, как на качелях.— Клэр, я жду вас,— говорил я вслух,— Клэр, я всегда жду вас.— И опять я видел бледное



лицо отдельно от тела, и колени Клэр, словно отрубленные чьей-то рукой и показанные мне.— Ты хочешь видеть лицо Клэр, ты хотел видеть ее ноги? Смотри.— И я смотрел в это лицо, как глядел бы в паноптикум на говорящую голову, окруженную восковыми фигурами в странных костюмах, нищими, бродягами и убийцами. Но почему, думал я, все эти частицы меня и все, в чем я веду столько существований, эта толпа людей и бесконечный шум звуков и все остальное: снег, деревья, дома, долина с черным озером — почему это вдруг сразу воплощалось во мне, и я был брошен на кровать и осужден лежать часами перед воздушным портретом Клэр и быть таким же неподвижным ее спутником, как Дон-Кихот и Леда, стать романтическим персонажем и спустя много лет опять потерять себя, как в детстве, как раньше, как всегда? Когда моя болезнь прошла, я продолжал все-таки жить точно в глубоком черном колодце, над которым, непрерывно возникая, и изменяясь, и отражаясь в темном водяном зеркале, стояло бледное лицо Клэр. Колодец раскачивался, как дерево на ветру, и отражение Клэр бесконечно удлинялось и ширилось и, задрожав, исчезало.

Больше всего я любил снег и музыку. Когда бывала метель и казалось, что нет ничего — ни домов, ни земли, а только белый дым, и ветер, и шорох воздуха; и когда я шел сквозь это движущееся пространство, я думал иногда, что если бы легенда о сотворении мира родилась на севере, то первыми словами священной книги были бы слова: «Вначале была метель». Когда она стихала, из-под снега вдруг появлялся целый мир, точно сказочный лес, выросший из чьего-то космического желания; я видел эти кривые линии черных зданий, и лежа-

щиеся со свистом сугробы, и маленькие фигуры людей, идущие по улицам. Я особенно любил смотреть, как во время метели летят сквозь снег и опускаются на землю птицы: они то складывают, то вновь раскрывают крылья, точно не хотят расстаться с воздухом,— и все же садятся; и сразу, будто по волшебству, превращаются в черные комки, шагающие на невидимых ногах,— и выпрастывают крылья особенным, птичьим движением, мне почему-то необыкновенно понятным. Я давно уже не верил ни в бога, ни в ангелов, но зрительные представления небесных сил сохранились у меня с детства; и я думал, что эти крылатые красивые люди летели бы и садились не так, как птицы: они не должны были бы делать быстрых движений, так как такие взмахи крыльев свидетельствуют о суетливости. Когда я смотрел на птиц, опускающихся с большой высоты, я всегда вспоминал убитого орла. Я вспоминал, как однажды отец с винтовкой за плечом возвращался с неудачной охоты на кабана; я пошел ему навстречу. Мне было тогда лет восемь. Отец взял меня за руку, потом поглядел наверх и сказал:

— Смотри, Коля: видишь, птица летит?

— Вижу.

— Это орел.

Очень высоко в воздухе, расправив крылья, действительно парил орел; то наклоняясь набок, то опять выпрямляясь, он медленно, как мне казалось, пролетал над нами. Было очень жарко и светло.— Орел может не мигая смотреть на солнце,— подумал я. Отец долго целился, ведя мушку винтовки за полетом орла, потом выстрелил. Орел тотчас же дернулся вверх, точно пуля его подбросила в воздухе, сделал несколько быстрых взмахов

крыльями и упал. На земле он вертелся как волчок и раскрывал грязный клюв; перья его были в крови.— Не подходи! — закричал мне отец, когда я бросился было к тому месту, где упала птица. И я приблизился к орлу только после того, как он перестал шевелиться. Он лежал на земле, полураскрыв согнутое сломанное крыло, подогнув голову с кровавым клювом, и желтый его глаз уже становился стеклянным. На одной его лапе блестело медное кольцо, по которому что-то было нацарапано.— Орел-то старый,— пробормотал отец. Я вспоминал об этом каждый раз, когда бывала метель, потому что впервые вспомнил об убитом орле именно во время метели; я был тогда в парке, на лыжах, и метель заставила меня искать убежища в небольшой избушке, находившейся посередине пригородного леса. В этой избушке была лыжная станция. Дождавшись тихой погоды, я снова вышел в лес: лыжи глубоко погружались в мягкий, только что нападавший снег. Через некоторое время ударил мороз, и все небо мгновенно покраснело.— Будет ветер,— подумал я. Но пока что стояла тишина.— Будет ветер,— повторил я вслух. И тогда далеко-далеко в лесу вдруг что-то прозвенело. Упала ли ледяная сосулька с дерева, зацепился ли легкий ветер об один из тех прозрачных сталактитов, которые нависают на елях,— я не знаю. Знаю только, что после этого вновь наступило молчание,— и потом опять зазвенел лед. Будто маленький лесной карлик, живущий где-нибудь в дупле, тихо играл на стеклянной скрипке. И вдруг мне показалось, что громадное земное пространство свернулось, как географическая карта, и что вместо России я очутился в сказочном Шварцвальде. За деревьями стучат дят-

лы; белые, снежные горы засыпают над ледяными полями озер; и внизу, в долине, плывет в воздухе тоненькая звенящая сеть, застывающая на морозе. В ту минуту — как каждый раз, когда я бывал по-настоящему счастлив, — я исчез из моего сознания: так случалось в лесу, в поле, над рекой, на берегу моря, так случалось, когда я читал книгу, которая меня захватывала. Уже в те времена я слишком сильно чувствовал несовершенство и недолговечность того безмолвного концерта, который окружал меня везде, где бы я ни был. Он проходил сквозь меня, на его пути росли и пропадали чудесные картины, незабываемые запахи, города Испании, драконы и красавицы, — я же оставался странным существом с ненужными руками и ногами, со множеством неудобных и бесполезных вещей, которые я носил на себе. Жизнь моя казалась мне чужой. Я очень любил свой дом, свою семью, но мне часто снился сон, будто я иду по нашему городу и прохожу мимо здания, в котором живу, и непременно прохожу мимо, а зайти туда не могу, так как мне нужно двигаться дальше. Что-то заставляло меня стремиться все дальше, — как будто я не знал, что не увижу ничего нового. Я видел этот сон очень часто. Я нес в себе бесконечное количество мыслей, ощущений и картин, которые я испытал и видел, — и не чувствовал их веса. А при мысли о Клэр тело мое наливалось расплавленным металлом, и все, о чем я продолжал думать, — идеи, воспоминания, книги, — все неизменно торопилось оставить свой обычный вид, и «Жизнь животных» Брэма или умирающий орел — неизменно представлялись мне высокими коленями Клэр, ее кофточкой, сквозь которую были видны круглые томительные пятна, окружающие

соски, ее глазами и лицом. Я старался не думать о Клэр, но лишь изредка мне это удавалось. Были, впрочем, вечера, когда я вовсе о ней не вспоминал: вернее, мысль о Клэр лежала в глубине моего сознания, а мне казалось, что я забываю о ней.

Однажды, очень поздно ночью, я возвращался из цирка домой пешком — и не думал о Клэр. Шел сильный снег; сигара, которую я курил, поминутно потухала. На улицах не было никого, все окна были темны. Я шел и вспоминал песенку клоуна:

Я не советский,  
Я не кадетский,  
Ах, я народный комиссар...—

и тот странный, зыбучий отклик, который получается всегда, если артист играет на каком-нибудь музыкальном инструменте и поет под аккомпанемент этого мотива, не перестававшего мне слышаться. Вместе с тем ожидание какого-то события вдруг появилось во мне — и тогда, подумав над этим, я понял, что давно уже слышу за собой шаги. Я обернулся: окруженная лисьим воротником своей шубки, как желтым облаком, широко открыв глаза, глядя сквозь медленно падающий снег, — за мной шла Клэр. Мне показалось, что недалеко за углом вдруг раздалось быстрое бульканье стекающей на тротуар воды, потом ударили молотком по камню — и сразу после этого наступила та тишина, которую я слышал во время припадков моей болезни. Мне стало трудно дышать; снежный туман стоял вокруг меня — и все, что затем произошло, случилось помимо меня и вне меня: мне было трудно говорить, и голос Клэр доходил до меня словно издалека. — Здрав-

ствуйте, Клэр,— сказал я,— я вас очень давно не видел.— Я была занята,— ответила Клэр, смеясь,— я выходила замуж.— Клэр теперь замужем,— подумал я, не понимая. Но страшная привычка к необходимости вести разговор как-то удерживала небольшую часть моего ускользающего внимания, и я отвечал и говорил и даже огорчился во время этого разговора; но все, что я произносил, было неправильно и не соответствовало моим чувствам. Клэр, не переставая смеяться и пристально смотреть на меня,— и теперь я вспоминал, что на секунду в зрачках ее мелькнул испуг, когда она поняла, что не может вывести меня из состояния мгновенно наступившего оцепенения,— рассказала, что она замужем девять месяцев, но что она не хочет портить фигуры.— Это хорошо,— пробормотал я, поняв только фразу о том, что Клэр не хочет портить фигуры; а почему фигура могла бы испортиться, этого я не слышал и не понял. В другое время простое заявление о нежелании портить фигуру меня бы, конечно, удивило, как удивило бы, если бы кто-нибудь сказал ни с того ни с сего: я не хочу, чтобы мне отрезали ногу.— Вам придется примириться с тем, что я перестала быть девушкой и стала женщиной. Помните наш первый разговор? — Примириться? — подумал я, поймав это слово.— Да, надо примириться...— Я не сержусь на вас, Клэр,— сказал я.— Вас это не пугает? — продолжала Клэр.— Нет, напротив.— Мы шли теперь вместе; я держал Клэр под руку; вокруг был снег, падавший крупными хлопьями.— Запишите по-французски,— услышал я голос Клэр, и я секунду вспоминал, кто это говорит со мной,— *Claire n'était plus vierge*<sup>1</sup>.— Хорошо,— сказал

<sup>1</sup> Клэр не была более девушкой (фр.— Прим. автора).



я.— Claire n'était plus vierge.— Когда мы дошли до гостиницы Клэр, она проговорила:

— Моего мужа нет в городе. Моя сестра ночует у Юрочки. Мамы и папы тоже нет дома.

— Вы будете спокойно спать, Клэр.

Но Клэр рассмеялась опять:

— Надеюсь, что нет.

Она вдруг подошла ко мне и взяла меня двумя руками за воротник шинели.— Идемте ко мне,— сказала она резко. В тумане передо мной, на довольно большом расстоянии, я видел ее неподвижное лицо. Я не двинулся с места. Лицо ее приблизилось и стало гневным.

— Вы сошли с ума, или вы больны?

— Нет, нет,— сказал я.

— Что с вами?

— Я не знаю. Клэр.

Она не попрощалась со мной, поднялась по лестнице, там она открыла дверь и постояла минуту на пороге. Я хотел пойти за ней и не мог. Снег все шел по-прежнему и исчезал на лету, и в снегу клубилось и пропадало все, что я знал и любил до тех пор. И после этого я не спал две ночи. Через некоторое время я опять встретил Клэр на улице и поклонился ей, но она не ответила на поклон.

В течение десяти лет, разделивших две мои встречи с Клэр,— нигде и никогда я не мог этого забыть. То я жалел, что не умер, то представлял себя возлюбленным Клэр. Бродягой, ночуя под открытым небом варварских азиатских стран, я все вспоминал ее гневное лицо, и спустя много лет ночью я просыпался от бесконечного сожаления, причину которого не сразу понимал — и только потом дога-

дывался, что этой причиной было воспоминание о Клэр. Я вновь видел ее — сквозь снег и метель и безмолвный грохот величайшего потрясения в моей жизни.

---

Я не помню такого времени, когда — в какой бы я обстановке ни был и среди каких бы людей ни находился — я не был бы уверен, что в дальнейшем я буду жить не здесь и не так. Я всегда был готов к переменам, хотя бы перемен и не предвиделось; и мне заранее становилось немного жаль покидать тот круг товарищей и знакомых, к которому я успевал привыкнуть. Я думал иногда, что это постоянное ожидание не зависело ни от внешних условий, ни от любви к переменам; это было чем-то врожденным и непременным и, пожалуй, таким же существенным, как зрение или слух. Впрочем, неуловимая связь между напряженностью такого ожидания и другими впечатлениями, доходившими до меня извне, все же, конечно, существовала, но была не объяснима никакими рациональными доводами. Помню, незадолго до моего отъезда, который тогда не был еще решен, я, сидя в парке, вдруг услышал рядом с собой польскую речь; в ней часто повторялись слова «вшистко»<sup>1</sup> и «бардзо»<sup>2</sup>. Я почувствовал холод в спине и ощутил твердую уверенность в том, что теперь я непременно уеду. Какое отношение эти слова могли иметь к ходу событий в моей жизни? Однако, услышав их, я понял, что теперь сомнений не остается.

---

<sup>1</sup> все (польск.).

<sup>2</sup> очень (польск.).

Я не знал, появилась ли бы такая уверенность, если бы вместо этой польской речи рядом со мной раздался свист дрозда или меланхолический голос кукушки. Тогда же я внимательно посмотрел на человека, говорившего «вшистко» и «бардзо»; это был, по-видимому, польский еврей, на лице которого стояло выражение испуга и готовности тотчас же улыбнуться и еще, пожалуй, едва заметной, едва проступающей, но все же несомненной подлости: такие лица бывают у приживальщиков и альфонсов. С ним сидела девица лет двадцати двух: у нее были кольца на покрасневших пальцах с нечищенными длинными ногтями, печальные, закисающие глаза и такая особенная улыбка, которая вдруг делала ее близкой всякому человеку, на нее случайно взглянувшему. Я никогда больше не видел этих людей; и, однако, я запомнил их очень хорошо, как будто знал их долго и давно. Впрочем, незнакомые люди всегда интересовали меня. В них явственнее было то, что у знакомых становилось чем-то домашним, неопасным и поэтому неинтересным. Тогда мне казалось, что каждый незнакомый знает что-то, чего я не могу угадать; и я не могу угадать; и я различал людей незнакомых просто, от незнакомых *par excellence*<sup>1</sup>, тип которых существовал в моем воображении, как тип иностранца, то есть не только человека другой национальности, но и принадлежащего к другому миру, в который мне нет доступа. Может быть, мое чувство к Клэр отчасти возникало и потому, что она была француженкой и иностранкой. И хотя порусски она говорила совершенно свободно и чисто и понимала все, вплоть до смысла народных погово-

---

<sup>1</sup> предпочтительно (фр.).

рок,— все же в ней оставалось такое очарование, которого не было бы у русской. И французский язык ее был исполнен для моего слуха неведомой и чудесной прелести, несмотря на то что я говорил по-французски без труда и, казалось, тоже должен был знать его музыкальные тайны — не так, как Клэр, конечно, но все-таки должен был знать. И, с другой стороны, я всегда бессознательно стремился к неизвестному, в котором надеялся найти новые возможности и новые страны; мне казалось, что от соприкосновения с неизвестным вдруг воскреснет и проявится в более чистом виде все важное, все мои знания и силы и желание понять еще нечто новое; и, поняв, тем самым подчинить его себе. Такие же стремления, только в иной форме, воодушевляли, как я думал тогда, рыцарей и любовников; и воинственные походы рыцарей и преклонение перед иностранными принцессами любовников — все это было неутолимимым желанием знания и власти. Но тут же возникало противоречие, которое заключалось в том, что были для походов рыцарей непосредственные причины, в которые они сами верили и из-за которых они шли воевать; и не были ли эти причины настоящими, а другие — вымышленными? И вся история, и романтизм, и искусство являлись лишь тогда, когда событие, послужившее основанием их возникновения, уже умерло и более не существует, а то, что мы читаем и думаем о нем — только игра теней, живущих в нашем воображении. И как в детстве я изобретал свои приключения на пиратском корабле, о котором рассказал мне отец, так потом я создавал королей, конквистадоров и красавиц, забывая, что иногда красавицы были кокотками, конквистадоры — убийцами и короли — глупцами; и рыжебородый гигант Барбарос-

са не думал никогда ни о знании, ни о фантазии, ни о любви к неизвестному; и, может быть, утопая в реке, он не вспоминал о том, о чем ему полагалось бы вспоминать, если бы он подчинялся законам той воображаемой своей жизни, которую мы создали ему много сот лет после его смерти. И когда я думал об этом, все представлялось мне неверным и расплывчатым, как тени, движущиеся в дыму. И опять от таких напряженных, но произвольных моих представлений я обращался к тому, что видел вокруг себя, и к более близкому знакомству с людьми, меня окружавшими; это было тем важнее, что я чувствовал уже приближающуюся необходимость покинуть их и, может быть, никогда потом не увидеть. Но когда я сосредоточивал на них свое внимание, я замечал чаще всего их недостатки и смешные стороны и не замечал их достоинств; отчасти это происходило от моего неумения разбираться в людях, отчасти потому, что критическое отношение к ним было у меня сильно, а искусства воспринимать и понимать их почти не было. Оно появилось значительно позже и то нередко бывало неверным, хотя подчас очень искренним и чистосердечным. Мне нравилось любить некоторых людей, не особенно сближаясь с ними, тогда в них оставалось нечто недосказанное, и хотя я знал, что это недосказанное должно быть просто и обыкновенно,— я все же невольно создавал себе иллюзии, которые не появились бы, если бы ничего недосказанного не осталось. Из таких людей я любил больше других Бориса Белова, инженера, только что кончившего технологический институт. Он отличался тем, что никогда серьезно не разговаривал, и когда кадет Володя, у которого был прекрасный голос (он приехал в отпуск из какого-то партизан-

ского отряда, и Белов говорил о нем, представляя его кому-нибудь: «Владимир, певец и партизан»), — пел в гостиной Ворониных романс «Тишина» и доходил до того места, где луна выплывает из-за лип, Белов за его спиной изображал плывущую луну, размахивая руками и отдуваясь, как человек, попавший в воду. Как только Володя кончал петь, Белов говорил:

— Плачу крупную сумму за неопровержимое доказательство того, что луна действительно плавает и что липы делаются из кружева. — И художник Северный, находившийся тут же, замечал с печальной улыбкой:

— А вы все шутите... — так как сам он никогда не шутил, потому что был к этому неспособен и из-за этого недолюбливал шутников; он был всегда и неизменно грустен. — Непобедимый человек, — сказал про него Белов, — и чемпион меланхолии. Но самое удивительное в нем то, что нет на земле другого мужчины, который обладал бы таким невероятным аппетитом. — Северный, ну почему вы все время грустите? — спрашивала его какая-нибудь барышня. И Северный, с ожесточением улыбаясь и рассеянно глядя перед собой, отвечал: — Трудно сказать... — но великолепную паузу, следовавшую за этой фразой, прерывал Белов, декламировавший: кому повем печаль мою? При всем этом Белов оказался не только шутником; однажды, когда я пришел к нему невзначай, я услышал, приближаясь к его дому, как кто-то играл на скрипке серенаду Тозелли, и увидел, что играет сам Белов. — Как, вы играете на скрипке? — изумился я. Он сказал просто, не шутя и не смеясь, как обычно:

— Нет ничего в мире лучше музыки.

И затем прибавил:



— И обидно не обладать никакими талантами.

Потом он сейчас же спохватился и, повторив фразу о том, что нет ничего лучше музыки,— но уже другим, всегдашним, своим тоном сказал: — Разве, пожалуй, дыни?..— и сделал вид, что задумался. Но я уже знал то, что он считал нужным скрывать (он, вышучивавший всех, пуще всего боялся насмешек),— и после этого Белов стал относиться ко мне более сдержанно, чем раньше.

Художник Северный был человеком очень ограниченным. Он обыкновенно молчал, но зато если принимался разговаривать, то непременно говорил глупости. Он был очень доволен своими картинами, своей наружностью и успехом у женщин.— Вы знаете,— рассказывал он,— ведь я недурен собой. Вот, выхожу на днях из театра, ко мне нервно подбегает одна известная артистка и говорит: кто вы такой? Как ваша фамилия? Вы слышите? Я вас жду у себя сейчас... Что мне было делать? Я печально улыбнулся (он так и сказал: я печально улыбнулся) и ответил: моя дорогая, я не люблю артисток. Она закусила губу до крови, ударила себя веером по подбородку и, резко повернувшись, ушла. Я пожал плечами.— Я запишу этот рассказ,— сказал Белов.— Так вы говорите, закусывала губы и резко поворачивалась, не считая ударов веера, которые она наносила себе по подбородку? А вы печально улыбались? — Северный ничего не ответил и стал говорить о своем ателье. Его ателье было, кстати сказать, маленькой аккуратной комнатой с симметрично развешанными картинами. Белова, который как-то туда пришел, поразила нарисованная птичья голова, держащая в клюве какой-то темный кусок, отдаленно напоминающий

обломок железа. Под картиной было написано: этюд лебедя. Белов недоверчиво спросил: это этюд? — Этюд, — твердо сказал Северный. — А что такое этюд? — Видите ли, — ответил Северный, подумав, — это такое французское слово. — И он посмотрел вокруг себя, и взгляд его остановился на Смирнове, его ближайшем товарище и поклоннике его таланта. Смирнов кивком головы подтвердил слова Северного.

Смирнов ничего не понимал в живописи, как не понимал ничего, выходящего за пределы его знаний, весьма скромных. Он учился в той же гимназии, что и я, но был тремя классами старше и во времена своей дружбы с Северным числился студентом местного университета. Он всегда носил с собой революционные брошюры, прокламации и готовый запас мыслей о кооперации и коллективизме; но он знал все эти вопросы только по популяризаторским книгам, а в истории социализма был слаб и не имел представления ни о сектантстве Сен-Симона, ни о банкротстве Оуэна, ни о сумасшедшем бухгалтере, прождавшем всю жизнь великодушного чудака, который пожелал бы ему дать миллион с тем, чтобы потом устроить при помощи этих денег счастье сначала во Франции, потом на всем земном шаре. Я спрашивал Смирнова:

— Тебе не надоели эти брошюры?

— Они помогут нам освободить народ. — Я не стал ему возражать; но в разговор вмешался Белов: — Вы твердо уверены, что народ без вас не обойдется? — спросил он. — Если все будут так рассуждать, мы никогда не станем сознательной нацией, — ответил Смирнов. — Смотрите, — обратился ко мне Белов, — до чего довели этого симпатичного человека брошюры. Никогда нигде не су-

ществовало сознательных наций. Почему вдруг, при помощи безграмотных книжонок, мы все станем сознательными? И Смирнов нам будет читать об эволюции теории ценности, а Марфа, наша кухарка, жена чрезвычайных добродетелей, об эпохе раннего Ренессанса? Смирнов, предложите эти брошюры Северному. Скажите ему, что это этюды.— Но тут оказалось, что Северный давно уже коммунист и член партии. Белов очень обрадовался этому, пожимал Северному руку и говорил:

— Ну, голубчик, поздравляю. А я думал, что это он этюды все рисует?

Смирнов, говоривший всегда странным и напыщенным, специально-агитационным языком, заметил:

— Ваша пустая ирония, товарищ Белов, может оттолкнуть от наших рядов ценных работников.

— Это не человек,— убежденно сказал Белов, обращаясь ко мне и к Северному: — Нет. Это газета. И даже не газета, а передовая статья. Вы передовая статья, вы понимаете?

— Я понимаю, может быть, больше, чем вы думаете.

— Какие глаголы! — насмешливо сказал Белов.— Понимать, думать. Кооперативная идеология не приемлет таких вещей.

Но насмешки Белова не могли подействовать ни на Северного, ни на Смирнова, так как, помимо того что они были глупы, они еще находились во власти господствовавшей тогда моды на политические разговоры и социально-экономические рассуждения. Меня эта мода оставляла равнодушным; я интересовался только такими отвлеченными идеями, которые могли бы мне быть близки и имели бы для меня дорогое и важное значение; я мог часами

сидеть над книгой Беме, но читать труда о кооперации не мог. И время разговоров на политические темы — Россия и революция — мне представлялось странным, но смысл его, вернее, его движение — казалось мне совершенно иным. Я вспоминал о нем, как и обо всем другом, чаще всего ночью: горела лампа над моим столом, за окном было холодно и темно; и я жил точно на далеком острове; и сейчас же за окном и за стеной теснились призраки, входившие в комнату, как только я думал о них. Тогда, в России, был холоден воздух, был глубок снег, чернели дома, играла музыка и все текло передо мной — и все было неправдоподобным, все медленно шло и останавливалось — и вдруг снова принималось двигаться; одна картина набегала на другую — словно ветер подул на пламя свечи, и по стене запрыгали дрожащие тени, внезапно вызванные сюда Бог весть какой силой, Бог весть почему прилетевшие, как черные немые видения моих снов. А когда мои глаза уставали, я закрывал их и перед моим взглядом как бы захлопывалась дверь: и вот из темноты и глубины рождался подземный шум, которому я внимал, не видя его, не понимая его смысла, стараясь постигнуть и запомнить его. Я слышал в нем и шорох песка, и гул трясущейся земли, и плачущий, ныряющий звук чьего-то стремительного полета, и мотивы гармоник и шарманки; и, наконец, ясно доходил до меня голос хромого солдата:

Горел-шумел пожар московский...—

и тогда я вновь открывал глаза и видел дым и красное пламя, озарявшее холодные зимние улицы. Тогда вообще было чрезвычайно холодно: и в гимназии, например,— я был в шестом классе,— мы

сидели, не снимая пальто, и преподаватели ходили в шубах. Им очень редко платили жалование — и все же они всегда аккуратно являлись на уроки. Было несколько предметов, по которым некому было преподавать, образовывались свободные часы — и мы пользовались этой свободой, чтобы распевать всем классом каторжные песни, которым нас учил Перенко, высокий малый лет восемнадцати, живший на беспокойной окраине города, росший среди будущих воров и, может быть, убийц. Он носил с собой финский нож, говорил всегда воровскими словечками, как-то особенно щелкал языком и плевал сквозь зубы. Он был прекрасным товарищем и плохим учеником — не потому, однако, что не обладал никакими способностями; а по другой причине: родители его были люди простые. Никто в семье не мог ему помочь в его занятиях. В маленькой квартире, прилегавшей к столярной мастерской, которую держал его отец, никто не знал ни Столетней войны, ни войны Алой и Белой розы, и все эти названия и иностранные слова и запутанные события новой истории, точно так же как и законы теплоты и отрывки из французских и немецких классиков, — все это было настолько чуждо Перенке, что он не мог этого ни понять, ни запомнить, ни, наконец, почувствовать, что это имеет какой-то смысл, который был бы хоть в незначительной степени для чего-нибудь пригоден. Перенко мог бы заинтересоваться этим, если бы духовные его потребности не нашли другого применения. Но как большинство людей такого типа, он был очень сентиментален; и каторжные свои песни он пел чуть ли не со слезами на глазах: они заменяли ему те душевные волнения, которые вызывают книги,

музыка и театр — и потребность которых была у него, пожалуй, сильнее, чем у его более образованных товарищей. Большинство преподавателей этого не знали и считали Перенку просто хулиганом; и только учитель русского языка относился к нему с особенной серьезностью и вниманием и никогда не смеялся над его невежественностью, за что Перенко сердечно его любил и отличал от других.

Этот учитель казался нам странным человеком — потому что на своих уроках говорил не о тех вещах, к которым мы привыкли и которым я учился пять лет в гимназии, до тех пор, пока не перевелся в другую — именно в ту, где преподавал Василий Николаевич; его звали Василий Николаевич. — Вот я назвал вам имя Льва Толстого, — говорил он. — А ведь в народе о нем совсем особенное было представление. Моя мать, например, которая была совсем простой женщиной, швеей, как-то хотела идти к Толстому после смерти моего отца, советовать с ним: что ей делать дальше; положение было плохое, она была очень бедная. А к Толстому хотела идти потому, что считала его последним угодником и мудрецом на земле. У нас с вами другие взгляды, а мать моя была проще и, наверное, психологии Анны Карениной, и князя Андрея, и уж особенно графини Безуховой, Элен, не поняла бы; мысли у нее были несложные, зато более сильные и искренние: а это, господа, большое счастье. — Потом он заговорил о Тредьяковском, объяснил разницу между силлабическим и тоническим стихосложением и в заключение сказал:

— Тредьяковский был несчастный человек, жил в жестокое время. Положение его было унижительное; представьте себе, при тогдашней грубости при-



дворных нравов, эту роль — нечто среднее между шутом и поэтом. Державин был много счастливее его.

Сам Василий Николаевич напоминал раскольничьего святого — в седой бородке, в простых железных очках; говорил он скоро, тем северорусским языком, который звучит на Украине так неожиданно. Одевался он очень плохо и бедно; и не знающий его человек, увидя его на улице, никогда бы не подумал, что этот старичок может быть прекрасным и образованным педагогом. В нем было что-то подвижническое: я вспоминал его хмурые седые брови и покрасневшие глаза, глядящие сквозь очки; его искренность, мужество и простоту: он не скрывал ни своих убеждений, которые могли показаться чересчур левыми при гетмане и слишком правыми при большевиках, ни того, что его мать была швеей, — а в этом редко кто признался бы. Мы учили тогда протопопа Аввакума, и Василий Николаевич читал нам длинные отрывки:

«...Егда же рассветало в день недельный, посадили меня на телегу и растянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря, и тут на чепи кинули в темную полатку, ушла в землю, и сидел три дни, ни ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю — на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричать, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, — си-речь, есть захотел, — и после вечерни ста предо мною не вем — ангел, не вем — человек, и по се время не знаю, токмо в потемках молитву сотворил, и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки дал, и хлебца немношко и штец дал похлебать, — зело привкусны,

хороши! — и рекл мне: «полно, довлеет ти о укреплению». Да и не стало его... Отдали чернцу под начал, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь трогают, и в глаза плюют. Бог их простит в сий век и в будущий: не их дело, но сатаны лукаваго».

«Таже ин началник, во ино время, на мя рас-свиrepел,— прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки огрыз персты, яко пес, зубами. И егда на-полнилась гортань его крови, тогда руку мою испустил из зубов своих, и, покиня меня, пошел в дом свой. Ай же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И егда шел путем, наскочил на меня он же паки со двима малыми пищальми, и близ меня быв, запалил из пистолы, и, Божьею волею, на полке порох пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ее на землю, и из другие паки запалил так же, и Божья воля учинила так же,— и та пищаль не стрелила. Аз же прилежно, идучи, молюсь Богу, одиною рукою осенил его и поклонился ему. Он меня лает; а я ему рекл: «Благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет!». Сердитовал на меня за церковную службу: ему хочется скоро, а я пою по уставу, не борзо: так ему было досадно. Посем двор у меня отнял, а меня выбил, всего ограбя, и на дорогу денег не дал».

Он читал очень хорошо; и мой товарищ, Щур, один из самых способных и умных, каких мне приходилось встречать, говорил мне: — Ты знаешь, Василий Николаевич сам похож на протопопа Аввакума; такие вот люди и шли на костер.

— Кто из вас не знает легенды о плясуне Богоматери? — спросил однажды Василий Николаевич. Легенду эту знал только один человек в классе:

это был еврей с нежным детским лицом, по фамилии Розенберг; он был такой маленький, что на вид ему можно было дать двенадцать или одиннадцать лет, а на самом деле ему уже исполнилось шестнадцать. По утрам гимназистки восьмого класса, встречая его на улице, кричали ему: мальчик, мальчик, беги скорей, опоздаешь! и Розенберг обижался до слез. Он был гораздо умнее и развитее, чем можно было ожидать в его возрасте: он очень много читал и помнил и нередко знал странные вещи, прочитанные им когда-то в большом календаре и оставшиеся в его памяти: способы удобрения в Мексике, религиозные суеверия полинезийцев и анекдоты, относящиеся ко временам зарождения английского парламентаризма. И этот Розенберг знал легенду о плясуне Богоматери — потому, говорил он, вызванный на объяснения Василием Николаевичем, что кто же ее не знает? Но все-таки большинство учеников никогда не слыхали об этой легенде; и Василий Николаевич рассказал нам ее: все слушали внимательно, и Перенко, разглядывавший перед тем свой финский нож, так и остался сидеть, не отводя глаз от белого металла и глубоко задумавшись. Дня через два Василий Николаевич советовал нам прочесть то начало позднейшей биографии Толстого, где говорится о муравейных братьях, — и о муравейных братьях ничего не знал даже Розенберг. В тот же день на меня обиделся новый священник, только что прибывший в гимназию, носивший шелковую рясу и лакированные ботинки. Он вошел в первый раз в класс, перекрестился с особой, как мне показалось, кокетливостью, осмотрел учеников и сказал:

— Господа, теперь такое время, когда Закон Божий и история церкви, кажется, не в моде.—

Он покачал головой, скривил губы и иронически хихикнул несколько раз.— Может быть, среди вас есть атеисты, не желающие присутствовать на моих уроках? Тогда,— он насмешливо улыбнулся и развел руками,— пусть они встанут и уйдут из класса.— Дойдя до слов «уйдут из класса», он стал серьезен и строг, как бы подчеркивая, что теперь с насмешкой над невежественными атеистами покончено и что, конечно, никто об уходе из класса не подумает. Этот человек был пропитан гордостью и никогда не упускал случая напомнить, что религия теперь гонима и что подчас от служителей ее требуется незаурядное мужество,— как это бывало во времена начала христианства,— и он приводил священные цитаты, причем постоянно ошибался в текстах и заставлял святого Иоанна произносить слова, принадлежащие чуть ли не Фоме Аквинскому; я думаю, впрочем, что это не имело в его глазах большого значения: он защищал не догматическую религию, в которой был нетверд, а нечто другое. И это другое выражалось в том, что он привык к положению «гонимаго» и мало-помалу так сжился с ним, что если бы религия вновь вошла в почет, то ему решительно нечего было бы делать и стало бы, наверное, очень трудно и скучно.

Я встал и вышел из класса. Он провожал меня глазами и сказал: — Помните место в богослужении: «Оглашенные, изыдите!»? — Через неделю Василий Николаевич спросил меня: — Вы, Соседов, в Бога верите? — Нет,— отвечал я,— а вы, Василий Николаевич? — Я очень верующий человек. Кто может до конца веровать, тот счастлив.

Вообще, слова, которые он употреблял чаще всего, были «счастливый» и «несчастный». Он принадлежал к числу тех непримиримых русских людей,

которые видят смысл жизни в искании истины, даже если убеждаются, что истины в том смысле, в котором они ее понимают, нет и быть не может. Преподавание русского языка всегда было связано у него с замечаниями о других вещах, нередко не имевших непосредственного отношения к его предмету, с рассуждениями о современности, религии, истории; и во всем этом он обнаруживал удивительные познания. Вдруг выяснялось, что он был за границей, долго жил в Швейцарии, Англии, Франции, хорошо знал иностранные языки, и ко всему, что он видел там, он отнесся со вниманием: он все искал свою истину — везде, где только не был. Я часто потом думал: найдет ли он ее, хватит ли у него мужества обмануть себя — и умрет ли он спокойно? И мне казалось, что даже если бы ему почудилось, что он ее нашел, он, наверное, поспешил бы отречься от нее — и снова искать: и, может быть, его истина не носила в себе наивной мысли о возможности обретения того, чем мы никогда не обладали; и, уж наверное, она не заключалась в мечте о спокойствии и тишине, потому что умственное бездействие, на которое это обрекло бы его, — было бы для него позором и мучением. Василий Николаевич был одним из тех преподавателей, которых я любил за все время моего пребывания в разных учебных заведениях. Все остальные были людьми ограниченными, заботились только о своей карьере и на преподавание смотрели как на службу. Хуже других были священники — самые тупые и невежественные педагоги. Только первый мой законоучитель, академик и философ, казался мне человеком почти замечательным, хотя и фанатиком. Он не был педантом: в пятом классе, когда я подолгу расспрашивал его об атеистическом смыс-

ле «Великого Инквизитора» и о «Жизни Иисуса» Ренана,— тогда я читал «Братьев Карамазовых» и Ренана, а курса не учил и не знал ни катехизиса, ни истории церкви, и он целый год не вызывал меня к ответу,— в последней четверти, однажды, поманив меня к себе пальцем, он тихо сказал:

— Ты думаешь, Коля,— он называл всех на «ты» и по именам, так как преподавал у нас с первого класса,— что я не имею никакого представления о твоих познаниях в катехизисе? Я, миленький, все знаю. Но я все-таки ставлю тебе пять, потому что ты хоть немного религией интересуешься. Ступай.— Когда он произносил свои проповеди, на глазах у него стояли слезы; в Бога, впрочем, он, кажется, не верил. Он напоминал мне Великого Инквизитора в миниатюре: он был непобедим в диалектических вопросах и вообще был бы более хорош, как католик, чем как православный. И у него был прекрасный голос — сильный и умный,— потому что мне неоднократно приходилось замечать, что голос человека, так же, как его лицо, может быть умным и глупым, талантливым и бездарным, благородным и подлым. Его убили спустя несколько лет, во время гражданской войны, где-то на юге — и известие о его смерти мне было тем более тягостно, что я вообще не любил священников и, следовательно, поступал нехорошо по отношению к этому человеку, которого теперь уже нет в живых.

Я не знал, собственно, почему я питал неприязнь к людям духовного звания; пожалуй, в силу какого-то убеждения, что они стоят на более низкой социальной ступени, чем все остальные,— они и еще полицейские. Им нельзя было подавать руку, нельзя было приглашать их к столу: и я



помнил длинную фигуру околоточного, приходившего ежемесячно получать взятку, — Бог знает за что, — терпеливо ожидавшего в передней, пока горничная не выносила ему денег, после чего он молодцевато кашлял и уходил, звеня огромными шпорами на лакированных сапогах с чрезвычайно короткими голенищами, какие носили только околоточные да еще почему-то регенты церковных хоров. С взятками же священникам мне пришлось столкнуться однажды, когда я учился в третьем классе, заболел за две недели до Пасхи и не говел в гимназической церкви; и отец Иоанн сказал мне, что необходимо осенью принести в гимназию свидетельство о говении, иначе меня не переведут и оставят на второй год. То лето я проводил, как почти всегда, в Кисловодске. Дядя мой, Виталий, скептик и романтик, оставшийся навеки драгунским ротмистром за то, что вызвал на дуэль командира полка, а в ответ на его отказ драться дал ему пощечину в офицерском собрании, — и сидел потом пять лет в крепости, откуда вышел очень изменившимся человеком и где он приобрел удивительную и вовсе уж для офицера необыкновенную эрудицию в вопросах искусства философии и социальных наук — и затем продолжал служить в том же полку, но не подвигался в чинах, — дядя мой сказал мне:

— Возьми, Коля, десять рублей и пойди к этому долгогривому идиоту. Попроси у него свидетельство о говении. В церковь тебе нечего ходить, лоботрясничать. Просто дай ему деньги и возьми у него свидетельство.

Дядя Виталий всегда всех ругал и всем был недоволен, хотя в личном обращении и отношении к людям был, в общем, добр и снисходителен, и когда тетка собиралась наказывать своего восьми-

летнего сына, он брал его под защиту и говорил: — оставь ты его в покое, он не понимает, что он сделал. Не забывай, что этот ребенок поразительно глуп; и если ты его высечешь, он умнее не станет. Кроме того, бить детей вообще нельзя, и этого не знают только такие невежественные женщины, как ты. — Почти каждую свою речь дядя начинал словами:

— Эти идиоты...

— Мне священник не выдаст свидетельства так просто, — сказал я, — ведь я должен сначала говеть.

— Это все глупости. Заплати ему десять рублей и больше ничего. Делай так, как я тебе говорю.

Я пошел к священнику. Он жил в маленькой квартире с двумя креслами ярко-желтого цвета и портретами архиереев на стенах. В ответ на мою просьбу о свидетельстве он сказал:

— Сын мой, — меня покорило это обращение, — приходите в церковь, сперва исповедуйтесь, потом причаститесь, потом можно будет через неделю и свидетельство выдать.

— А сейчас нельзя?

— Нет.

— Я бы хотел сейчас, батюшка.

— Нельзя сейчас, — сказал священник, начиная сердиться на мою непонятливость. Тогда я вынул десять рублей и положил их на стол, а на священника не посмотрел, потому что мне было стыдно. Он взял деньги, засунул их в карман, отбросив назад полу рясы и обнаружив под ней узкие черные штаны со штрипками, — и позвал: — Отец дьякон! — Из соседней комнаты вышел дьякон, жуя что-то; лицо его было покрыто потом от сильной жары, и так как он был очень толст, то пот

буквально струился с него; и на его бровях висели светлые капельки.

— Выдайте этому молодому человеку свидетельство о говении.

Дьякон кивнул головой и тотчас написал мне свидетельство — особенным квадратным почерком, довольно красивым.

— Что я тебе сказал? — буркнул дядя. — Я, брат, их знаю...

Тетка ему заметила:

— Ты бы хоть мальчику таких вещей не говорил.

И он отвечал:

— Этот мальчик, как и всякий другой мальчик, понимает несколько не меньше тебя. Я, матушка, это прекрасно знаю. Уж если ты меня начнешь учить, то мне только повеситься останется.

Вечерами Виталий сидел на террасе дома, погруженный в задумчивость. — Почему ты так долго сидишь на террасе? — спрашивал я. — Я погружаюсь в задумчивость, — отвечал Виталий и придавал этому выражению такой оттенок, точно он действительно погружался в задумчивость, — как в воду или в ванну. Изредка он разговаривал со мной:

— Ты в каком классе?

— В четвертом.

— Что же ты теперь учишь?

— Разные предметы.

— Глупости тебе все преподают. Что ты знаешь о Петре Великом и Екатерине? Ну-ка, расскажи.

Я ему рассказывал. Я ждал, что, после того как я кончу говорить, он скажет:

— Эти идиоты...

И он действительно так и говорил:

— Эти идиоты тебе преподают неправду.

— Почему неправду?

— Потому, что они идиоты,— уверенно сказал Виталий.— Они думают, что если у тебя будет ложное представление о русской истории, как смене добродетельных и умных монархов, то это хорошо. В самом же деле ты изучаешь какую-то сусальную мифологию, которой они заменяют историческую действительность. И в результате ты же окажешься в дураках. Впрочем, ты все равно окажешься в дураках, даже если будешь знать настоящую историю.

— Непременно окажусь в дураках?

— Непременно окажешься. Все оказываются.

— А вот ты, например?

— Ты говоришь дерзости,— совершенно спокойно ответил он.— Таких вопросов нельзя задавать старшим. Но если ты хочешь знать, то и я сижу в дураках, хотя предпочел бы быть в другом положении.

— А что же делать?

— Быть негодяем,— резко сказал он и отвернулся.

Он был несчастен в браке, жил почти отдельно от семьи и хорошо знал, что его жена, московская дама, очень красивая, была ему неверна; он был на много старше ее. Я приезжал в Кисловодск каждое лето и всегда заставлял там Виталия — до тех пор пока меня не отделили от Кавказа движения различных большевистских и антибольшевистских войск, происходившие на Дону и на Кубани. И только за год до моего отъезда из России, во время гражданской войны, я опять приехал туда и снова увидел на террасе нашей дачи согнувшуюся в кресле фигуру Виталия. Он состарился за это время, поседел, лицо его стало еще более мрачным, чем рань-

ше.— Я встретил в парке Александру Павловну (это была его жена),— сказал я ему, здороваясь.— У нее прекрасный вид.— Виталий хмуро на меня посмотрел:

— Ты помнишь Пушкинские эпиграммы?

— Помню.

Он процитировал:

Тебе подобной в мире нет.

Весь свет твердит, и я с ним тоже.

Другой, что год, то больше лет.

А ты, что год, то все моложе.

— У тебя очень недовольное выражение, Виталий.

— Что делать? Я, брат, старый пессимист. Ты, говорят, хочешь поступить в армию?

— Да.

— Глупо делаешь.

— Почему?

Я думал, что он скажет «эти идиоты». Но он этого не сказал. Он только опустил голову и проговорил:

— Потому что добровольцы проиграют войну.

Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию. Но меня удивило, что Виталий, старый офицер, относится к этому с таким неодобрением. Я не вполне понимал тогда, что Виталий был слишком для этого умен и вовсе не придавал своему офицерскому чину того значения, какое ему обычно придава-

лось. Но все же я спросил его, почему он так думает. Равнодушно поглядев на меня, он сказал, что они, то есть те, в чьих руках находится командование антиправительственными войсками, не знают законов социальных отношений.— Там,— сказал он, оживляясь,— там вся северная голодная Россия. Там, брат, идет мужик. Знаешь ли ты, что Россия крестьянская страна, или тебя не учили этому в твоей истории? — Знаю,— ответил я. Тогда Виталий продолжал: Россия,— говорил он,— вступает в полосу крестьянского этапа истории, сила в мужике, а мужик служит в красной армии.— У белых, по презрительному замечанию Виталия, не было даже военного романтизма, который мог бы показаться привлекательным; белая армия, это армия мещанская и полуинтеллигентская.— В ней служат кокаинисты, сумасшедшие, кавалерийские офицеры, жеманные, как кокотки,— резко говорил Виталий,— неудачные карьеристы и фельдфебели в генеральских чинах.

— Ты все всегда ругаешь,— заметил я.— Александра Павловна говорит, что это твоя *profession de foi*<sup>1</sup>.

— Александра Павловна, Александра Павловна,— с неожиданным раздражением сказал Виталий.— *Profession de foi*. Какая глупость! Двадцать пять лет, со всех сторон и почти ежедневно, я слышу это бессмысленное возражение: ты все ругаешь. Да ведь я думаю о чем-нибудь или нет? Я тебе излагаю причины неизбежности такого исхода войны, а ты мне отвечаешь: ты все ругаешь. Что ты — мужчина или тетя Женя? Я Александру

---

<sup>1</sup> Букв.: исповедание веры (фр.); изложение взглядов.



Павловну упрекнул за то, что она все какую-то Лаппо-Нагродскую читает, и она мне тоже сказала, что я все, по обыкновению, ругаю. Нет, не все. Я литературу, слава Богу, знаю лучше и больше люблю, чем моя жена. Если я что-нибудь браню, значит, у меня есть для этого причины. Ты пойми,— сказал Виталий, поднимая голову,— что из всего, что делается в любой области, будь это реформа, реорганизация армии, или попытка ввести новые методы в образование, или живопись, или литература — девять десятых никуда не годится. Так бывает всегда; в чем же я виноват, что тетя Женя этого не понимает?— Он помолчал с минуту и потом отрывисто спросил:

— Сколько тебе лет?

— Через два месяца будет шестнадцать.

— И черт несет тебя воевать?

— Да.

— А почему, собственно, ты идешь на войну? — вдруг удивился Виталий. Я не знал, что ему ответить, замялся и, наконец, неуверенно сказал:

— Я думаю, что это все-таки мой долг.

— Я считал тебя умнее,— разочарованно произнес Виталий.— Если бы твой отец был жив, он не обрадовался бы твоим словам.

— Почему?

— Послушай, мой милый мальчик,— сказал Виталий с неожиданной мягкостью.— Постарайся разобраться. Воюют две стороны: красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича.— Конец смутного времени,— пробормотал я.— Да, конец смутного времени. Вот тебе и приго-

дилась гимназия.— И Виталий принялся излагать мне свой взгляд на тогдашние события. Он говорил, что социальные категории — эти слова показались мне неожиданными, я все не мог забыть, что Виталий — офицер драгунского полка, — подобны феноменам, подчиненным законам какой-то нематериальной биологии, и что такое положение если и не всегда непогрешимо, то часто оказывается приложимым к различным социальным явлениям.— Они рождаются, растут и умирают, — говорил Виталий, — и даже не умирают, а отмирают, как отмирают кораллы. Помнишь ли ты, как образуются коралловые острова?

— Помню, — сказал я. — Я помню, как они возникают; и, кроме того, я сейчас вспоминаю их красные изгибы, окруженные белой пеной моря, это очень красиво; я видел такой рисунок в одной из книг моего отца.

— Процесс такого же порядка происходит в истории, — продолжал Виталий. — Одно отмирает, другое зарождается. Так вот, грубо говоря, белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные — это те, что растут.

— Хорошо, допустим, что это так, — сказал я; глаза Виталия вновь приняли обычное насмешливое выражение, — но не кажется ли тебе, что правда на стороне белых?

— Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть?

— Хотя бы, — сказал я, хотя думал совсем другое.

— Да, конечно. Но красные тоже правы, и зеленые тоже, а если бы были еще оранжевые и

фиолетовые, то и те были бы в равной степени правы.

— И кроме того, фронт уже у Орла, а войска Колчака подходят к Волге.

— Это ничего не значит. Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных — если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и — героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии, — если автор будет на стороне красных.

Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые.

— Это гимназический сентиментализм, — терпеливо сказал Виталий. — Ну, хорошо, я скажу тебе то, что думаю. Не то, что можно вывести из анализа сил, направляющих нынешние события, а мое собственное убеждение. Не забывай, что я офицер и консерватор в известном смысле и, помимо всего, человек с почти феодальными представлениями о чести и праве.

— Что же ты думаешь?

Он вздохнул:

— Правда на стороне красных.

Вечером он предложил мне пойти вместе с ним в парк. Мы шагали по красным аллеям, мимо светлой маленькой речки, вдоль игрушечных гротов, под высокими старыми деревьями. Становилось темно, речка всхлипывала и журчала; и этот тихий шум слит теперь для меня с воспоминанием о медленной ходьбе по песку, об огоньках ресторана, который был виден издали, и о том, что, когда я опускал голову, я замечал свои белые летние брюки и высокие сапоги Виталия. Виталий

был более разговорчив, чем обыкновенно, и в его голосе я не слышал обычной иронии. Он говорил серьезно и просто.

— Значит, ты уезжаешь, Николай,— сказал он, когда мы углубились в парк.— Слышишь, как речка шумит? — перебил он себя внезапно. Я прислушался: сквозь ровный шум, который доносился сначала, слух различал несколько разных журчаний, одновременных, но непохожих друг на друга.

— Непонятная вещь,— сказал Виталий.— Почему этот шум так меня волнует? И всегда, уже много лет; как только я слышу его, мне все кажется, что до сих пор я его не слышал. Но я хотел другое сказать.

— Я слушаю.

— Мы с тобой наверное, больше не встретимся,— сказал он.— Или тебя убьют, или ты заедешь куда-нибудь к черту на кулички, или, наконец, я, не дождавшись твоего возвращения, умру естественной смертью. Все это в одинаковой степени возможно.

— Почему так мрачно? — спросил я. Я никогда не умел представлять себе события за много времени вперед, я едва успевал воспринимать то, что происходило со мной в данную минуту, и потому все предположения о том, что, может быть, когда-нибудь случится, казались мне вздорными. Виталий говорил мне, что в молодости он был таким же; но пять лет одиночного заключения, питавшие его фантазию только мыслями о будущем, развили ее до необыкновенных размеров. Виталий, обсуждая какое-нибудь событие, которое должно было, по его мнению, скоро случиться, видел сразу многие его стороны, и изощренное его воображение точно предчувствовало ту неуловимую психологическую

оболочку и оболочку внешних условий, в каких оно могло бы происходить. Кроме того, его знание людей и причин, побуждающих их поступать таким или иным образом, было несравненно богаче обычного житейского опыта, естественного для человека его возраста; и это давало ему ту, на первый взгляд почти непостижимую, возможность угадывания, которую я наблюдал лишь у редких и все почему-то случайных моих знакомых. Виталий, впрочем, почти не пользовался ею, потому что был презрительно равнодушен к судьбе даже близких своих родственников,— и его доброта и снисходительность объяснялись, как мне казалось, этим, почти всегда одинаковым и безразличным отношением ко всем.

— Я очень любил твоего отца,— сказал Виталий, не отвечая на мой вопрос,— хотя он смеялся всегда над тем, что я офицер и кавалерист. Но он был, пожалуй, прав. Я и тебя люблю,— продолжал он.— И вот перед твоим отъездом я хочу сказать тебе одну вещь: обрати на нее внимание.

Я не знал, что Виталий мне хочет сказать; в мое отношение к нему как-то не вмещалась мысль о том, что он может интересоваться мной и советовать мне что бы то ни было; он предпочитал всегда бранить меня за мое непонимание чего-нибудь или за любовь к разговорам на отвлеченные темы, в которых я, по его словам, ничего не смыслил; и однажды он чуть не до слез смеялся, когда я ему сказал, что прочел Штирнера и Кропоткина, а в другой раз он сокрушенно качал головой, узнав о моем пристрастии к искусству Виктора Гюго; он презрительно отозвался об этом, как он выразился, человеку с ухватками пожарного, душой сентиментальной дуры и высокопарностью русского телеграфиста.

— Послушай меня,— говорил между тем Виталий.— Тебе в ближайшем будущем придется увидеть много гадостей. Посмотришь, как убивают людей, как вешают, как расстреливают. Все это не ново, не важно и даже не очень интересно. Но вот что я тебе советую: никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым. И помни, что самое большое счастье на земле, это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни. Ты не поймешь, тебе будет только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько времени, то увидишь, что понимал неправильно. А еще через год или два убедишься, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни.

— Хорошо,— сказал я.— Но какой же смысл в этих постоянных ошибках?..

— Смысл? — удивился Виталий.— Смысла, действительно, нет, да он и не нужен.

— Этого не может быть. Есть закон целесообразности.

— Нет, мой милый, смысл — это фикция и целесообразность тоже фикция. Смотри: если ты возьмешь ряд каких-нибудь явлений и станешь их анализировать, ты увидишь, что есть какие-то силы, направляющие их движения; но понятие смысла не будет фигурировать ни в этих силах, ни в этих движениях. Возьми какой-нибудь исторический факт, случившийся в результате долговременной политики и подготовки и имеющий вполне определенную цель. Ты увидишь, что с точки зрения достижения этой цели и только этой цели такой факт не имеет смысла, потому что одновре-



менно с ним и по тем же, казалось бы, причинам произошли другие события, вовсе непредвиденные, и все совершенно изменили.

Он посмотрел на меня; мы шли меж двух рядов деревьев, и было так темно, что я почти не видел его лица.

— Слово «смысл», — продолжал Виталий, — не было бы фикцией только в том случае, если бы мы обладали точным знанием того, что когда мы поступим так-то, то последуют непременно такие, а не иные результаты. Если это не всегда оказывается непогрешимым даже в примитивных, механических науках, при вполне определенных задачах и столь же определенных условиях, то как же ты хочешь, чтобы оно было верным в области социальных отношений, природа которых нам непонятна, или в области индивидуальной психологии, законы которой нам почти неизвестны? Смысла нет, мой милый Коля.

— А смысл жизни?

Виталий вдруг остановился, точно его задержали. Было совсем темно, сквозь листья деревьев едва виднелось небо. Оживленные места парка и город остались далеко внизу; слева синела Романовская гора, покрытая елями. Она казалась мне синей, хотя теперь, в темноте, глаз должен был видеть ее черной, но я привык смотреть на нее днем, когда она действительно синела: и тогда, вечером, я пользовался моим зрением только для того, чтобы лучше вспомнить контуры горы, а синева ее была уже готова в моем воображении — вопреки законам света и расстояния. Воздух был очень чистый и свежий; и опять, как всегда, в тишине до меня явственнее доносился далекий и протяжный звон, замирающий наверху.

— Смысл жизни? — печально переспросил Виталий, и в его голосе мне послышались слезы, и я не поверил себе; я думал всегда, что они неизвестны этому мужественному и равнодушному человеку.

— У меня был товарищ, который тоже спрашивал меня о смысле жизни, — сказал Виталий, — перед тем как застрелиться. Это был мой очень близкий товарищ, очень хороший товарищ, — сказал, часто повторяя слово «товарищ» и как бы находя какое-то призрачное утешение в том, что это слово теперь, много лет спустя, звучало так же, как раньше, и раздавалось в неподвижном воздухе пустынного парка. — Он был тогда студентом, а я был юнкером. Он всё спрашивал: зачем нужна такая ужасная бессмысленность существования, это сознание того, что если я умру стариком и, умирая, буду отвратителен всем, то это хорошо — к чему это? Зачем до этого доживать? Ведь от смерти мы не уйдем, Виталий, ты понимаешь? Спасенья нет. Нет! — закричал Виталий. — Зачем, — продолжал он, — становиться инженером, или адвокатом, или писателем, или офицером, зачем такие унижения, такой стыд, такая подлость и трусость? Я говорил ему тогда, что есть возможность существования вне таких вопросов: живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мысли о том, зачем ты все это делаешь. Но он не поверил мне, он застрелился. Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю.

В тот день мы вернулись домой очень поздно; и когда сонная горничная подала нам на террасу чай, Виталий посмотрел на стакан, поднял его, поглядел сквозь жидкость на электрическую лампочку — и долго смеялся, не говоря ни слова. Потом он про-

бормотал насмешливо: смысл жизни! — и вдруг нахмурился и потемнел и ушел спать, не пожелав мне спокойной ночи.

Когда, спустя некоторое время, я уезжал из Кисловодска, с тем чтобы, добравшись до Украины, поступить в армию, Виталий попрощался со мной спокойно и холодно, и в его глазах опять было постоянно-равнодушное выражение, готовое тотчас же перейти в насмешливое. Мне же было жаль покидать его, потому что я его искренно любил, — а окружающие его побаивались и не очень жаловали. — Каменное сердце, — говорила о нем его жена. — Жестокий человек, — говорила тетка. — Для него нет ничего святого, — отзывалась его невестка. Никто из них не знал настоящего Виталия. Уже потом, размышляя об его печальном конце и неудачливой жизни, я жалел, что так бесцельно пропал человек с громадными способностями, с живым и быстрым умом, — и ни один из близких даже не пожалел его. Расставаясь с ним, я знал, что вряд ли мы потом еще встретимся, мне хотелось обнять Виталия и попрощаться с ним, как с близким мне человеком, а не просто знакомым, явившимся на вокзал. Но Виталий держался очень официально; и когда он щелчком пальцев сбросил пушинку со своего рукава, то по этому одному движению я понял, что прощаться так, как я хотел сначала, было бы нелепо и *ridicule*<sup>1</sup>. Он пожал мне руку: и я уехал. Была поздняя осень, и в холодном воздухе чувствовалась печаль и сожаление, характерные для всякого отъезда. Я никогда не мог привыкнуть к этому чувству; всякий отъезд был для меня началом нового существования. Нового су-

---

<sup>1</sup> смешно (фр.).

существования — и, следовательно, необходимости опять жить ошупью и искать среди новых людей и вещей, окружавших меня, такую более или менее близкую мне среду, где я мог бы обрести прежнее мое спокойствие, нужное для того, чтобы дать простор тем внутренним колебаниям и потрясениям, которые одни сильно занимали меня. Затем, мне было еще жаль покидать города, в которых я жил, и людей, с которыми я встречался, — потому что эти города и люди не повторятся в моей жизни; их реальная, простая неподвижность и определенность раз навсегда созданных картин так была непохожа на иные страны, города и людей, живших в моем воображении и мною вызываемых к существованию и движению. Над одними у меня была власть разрушения и создания, над другими только клубилась моя память, мое бессильное знание; и оно было недостаточным даже для того угадывания, даром которого обладал дядя Виталий. Я видел еще некоторое время его фигуру на перроне; но уже исчезал Кисловодск, и звуки, доносившиеся с его вокзала, тонули в железном шуме поезда; и когда я приехал в тот город, где учился и жил зимой, то увидел, что идет снег, мелькающий в свете фонарей; на улицах кричали лихачи, гремели трамваи, и освещенные окна домов проезжали мимо меня, обходя широкую ватную спину извозчика, который взбрасывал вверх локти рук, державших вожжи, беспорядочными и суетливыми движениями, похожими на дерганье рук и ног игрушечных деревянных паяцев. Я прожил тогда в этом городе неделю перед отправкой моей на фронт; я проводил время в том, что посещал театры и кабаре и многолюдные рестораны с румынскими оркестрами. Накануне того дня, когда я должен был уехать, я встретил Щура, моего

гимназического товарища; он очень удивился, увидав меня в военной форме.— Уж не к добровольцам ли ты собрался? — спросил он. И когда я ответил, что к добровольцам, он посмотрел на меня с еще большим изумлением.

— Что ты делаешь, ты с ума сошел? Оставайся здесь, добровольцы отступают, через две недели наши будут в городе.

— Нет, я уж решил ехать.

— Какой ты чудак. Ведь потом ты сам будешь жалеть об этом.

— Нет, я все-таки поеду.

Он крепко пожал мне руку.— Ну, желаю тебе не разочароваться.— Спасибо, я думаю, не придется.— Ты веришь в то, что добровольцы победят? — Нет, совсем не верю, потому и разочаровываться не буду.

Вечером я прощался с матерью. Мой отъезд был для нее ударом. Она просила меня остаться; и нужна была вся жестокость моих шестнадцати лет, чтобы оставить маму одну и идти воевать,— без убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания вдруг увидеть и понять на войне такие новые вещи, которые, быть может, переродят меня.— Судьба отняла у меня мужа и дочерей,— сказала мне мать,— остался один ты,— и ты теперь уезжаешь.— Я ничего не отвечал.— Твой отец,— продолжала мать,— был бы очень огорчен, узнав, что его Николай поступает в армию тех, кого он всю жизнь не любил.— Дядя Виталий мне говорил то же самое,— ответил я.— Ничего, мама, война скоро кончится, я опять буду дома.— А если мне привезут твой труп? — Нет, я знаю, меня не убьют.— Она стояла у двери в переднюю и молча смотрела на меня, медленно открывая и закрывая глаза, как

человек, который приходит в себя после обморока. Я взял в руки чемодан; одна застежка его зацепилась за полу моего пальто, и, видя, что я не могу ее отцепить, мать вдруг улыбнулась: и это было так неожиданно — потому что она редко улыбалась, даже тогда, когда другие смеялись, и, конечно, зацепившаяся пола пальто никогда бы не могла рассмешить ее — и столько в этой улыбке было разных чувств — и сожаления, и сознания невозможности устранить мой отъезд, и мысль об одиночестве, и воспоминание о смерти отца и сестер, и стыд перед подступающими слезами, и любовь ко мне, и вся та долгая жизнь, которая связывала мать со мной от моего рождения до этого дня, — что Екатерина Генриховна Воронина, присутствовавшая при нашем прощании, вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Когда, наконец, за мной закрылась дверь и я подумал, что, может быть, никогда больше не войду в нее и мать не перекрестит меня, как только что перекрестила, — я хотел вернуться домой и никуда не ехать. Но было слишком поздно, та минута, в которую я мог это сделать, уже прошла; я был уже на улице, — я вышел на улицу, и все, что было до сих пор в моей жизни, осталось позади меня и продолжало существовать без меня; мне уже не оставалось там места — и я точно исчез для самого себя. Много времени спустя я вспомнил еще, что в тот вечер шел снег, засыпая улицы. А через два дня путешествия я был уже в Синельникове, где стоял бронированный поезд «Дым», на который я был принят в качестве солдата артиллерийской команды. Был конец тысяча девятьсот девятнадцатого года; с той зимы я перестал быть гимназистом Соседовым, перешедшим в седьмой класс, перестал читать книги, ходить на лыжах, де-



лать гимнастику, ездить в Кисловодск и видеть Клэр; и все, что я делал до сих пор, стало для меня только видением памяти. Впрочем, и в эту новую жизнь я принес с собой давние мои привычки и странности; и подобно тому как дома и в гимназии значительные события нередко оставляли меня равнодушным, а мелочи, которым, казалось бы, не следовало придавать значения, были для меня особенно важны,— так и во время гражданской войны бои и убитые и раненые прошли для меня почти бесследно, а запомнились навсегда только некоторые ощущения и мысли, часто очень далекие от обычных мыслей о войне. Самое лучшее мое воспоминание, относящееся к этому времени, заключалось в том, как однажды меня послали на наблюдательный пункт, находившийся на верхушке дерева, в лесу,— и оставили одного,— а бронепоезд ушел за несколько верст назад набирать воду. Был сентябрь месяц, зелень уже желтела. Опушку, где был наблюдательный пункт, обстреливали неприятельские батареи, и снаряды пролетали над деревьями с необыкновенным воем и гудением, какого никогда не бывает, если снаряд летит над полем. Дул ветер, верхушка дерева раскачивалась; маленькая белка с быстрыми глазами, что-то жевавшая теми смешными, частыми движениями челюстей, которые свойственны только грызунам, вдруг заметила меня, очень испугалась и мгновенно перепрыгнула на другое дерево, расправив свой желтый пушистый хвост и на секунду повиснув в воздухе. Далеко-далеко стояла батарея, обстреливавшая лес,— и я видел только тусклое красное пламя коротких вспышек, вырывавшихся из орудий при каждом выстреле. Шумели листья от ветра, внизу стрекотал неизвестно откуда взявшийся кузнечик и вдруг умолкал,

словно ему зажимали рот ладонью. Было так хорошо и прозрачно, и все звуки доходили до меня так ясно, и в маленьком озере, которое мне было видно сверху, так сверкала и рябилась вода,— что я забыл о необходимости следить за вспышками и движением неприятельской кавалерии, о присутствии которой нам сообщила разведка,— и о том, что в России происходит гражданская война, а я в этой войне участвую.

На войне мне впервые пришлось столкнуться с такими странными состояниями и поступками людей, которых я, наверное, никогда не увидел бы в других условиях, и прежде всего наблюдать самую ужасную трусость. Она никогда не вызывала, однако, во мне ни малейшего сожаления к тем, кто ее испытывал. Я не понимал, как может плакать от страха двадцатилетний солдат, который во время сильного обстрела и после того, как в бронированную площадку, где мы тогда находились, попало три шестидюймовых снаряда, исковеркавших ее железные стены и ранивших несколько человек,— ползал по полу, рыдал, кричал пронзительным голосом: ой, Боже ж мой, ой, мамочка! — и хватал за ноги других, сохранивших спокойствие. Я не понял, почему его страх вдруг передался офицеру, командовавшему площадкой, человеку вообще очень храброму, который закричал механику: полный ход назад! — хотя никакой новой опасности не представлялось и снаряды неприятельской артиллерии продолжали все так же ложиться вокруг бронепоезда. Я не мог бы сказать, что во время боев мне никогда не приходилось испытывать страха: но это было такое чувство, которое легко подчинялось рассудку; и так как в нем не было никакого сладострастия или соблазна, то преодолеть его было нетрудно. Я думал,

что, помимо этого, сыграло роль еще и другое обстоятельство: в те времена — так же, как и раньше и потом, — я по-прежнему не владел способностью немедленного реагирования на то, что происходило вокруг меня. Эта способность чрезвычайно редко во мне проявлялась — и только тогда, когда то, что я видел, совпадало с моим внутренним состоянием; но преимущественно то были вещи, в известной степени неподвижные и вместе с тем непременно отдаленные от меня: и они не должны были возбуждать во мне никакого личного интереса. Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги, за которым открывались тростники и болота, или человеческие глаза ручного медведя, или в темноте летней густой ночи вдруг пробуждающий меня крик неизвестного животного. Но во всех случаях, когда дело касалось моей участи или опасностей, мне угрожавших, заметнее всего становилась моя своеобразная глухота, которая образовалась вследствие все той же неспособности немедленного душевного отклика на то, что со мной случалось. Она отделяла меня от жизни обычных волнений и энтузиазма, характерных для всякой боевой обстановки, которая вызывает душевное смятение. Многих это душевное смятение всецело захватывало — как трусливых, так и храбрых. Но особенно чувствительны были простые люди, крестьяне, сельские рабочие; у них и храбрость и страх выражались сильнее всего — и доходили до равной степени отчаяния — в одних случаях спокойного, в других безумного — как будто это было одно и то же чувство, только направленное в разные стороны. Те, которые были очень трусливы, боялись смерти потому, что сила их слепой привязанности

к жизни была необычайно велика; те, которые не боялись, обладали той же страшной жизненной силой, — потому что только душевно сильный человек может быть храбрым. Но это загадочное могущество облекалось в разные формы, которые были так несхожи между собой, как жизнь паразитов и тех, на чей счет они кормятся. И потому, что, с одной стороны, все, кого я знал и видел из прежних моих наставников и знакомых, внушали мне всю жизнь презрение к трусости и долг мужества, и я никогда в этом не сомневался — и, с другой стороны, в силу недостаточного моего ума, который не мог постигнуть душевного состояния трусов, — и недостаточно богатых чувств, в которых я мог бы найти подобные состояния, — я относился к ним с отвращением, особенно усиливавшимся в тех случаях, когда трусливыми были не солдаты, а офицеры. Я видел, как один из них во время сильного боя, вместо того чтобы командовать пулеметами, забился под кучу тулупов, лежавших внутри площадки, заткнул пальцами уши и не вставал до тех пор, пока сражение не кончилось. Другой раз второй офицер пулеметной команды тоже лег на пол, закрыв лицо ладонями; и, хотя была зима и железный пол был очень холоден, — едва не прилипали пальцы, — он пролежал так около двух часов и даже не простудился, — наверное, потому, что сильнейшее действие страха создало ему какой-то мгновенный иммунитет. Третий раз, когда над базой — так назывался поезд, в котором жили солдаты и офицеры, приехавшие с фронта для смены, потому что было две смены, — одна на передовых линиях, другая в тылу; они чередовались каждые две недели, — и, кроме этого, вся нестроевая часть, то есть солдаты, работавшие на кухне, офицеры, занимавшие

административные и хозяйственные должности, жены офицеров, писаря, интенданты и около двадцати женщин, числившихся прачками, судомойками и уборщицами офицерских вагонов; это были женщины случайные, подобранные на разных станциях и соблазненные комфортом базы, теплыми вагонами, электричеством, чистотой, обильной пищей и жалованьем, которое они получали взамен нетрудных своих обязанностей и требовавшейся от них прежде всего чисто женской благосклонности,— когда над базой, стоявшей, как всегда, на сорок верст в тылу, появился неприятельский аэроплан и начал сбрасывать бомбы, поручик Борщов, фельдфебель бронепоезда, посмотрел на небо, торопливо перекрестился и полез на четвереньках под вагон, не стесняясь того, что окружающие видели это. Тогда же из одного вагона выскочил артельщик Михутин, хитрый мужик и вор, никогда не бывавший в бою: он спрыгнул с подножки вагона и, не оглядываясь по сторонам, побежал по полю, достиг водокачки и быстро в ней скрылся. Ни одна из сброшенных бомб в базу не попала, как этого и следовало ожидать; вообще же единственная бомба, причинившая вред, разрушила часть той самой водокачки, на которой сидел Михутин. Его, правда, не ранило, но сильно побило кирпичами: толстое лицо его, с брюзгливым свиным выражением, было в синяках, одежда была выпачкана белой известкой,— и, когда он вернулся в таком виде к себе, его подняли на смех,— что, впрочем, его совершенно не устыдило, так как чувство страха было в нем непобедимым. Другой солдат, Тиянов, широкоплечий мужчина, свободно крестившийся двухпудовой гирей, был настолько боязлив, что, выехав впервые на фронт и услышав

отдаленные выстрелы пушек, он спрыгнул с полуторасаженной высоты площадки вниз и хотел бежать обратно, в базу, но не мог из-за вывихнутой ноги; вывиху ноги он очень обрадовался, так как его действительно отправили в тыл. Он же как-то во время обстрела — ему пришлось все-таки ездить на фронт — упал в обморок и лежал с бледным лицом, не шевелясь; но когда я случайно взглянул в его сторону, а он этого не ожидал, я увидел, как он быстро открыл глаза, посмотрел вокруг и сейчас же закрыл их. Но наряду с такими людьми я знал и иных. Полковник Рихтер, командир бронепоезда «Дым», лежал, я помню, на крыше площадки, между двумя рядами гаек, которыми были свинчены отдельные части брони. Неприятельский снаряд, с визгом скользя по железу, сорвал все скрепы, бывшие слева от полковника: он даже не обернулся, лицо его оставалось неподвижным, и я не заметил решительно никакого усилия, которое он должен был сделать, чтобы сохранить хладнокровие. Старый офицер артиллерийской команды, поручик Осипов, сойдя однажды с площадки, чтобы осмотреть позиции, и выйдя в поле, попал между двух цепей пехотных солдат — с одной стороны лежала цепь красных, с другой — белых. Обе, не зная, кто это такой — красные приняли его за белого, белые — за красного, — стали по нем стрелять, и мы видели с площадки, как столбики пыли каждую секунду прыгали рядом с его ногами. Он все так же продолжал идти вперед, не обращая на пули никакого внимания; затем вернулся назад; одна пуля слегка оцарапала ему руку. Солдат Филиппенко во время боя пел тихие украинские песни, пытался заводить неторопливый разговор с другими и печально удивлялся, когда в ответ слышал ругатель-



ства: он не понимал ни нервного возбуждения, владевшего людьми, ни их страха.— Ты не боишься, Филиппенко?— спрашивал его командир.— А чего бояться?— удивленно говорил Филиппенко.— Боязно ночью на кладбище, вот то боязно. А днем не боязно.— Но одним из самых смелых людей, каких я когда-либо видел, был солдат Данил Живин, которого все звали Данько. Он был добродушный, худой, маленький человек: большой любитель посмеяться и хороший товарищ. Он был в такой степени лишен честолюбия и так был способен забывать о себе для других, что это казалось невероятным. Он пережил множество приключений, служил во всех армиях гражданской войны — у красных, у белых, у Махно, у гетмана Скоропадского, у Петлюры и даже в отряде эсэра Саблина, просуществовавшем всего несколько дней. Его служба на бронепоезде была прервана тем, что он попал в плен к Махно — вместе со всей командой, находившейся в тот раз на фронте. У Махно его назначили в особую роту пехотного полка, охранявшую мост через Днепр.

Мост, длиной в версту и три четверти, был занят с одной стороны махновцами, с другой — белыми. На обоих его концах стояли устремленные друг на друга пулеметы. Данько, попавший на сторожевой пост со стороны махновцев, решил вернуться на бронепоезд. Он отослал в землянку подчаска, взял свой пулемет на плечи и пошел по мосту в сторону добровольцев, которые тотчас же открыли ожесточенную стрельбу. Данько, невзирая на это, продолжал двигаться, точно шел не по узкому пространству, пронизываемому десятками пуль в секунду, а по спокойному российскому большаку, ведущему откуда-нибудь из Тулы в Орел. Его подча-

сок, обеспокоившись такой неожиданной стрельбой, выбежал из землянки и, увидев уходящего Данько, тоже принялся палить в него из второго пулемета. Данько перешел мост, даже не будучи ранен. Его арестовали белые, и какие-то глупые пехотные офицеры — два штабс-капитана — приняли его за шпиона и хотели расстрелять. Данько разразился страшными ругательствами с упоминанием Господа Бога и апостолов; это бы ему не помогло, если бы с площадки бронепоезда, стоявшей неподалеку, не пошли узнать, в чем дело. И поручик Осипов увидел оборванного Данько, оравшего на пехотных офицеров и хватающегося то за револьвер, то за винтовку. После вмешательства бронепоездного офицера его отпустили, сказав, что такого недисциплинированного солдата они еще не видели. — Я... вашу дисциплину! — закричал Данько. — Как же ты, Данько, не испугался? — спрашивали его уже после того, как он был переодет и накормлен и сидел у печи теплушки, куря папиросу из табака Стамболи. — Кто не испугался? — ответил Данько. — О, я очень испугался. — В другой раз Данько, отправившийся на разведку, опять угодил в плен, потому что пришел в деревню, занятую красными, вошел в избу, начал балагурить с хозяйкой и поинтересовался тем, есть ли в деревне большевики или, может быть, нету — за несколько секунд до неожиданного появления трех красноармейцев. Данько не успел даже схватиться за винтовку. Его обезоружили, заперли в сарай, приставили к сараю стражу, и Данько приговорили к высшей мере наказания. И все-таки через три дня, отыскав базу своего бронепоезда, успевшую уехать за шестьдесят верст, Данько явился как ни в чем не бывало. Я присутствовал при его разговоре с коман-

диром.— Ты где был, Данько? — А в плену.— Как же ты попал в плен? — Красные арестовали.— И они тебе ничего не сделали? — Ни, они хотели меня расстрелять.— А ты что? — А я убежал.— Как же тебе удалось? — Убил часового и убежал.— И не поймали тебя? — Ни,— сказал Данько,— я шибко бежал,— и рассмеялся. Мне же мысль о том, что Данько мог убить часового, казалась странно не соответствовавшей его характеру. По-видимому, это было для него просто необходимо; и, конечно, инстинкт самосохранения заглушил в нем возможность размышления — следует ли убивать часового или нет,— и, если бы не этот инстинкт, Данько давно не было бы в живых. Он был очень молод и несерьезен, как говорили про него солдаты: он рассмешил однажды всю команду бронепоезда, гоняясь за маленьким белым поросенком, которого он где-то купил; он долго бежал за ним, кричал на него и пытался накрыть его шапкой; он свистел, размахивал руками на бегу, и мы следили за ним до тех пор, пока и он и поросенок не скрылись с глаз. Вечером он вернулся, ведя за веревку свинью, на которую он ухитрился выменять поросенка. Над ним шутили и говорили, что за время долгой погони Данько поросенок успел вырасти. Данько смеялся, держа в руках шапку и потупившись. Он был веселый, бесконечно добрый и бесконечно отчаянный человек.— Данько, ты поехал бы на Северный полюс? — спрашивал я.— А там интересно? — Очень интересно, и много белых медведей.— А, ни,— сказал он,— я медведей боюсь.— Почему же ты их боишься? Они тебя к высшей мере не приговорят.— А они укусят,— ответил Данько и засмеялся. Он не мог отвыкнуть говорить мне «вы».— Данько,— объяснял я ему,—

ты такой же солдат, как и я. Почему ты мне говоришь «вы»? Ты можешь ведь разговаривать со мной, как с Иваном,— это был его приятель.— Не могу,— отвечал Данько,— совестно.— Этот Иван, умный хохол, спокойный и храбрый солдат, спросил меня как-то:

— Что такое Млечный Путь?

— Почему это вас вдруг заинтересовало?

— А меня солдаты спрашивают: Иван, что там в небе, как молоко? Я говорю: Млечный Путь. А что такое Млечный Путь, не знаю.

Я объяснил ему, как мог. На следующий день он опять подошел ко мне:

— А скажите мне, пожалуйста, чему равняется длина окружности?

— Она определяется специальными математическими терминами,— говорил я.— Не знаю, будут ли они вам понятны.— И я привел ему формулу длины окружности.

— Ага,— подтвердил он с довольным видом.— А я вас нарочно пытал, думал, может, не знаете. Я раньше спросил у вольноопределяющегося Свирского, а потом записал и пришел вас пытаться.

Он был прекрасным рассказчиком; и в среде так называемых интеллигентных людей я не видал никого, кто бы мог с ним сравняться. Он был очень умен и наблюдателен и обладал творческим даром создавать смешное из того, в чем другой не нашел бы его,— без которого юмор всегда бывает несколько вял. Я не помнил рассказов Ивана, в которых он проявлял свой удивительный имитаторский талант; и потому, что искусство его было легким и мгновенным, оно трудно поддавалось запечатлению; и теперь я вспоминал лишь то, как он передавал свой разговор с красным генералом, когда

в батарею, которой командовал в те времена Иван, прислали плохих лошадей.— Я ему говорю,— рассказывал Иван,— товарищ командир, разве ж то кони? Кони ходят и очень удивляются, что они еще не подошли. А он отвечает: благодарю верховную власть, что не все у меня такие командиры капризные, как те бабы. А я говорю, вот вы, не дай Бог, товарищ командир, помрете, так мы вас на тех конях хоронить будем, чтоб не очень трясло.

Я проводил свое время с солдатами, но они относились ко мне с известной осторожностью, потому что я не понимал очень многих и чрезвычайно, по их мнению, простых вещей — и в то же время они думали, что у меня есть какие-то знания, им, в свою очередь, недоступные. Я не знал слов, которые они употребляли, они смеялись надо мной за то, что я говорил «идти за водой»,— за водой пойдешь, не вернешься,— насмешливо замечали они. Кроме того, я не умел разговаривать с крестьянами и вообще в их глазах был каким-то русским иностранцем. Однажды командир площадки сказал мне, чтобы я пошел в деревню и купил свинью.— Должен вас предупредить,— сказал я,— что я свиней никогда не покупал, такого случая в моей жизни еще не было; и, если моя покупка окажется не очень удачной, вы уж не будьте в претензии.— Что ж,— ответил он,— ведь свинью покупать, это вам не бином Ньютона какой-нибудь. Мудрость тут невелика.— И я отправился в деревню. Во всех избах, куда я заходил, на меня смотрели с недоверием и усмешкой.— Нет ли у вас свиньи продажной? — спрашивал я.— Кого? — Свиньи.— Ни, свиньи нема.— Я обошел сорок дворов и вернулся на площадку ни с чем.— У меня создалось впечатление,— сказал я офицеру,— что эта разновидность млеко-

питающих здесь неизвестна.— А у меня создалось впечатление, что вы просто не умеете покупать свиней,— ответил он. Я не стал спорить; и тогда Иван, присутствовавший при этом разговоре, предложил свои услуги.— Идемте со мной,— сказал он мне,— и зараз свинью купим.— Я пожал плечами и опять пошел в деревню. В первой же избе — той самой, где мне сказали, что свиньи нет,— Иван купил за гроши громадного борова. Перед этим он поговорил с хозяевами об урожае, выяснил, что его дядька, живущий в Полтавской губернии, ближайший друг и земляк зятя хозяина, похвалил чистоту избы — хотя изба была довольно грязная,— сказал, что в таком хозяйстве не может не быть свиньи, попросил напиться,— и кончилось это тем, что нас накормили до отвала, продали свинью и проводили за ворота.— Вот вам и бином,— сказал я командиру, вернувшись.— И всегда бывало так, что там, где мне приходилось иметь дело с крестьянами, у меня ничего не выходило; они даже плохо понимали меня, так как я не умел говорить языком простонародья, хотя искренно этого хотел. На бронепоезде у нас преобладали, однако, люди, уже обтершиеся и получившие известный лоск: железнодорожные служащие, телеграфисты. Солдаты наши очень франтили, носили «вольные» брюки, что считалось вольнодумством, а некоторые унизывали пальцы кольцами и перстнями таких гигантских размеров, что поддельность их ни у кого решительно не вызывала ни малейших сомнений. Самое большое количество драгоценностей носил первый из бронепоездных негодяев, бывший мясник, Клименко. Все свободное время он находился в состоянии напряженного внимания: левая рука его не переставала крутить усы, а правую он держал в



воздухе, поближе к глазам, чтобы лучше видеть блеск своих колец. О его дурных качествах узнали после того, как он украл у своего соседа деньги, попался, и когда командир сказал ему: ну, Клименко, выбирай: или я тебя под суд отдам и тебя расстреляют, как собаку, или я выстрою весь бронепоезд и перед фронтом дам тебе несколько раз по физиономии.— Клименко стал на колени и просил, чтобы командир дал ему по физиономии.— Клименко сказал: по морде. Это было сделано на следующее утро; и потом, у себя в вагоне, Клименко часто вспоминал это и говорил: — я могу только смеяться с дурости командира,— и действительно, смеялся. Вторым негодяем считался бывший начальник какой-то маленькой железнодорожной станции, Валентин Александрович Воробьев. Как большинство пожилых уже негодяев, он был чрезвычайно благообразен: носил пушистую бороду, которую бережно расчесывал; он был очень любезен в обращении, пел высоким голосом грустные украинские песни,— и вместе с тем тип отъявленного мерзавца был доведен в нем до конца. Он мог подвести товарища под суд, мог, как Клименко, обокрасть своего же соседа, и уж, конечно, в трудных обстоятельствах выдал бы всех. Когда я приехал на бронепоезд, он в тот же день украл у меня коробку с тысячью папирос. Кажется, этого человека очень любили женщины, он жил со всеми служанками и подметальщицами, которые находились в его подчинении; а когда одна из них отвергла его, он написал на нее донос, обвинив ее в социализме, хотя бедная женщина была неграмотной: и ее арестовали и отправили куда-то по этапу; была зима, женщина эта уехала с двухлетней своей девочкой на руках. Глядя на Воробьева, я часто думал о том,

почему женщины нередко отдают предпочтение негодьям: может быть, потому, говорил я себе, что негодяй более индивидуален, чем средний человек; в негодяе есть что-то, чего нет в других,— и еще потому, что каждое, или почти каждое, качество, доведенное до последней своей степени, перестает рассматриваться, как обыкновенное свойство человека, и приобретает притягательную силу исключительности. И так как, несмотря на то что прежняя моя жизнь кончилась, я еще не совершенно ушел от нее; и некоторые гимназические привычки еще оставались у меня, я был еще гимназистом; — то мои мысли принимали особый оборот, заранее обрекавший их на бесплодность и несоответствие первоначальным соображениям, которые, таким образом, служили мне только предлогом для возвращения моей фантазии в ее излюбленные места. Женщины любили палачей: и исторические преступления, совершенные сотни лет тому назад, до сих пор не утратили для них своего волнующего интереса — и почему не предположить, что Воробьев — это миниатюра грандиозных преступлений? Но это было нелепо и не походило ни на что. Воробьев занимался тем, что воровал в соседних товарных составах сахар и мануфактуру, а однажды ухитрился, маневрируя ночью на паровозе, увести из поезда генерала Трясунова, командующего фронтом, новенький желтый вагон второго класса. Но вечерами, лежа на своей койке с побледневшим от пьянства лицом и мутными, печальными глазами, он все сокрушался о том, что волею судеб вынужден принимать участие в гражданской войне.

— Боже мой! — говорил он чуть ли не со слезами.— Какая обстановка! Расстрелянные, повешенные, убитые, замученные. Да я-то тут при чем?

Кому я какое зло сделал? За что все это? Господи, мне бы домой; у меня жена, ребятишки маленькие спрашивают: где папа? А папа сидит тут, под виселицами. Что я детям скажу? — кричал он. — Где мое оправдание? Одно вот утешение: приедем в Александровск, приду к жене ночью, неожиданно. Скажу: заждалась, милая? А я вот он.

И действительно, в Александровске Воробьев побывал у жены и вернулся умиротворенным. Но когда мы отъехали верст сорок и простояли на маленькой станции трое суток, он опять загрустил:

— Боже мой, какая обстановка! Расстрелянные, повешенные. За что? — опять кричал он. — Дети спросят: ты где был, папа? Что я им скажу? — Он умолк, вздохнул и потом сказал задумчиво:

— Вот, приедем в Мелитополь, пойду к жене, снова буду дома. Что, скажу, заждалась, милая? А я вот он. — А ваша жена уже в Мелитополе? — спросил я. Он поглядел на меня невидящими пьяными глазами, в которых стояло выражение умиления и благодарности.

— Да, милый друг, в Мелитополе.

Но и уехав из Мелитополя, он продолжал мечтать, как приедет к жене, на этот раз уже в Джанкой.

— У тебя, брат, жена прямо клад, — говорили ему с насмешкой. — Не жена, а Богородица вездесущая. Как же это она — в Александровске, и в Мелитополе, и в Джанкое? И везде детишки и квартира. Здорово ты устроился.

И тогда Воробьев привел объяснение, которое, по-видимому, казалось ему совершенно достаточным. Всех остальных оно очень удивило.

— Дети, — сказал он, — да ведь я железно-дорожник.

— Ну, так что же?

— Чудаки, — изумился Воробьев. — Видно, службы железнодорожной не знаете. В каждом городе жена, дорогие, в каждом городе.

Третий негодяй был Парамонов, студент, которого незадолго до моего поступления легко ранили в ногу. Он, собственно, зла никому не причинял; но каждый день часа за два до докторского обхода он втирал себе в рану масло, не давая ей таким образом заживляться; и поэтому он считался раненым бесконечно долго и не ездил на фронт. Все видели и знали, как он поступает, но относились к нему с молчаливым презрением и брезгливостью, и ни у кого не хватало духа сказать ему, что так делать нехорошо. Он всегда бывал один, с ним избегали разговаривать; он сидел обычно в своем углу и, украдкой поглядывая кругом, ел сало и хлеб — он был очень прожорлив. Он жил, как одинокое животное, присутствие которого терпят, хотя оно и неприятно. Он был молчалив и враждебен ко всем; и когда проходили мимо его койки, он следил за проходившими настороженным и злым взглядом. Потом его куда-то откомандировали. Я вспомнил о Парамонове через несколько лет, уже за границей, когда видел умирающего филина, привязанного туго замотанной тесемкой к дереву; едва заслышав чьи-нибудь шаги, филин выпрямлялся, перья его топорщились, он медленно взмахивал крыльями и щелкал клювом; и желтые его глаза слепо и злобно смотрели перед собой. Были на поезде вруны, мошенники, был даже один евангелист, который пришел неизвестно откуда, поселился в нашем вагоне и жил безбедно и беззаботно, проповедуя непротивление злу. — Я до этой вашей винтовки никогда не дотрагивался и не дотронусь, — говорил он. — Грех. — А если на тебя нападут? — Словом буду отражать. —

Но однажды, когда он принес себе обед,— котелок с борщом и котелок с кашей,— а его у него потихоньку стащили, он пришел в ярость, схватил по странной случайности ту винтовку, к которой обещал не прикасаться, и наделал бы много бед, если бы его не обезоружили. Но самым удивительным человеком, которого я видел на войне, был солдат Копчик, внешнее отличие которого заключалось в его непобедимой лени. Он ненавидел всякую работу, все делал с величайшим трудом и вздохами, хотя был совершенно здоров и силен. Солдаты недолюбливали его за постоянное увиливание от нарядов; им приходилось многое за него делать. Он всегда жил как-то скрываясь, полный боязни перед тем, что его вдруг заставят грузить в вагоны муку, или носить воду, или чистить картофель. Он изредка проходил вдоль базы — и тотчас же его небритый подбородок, слезящиеся глаза и вся фигура в обтрепанном и грязном френче и таких же штанах — исчезали, и уже через минуту его с собаками не сыскали бы. На фронт он старался не ездить по той же причине, по какой прятался в базе; там тоже нужно было работать, но если в тылу была еще возможность уклониться от этого, то на площадке, в бою, это становилось невыносимым. Лень этого солдата была в нем неизмеримо сильнее, нежели страх смерти,— потому, что смысла опасности он до конца не понимал, а то, что работа мешала ему жить в праздности и мечтать — которые он любил больше всего на свете — это он знал превосходно. Я не представлял себе такого случая, когда Копчик вдруг мог бы проявить хоть часть своей огромной энергии, уходившей на придумывание способов уклониться от всякого труда и на долгое лежание под вагоном, как он это делал в

жаркую летнюю погоду. Я не знал, способен ли Копчик совершить хоть ничтожный поступок, но который бы каким-нибудь образом показал, что он думает, чем он живет и что составляет предмет его долгих размышлений, наполняющих обычное его безделье. И вот однажды, на площадке, во время сильного боя, когда Копчик со страданием в глазах вытаскивал снаряды из их гнезд и подавал их к орудию и каждый снаряд сопровождал жалобным вздохом, а после пятого сказал: спина разболелась, тяжелые очень снаряды, — неприятельская граната разорвалась над нашим орудием; раненный в живот наводчик упал на пол, и пушка перестала стрелять. В мгновенно наступившем замешательстве никто не знал, что делать, и только Копчик, который увидел, что больше ему покамест работать не придется, облегченно вздохнул, похлопал рукой горячую еще пушку и изменившейся, почти подпрыгивающей походкой подошел к раненому. Кровь заливала пол, смертельная последняя тревога была на лице раненого. — Ты не помрешь, — сказал ему Копчик среди общего молчания. Вдалеке, с равными промежутками времени, раздались четыре пушечных выстрела. — Посмотри, какой ты здоровый, — спокойно продолжал он, — кровь у тебя очень красная, а который человек больной, у того она синяя. — Сердце не выдержит, — сказал наводчик. — Сердце? — переспросил Копчик. — Это неправильно. Сердце у тебя крепкое, а если бы было слабое, тогда, конечно, не выдержало бы. Вот я тебе расскажу про слабое сердце. Пошел я раз коней купать, вижу, недалеко сидит водяной, и очень грустный. — Наводчик с усилием посмотрел на Копчика. — А ну-ка, думаю, дай пугну. И пугнул. Как крикну: ты чего, борода, здесь делаешь? Он и помер с испугу, потому



что сердце у него слабое, нечеловеческое, вот какое сердце. А у тебя сердце очень крепкое.— Но, не доехав до базы, наводчик умер; и когда через три дня я, проходя по полотну, увидел из-под вагона свалившиеся волосы Копчика, у меня стало странно на душе и смутно — и я поскорее от него отвернулся: было в этом солдате что-то нечеловеческое и нехорошее, что я хотел бы не знать. Но мое внимание отвлекла ссора главной кухарки офицерского собрания, — помещавшегося в особом пульмановском вагоне, — с бронепоездным чистильщиком сапог, пятнадцатилетним красивым мальчишкой Валею, который, будучи любовником этой немолодой и хромой женщины, изменил ей не то с прачкой, не то с судомойкой; она при всех ругала его за это нецензурными словами — и три солдата, стоявшие неподалеку, смеялись от всего сердца. Романы со служанками отнимали у офицеров и наиболее предприимчивых солдат довольно много времени; служанки быстро поняли себе цену и заважничали — и одна из них, крупная ярославская баба Катюша, не хотела знать никого и не внимала никаким уговариваниям до тех пор, пока ей не платили вперед. Бронепоездной рассказчик сальных анекдотов, поручик Дергач, жаловался на нее всем окружающим.

— Нет, господин поручик, — гордо говорила Катюша. — Я теперь задаром ни с кем не сплю. Дайте мне кольцо с вашей руки, я с вами спать буду. — Дергач долго колебался. — Вы понимаете, — рассказывал он, — это кольцо — священный подарок моей невесты, — но любовь, как он говорил, превозмогла, и нет теперь кольца у поручика Дергача, разве что другое купил. Самой недоступной женщиной на бронепоезде была все-таки сестра ми-

лосердия, надменная женщина, презрительно относившаяся к солдатам и лишь изредка снисходившая до пренебрежительных разговоров с ними. Я вспоминал, как лежал вечером на своей койке, когда она перевязывала Парамонова, приведя его предварительно в мое купе, где была ярче электрическая лампочка; она подняла голову и увидела мое лицо.— Какой молоденький,— сказала она.— Ты какой губернии? — Питерской, сестрица.— Питерской? Как же ты попал на юг? — А вот приехал.— Что же ты раньше делал? В разносчиках, что ли, служил? — Нет, сестрица, я учился.— В церковно-приходской школе, наверное? — Нет, сестрица, не в школе.— А где же? — В гимназии,— сказал я и, не выдержав, рассмеялся. Она покраснела.— Вы из какого класса? — Из седьмого, уважаемая сестрица.— Потом она обходила меня, как только замечала издали.

Так же, как для того, чтобы совершенно отчетливо вспомнить мою жизнь в кадетском корпусе и ни с чем несравнимую каменную печаль, которую я оставил в этом высоком здании, мне было достаточно почувствовать вкус котлет, мясного соуса и макарон,— так, как только я слышал запах перегоревшего каменного угля, я тотчас представлял себе начало моей службы на бронепоезде, зиму тысяча девятьсот девятнадцатого года, Синельниково, покрытое снегом, трупы махновцев, повешенных на телеграфных столбах,— замерзшие твердые тела, качающиеся на зимнем ветру и ударяющиеся о дерево столбов с тупым легким звуком,— селение, чернеющее за вокзалом, свистки паровозов, звучавшие, как сигналы бедствия, и белые верхушки рельс, непонятных в своей неподвижности. Мне казалось, что они мчатся, вздрагивая на стыках, и

точно безмолвно рассказывают о далеком путешествии сквозь снег и черные поселения России, сквозь зиму и войну, в необыкновенные страны, напоминающие гигантские аквариумы, наполненные водой, которой можно дышать, как воздухом, и музыкой, которая колеблет зеленоватую поверхность; и под поверхностью шевелятся длинные стебли растений, за стеклами проплывают на листьях «Виктория Регия» несуществующие животные, которых я не мог себе представить, но присутствие которых не переставал ощущать, когда глядел на рельсы и полузаметенные снегом шпалы, похожие на доски кем-то перевернутого бесконечно длинного забора. И пребыванию на бронепоезде я обязан еще одним: чувством постоянного отъезда. База уезжала из одного места в другое; и те предметы, которые постоянно и неподвижно окружали меня, мои книги, костюмы, несколько гравюр, электрическая лампочка над головой,— вдруг начинали двигаться, и явственнее, чем когда бы то ни было, постигал мысль о движении и повелительную природу этой мысли. Я мог хотеть или не хотеть ехать; но уже покачивалась на ходу лампа, уже подпрыгивали книги на полке, сновал по деревянной стенке подвешенный карабин, и за стеклом кружилась покрытая снегом земля, и свет из окон базы быстро бежал по полю, то подымаясь, то опускаясь, оставляя за собой длинную прямоугольную полосу пространства, дорогу из одних стран в другие. Когда, выходя со станции, поезд ускорял ход, мимо окон пролетали скорченные ноги повешенных в белых кальсонах, которые ветер раздувал, как паруса лодок, застигнутых бурей. Давно прошли те сложнейшие сплетения самых разнообразных и навеки переставших существовать причин,— по-

тому что ничья память не сохранила их,— которые зимой того года заставили меня очутиться на бронепоезде и ехать ночами на юг; но это путешествие все еще продолжается во мне и, наверное, до самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней койке моего купе, и вновь перед освещенными окнами, разом пересекающими и пространство и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми парусами в небытие, опять закружится снег, и пойдет скользить, подпрыгивая, эта тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни. И может быть, то, что я всегда недолго жалел о людях и странах, которые покидал,— может быть, это чувство лишь кратковременного сожаления было таким призрачным потому, что все, что я видел и любил,— солдаты, офицеры, женщины, снег и война,— все это уже никогда не оставит меня,— до тех пор, пока не наступит время моего последнего, смертельного путешествия, медленного падения в черную глубину, в миллион раз более длительного, чем мое земное существование, такого долгого, что пока я буду падать, я буду забывать это все, что видел и помнил и чувствовал и любил; и когда я забуду все, что я любил, тогда я умру. И одним из последних моих спутников я забуду Аркадия Савина. Это был единственный человек, который походил на людей, живших в моем воображении, и чудесная сила в двадцатом столетии сделала его конквистадором, романтиком и певцом, точно вызвав его широкоплечую тень из мрачных пространств средневековья. Он служил вместе с нами и так же, как мы, ездил на фронт, но все, что он делал, было исключительно и необыкновенно. В бою с пехотой Махно, когда на площадке бронепоезда из четырнадцати

человек команды осталось только двое — остальные были убиты или ранены, — Аркадий, с искривленной контузией челюстью, наступая на труп первого номера, которому оторвало голову — и безглавое тело его еще корчилося и пальцы его, уже нечеловеческих, отдельных рук еще царапали пол, — Аркадий, пачкая свой френч в человеческих мозгах, долго стрелял один из пушки в сплошную массу махновских солдат, карабкавшихся на насыпь. Его храбрость была непохожа на обычную храбрость: и все поступки Аркадия отличались точностью, невероятной быстротой и уверенностью; и, казалось, сознание своего неизмеримого превосходства над другими не покидало его никогда. Движения его во время опасности были быстры, как движения японского фокусника или акробата: в нем вообще было что-то азиатское, часть того таинственного душевного могущества, которым обладают люди желтой расы и которое непостижимо для белых. Вместе с тем Аркадий был тяжел и широк. Офицеры не могли ему простить тех презрительных усмешек, какими он сопровождал их неудачные распоряжения во время боя. Когда бронепоезд выезжал на фронт и площадки, весившие по несколько тысяч пудов, неудержимо катились по рельсам, вздрагивая и громыхая, — фигура Аркадия, стоявшего впереди и глядевшего перед собой, несмотря на то, что в такой позе его не было ничего неожиданного и непривычного, — казалась мне мрачной статуей на машине войны. Таким он представлялся мне на фронте. В тылу он становился другим.

Он очень любил хорошо одеваться, много пил, уходил всегда в город или селение, возле которого стояла база; и ночью мы просыпались оттого, что слышали раскаты его сильного баритона; он всегда

пел, возвращаясь. Он вообще пел очень хорошо; он по-настоящему знал, что такое музыка. С побледневшим лицом, с головой, склоненной на грудь, он просиживал в купе долгие минуты совершенно неподвижно: и потом вдруг глубокий грудной звук наполнял вагон: и через секунду я не видел больше ни стен вагона с развешанными по ним винтовками, ни книг, ни ламп, ни моих товарищей — точно их никогда и не было, и все, что я знал до сих пор, было страшной ошибкой — и ничего не существовало, кроме этого голоса и белого лица Аркадия со смеющимися глазами — хотя он всегда пел только печальные песни. И тогда же я думал, что нет плохих печальных песен и что если в иных плохие слова, то это оттого, что я не сумел их понять, оттого, что, слушая наивную песнь, я не мог всецело отдаться ей и забыть о тех эстетических привычках, которые создало во мне мое воспитание, не учившее меня драгоценному искусству самозабвения. Чаще всего Аркадий пел романс, стихотворная форма которого могла бы в иное время вызвать у меня только улыбку; но если бы я мог заметить недостатки этой формы во время пения Аркадия, я стал бы в тысячу раз несчастнее, чем был. Этого романса я потом нигде и ни от кого не слышал:

Я одинок. А время быстро мчится,  
Несутся дни, недели и года.  
А счастье мне во сне лишь только снится,  
Но наяву не вижу никогда.

Вот скоро-скоро, скоро в море жизни  
Исчезнет мой кочующий челнок.

Прислушайся к последней укоризне,  
И ты поймешь, как я был одинок.

Прислушайся к последней укоризне,  
И ты поймешь, как я был одинок...



Под окном вагона собирались солдаты, офицеры и бронепоездные женщины. Летом он пел по вечерам, и голос его тонул в далеком и жарком безмолвии темного воздуха. Аркадий пел эту песнь и в те дни, когда уже синели перед нами маленькие озера Сивашей и было последнее отступление: мы уезжали из Таврии; и, стоя у окна, Аркадий все пел о челноке, и поезд гудел, железные колеса его скрежещали и скрывались в тучах колючей пыли; и толстые купола какой-то церкви то скрывались, то вновь возникали перед нами.

Аркадий часто видел сны; и незадолго до этого отступления ему приснилась русалка: она смеялась и била хвостом и плыла рядом с ним, прижимаясь к нему своим холодным телом, и чешуя ее ослепительно блестела. Я вспомнил об этом сне Аркадия, когда поздней ночью, в Севастополе, на осенних волнах Черного моря увидал моторную лодку, которая быстро шла к громадному английскому крейсеру, стоявшему на рейде; она поднимала за собой сверкающий гребень воды, и мне показалось вдруг, что сквозь эту пену доносится до меня едва слышный смех и нестерпимый блеск проступает через темную синеву.

Целый год бронепоезд ездил по рельсам Таврии и Крыма, как зверь, загнанный облавой и ограниченный кругом охотников. Он менял направления, шел вперед, потом возвращался, затем ехал влево, чтобы через некоторое время опять мчаться назад. На юге перед ним расстилалось море, на севере ему заграждала путь вооруженная Россия. А вокруг вертелись в окнах поля, летом зеленые, зимой белые, но всегда пустынные и враждебные. Бронепоезд побывал всюду: и летом он приехал в Севастополь. Лежали белые известковые дороги,

проходившие над морем, глиняные горы громоздились по берегам, летели и стремительно падали в воду маленькие нырки. На забытых пристанях стояли заржавевшие броненосцы, у их глубоко сидящих бортов прыгали морские коньки; черные крабы боком двигались по дну, стеклянные рыбы проплывали, как слепые; и у темных ямок подводной земли неподвижно стояли ленивые бычки. Было очень жарко и тихо; и мне казалось, что в этой солнечной тишине, над синим морем, умирает в светлом воздухе какое-то прозрачное божество.

Жизнь того времени представлялась мне проходившей в трех различных странах: стране лета, тишины и известкового зноя Севастополя, в стране зимы, снега и метели и в стране нашей ночной истории ночных тревог и боев и гудков во тьме и холоде. В каждой из этих стран она была иной, и, приезжая в одну из них, мы привозили с собой другие; и холодной ночью, стоя на железном полу бронепоезда, я видел перед собой море и известку; и в Севастополе иногда блеск солнца, отразившийся на невидимом стекле, вдруг переносил меня на север. Но особенно непохожей на все, что я знал до того времени, была страна ночной жизни. Я вспоминал, как ночью над нами медленно проносился печальный, протяжный свист пуль; и то, что пуля летит очень быстро, а звук ее скользит так минорно и неторопливо, — делало особенно странным все это невольное оживление воздуха, это беспокойное и неуверенное движение звуков в небе. Иногда из деревни доносился быстрый звон набата; красные облака, до тех пор незримые в темноте, освещались пламенем пожара, и люди выбегали из домов с такой же тревогой, с какой должны выбегать на палубу матросы кораб-

ля, давшего течь в открытом море, вдали от берегов. Я часто думал тогда о кораблях, как бы спеша, заранее прожить эту жизнь, которая была суждена мне позже, когда мы качались вверх и вниз на пароходе, в Черном море, посредине расстояния между Россией и Босфором.

Было много невероятного в искусственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и пулеметов: они двигались по полям Южной России, ездили верхом, мчались на поездах, гибли, раздавленные колесами отступающей артиллерии, умирали и шевелились, умирая, и тщетно пытались наполнить большое пространство моря, воздуха и снега каким-то своим, не божественным смыслом. И самые простые солдаты, единственные, которые оставались в этой обстановке прежними Ивановыми и Сидоровыми, созерцателями и бездельниками, — эти люди сильнее, чем все другие, страдали от неправильности и неестественности происходящего и скорее, чем другие, погибали. Так погиб, например, бронепоездной парикмахер Костюченко, молодой солдат, пьяница и мечтатель. Он кричал по ночам, ему все снились пожары и лошади и паровозы на зубчатых колесах. Целыми днями, с утра до вечера, он точил сврю бритву, покрикивая и смеясь сам с собой. Его начинали сторониться. В один прекрасный день, брея утром командира бронепоезда, в присутствии которого солдату не полагалось разговаривать, он вдруг запел скороговоркой пляшущий мотив с неожиданно обрывающимися звуками, характерными для некоторых солдатских песен:

Ой, ой!  
Подхожу я к кабаку,  
Лежит баба на боку,  
Спит.

Он голосил, не переставая привычными механическими движениями брить сразу покрасневшие щеки командира. Потом он отложил бритву в сторону, сунул два пальца в рот и пронзительно зашвистел; затем опять схватил бритву и изрезал занавески на окне. Его вывели из купе командира и долго не знали, что с ним делать. Наконец решили — и втолкнули его в пустой товарный вагон одного из тех бесчисленных поездов, которые везли неизвестно зачем и куда трупы солдат, умерших от тифа, и подпрыгивающие тела больных, не успевших еще умереть. Больные лежали на соломе, деревянный пол с многочисленными щелями трясся и уносился вместе с ними — и куда бы ни ехал поезд, они все равно умирали; и после суток путешествия тела больных делали только те мертвые движения, которые происходили от толчков поезда — как происходили бы с тушами убитых лошадей или околевших животных. И Костюченку увезли в пустом вагоне; никто не узнал, что с ним потом случилось. Я представлял себе в темноте наглухо закрытой теплушки его блестящие глаза и то непостижимое состояние его смутного ума, где-то вдали мерцающего сознания, которое бывает у сумасшедших. Но случай Костюченко был последним, относящимся ко времени нашего пребывания в прифронтовой полосе, потому что после долгой зимы и синих ледяных зеркал Сивашей и этого постоянного вида песчаной дамбы с черными шпалами, — от красных огней семафоров, от пузатых водокачек с замерзшей водой, которые мы видели, проводя дни и недели «на подступах к Крыму», после Джанкоя, где долго стояла наша база, — мы уехали в глубь страны. Мы долго стояли в Джанкое с темными домами, где ютились какие-то офицерские Мес-

салины, давно оставшиеся без мужей и приходившие к нам в вагоны пить водку, есть бифштексы, принесенные из вокзального буфета, и, насытившись, с икотой утомленной жадности, беспокойно ерзать по сиденьям купе и быстрыми незаметными движениями расстегивать потертые платья и потом плакать и кричать от страсти и через две минуты опять плакать, но уже умиленными, более прозрачными слезами, и жалеть, как они говорили, о прошлом; и сожаление их вдруг окрашивало в небывалые, праздничные цвета глухую жизнь в провинции, замужем за пехотным капитаном, пьяницей и игроком; им казалось, что они не понимали тогда своего бедного счастья и что их жизнь была хорошей и приятной; они не владели, однако, искусством воспоминания и все всегда рассказывали в одних и тех же словах, как в ночь на Пасху они ходили с зажженными свечами и как звонили колокола. До войны и бронепоезда я никогда не видел таких женщин. Они говорили с военными словечками и выражениями и держались развязно, особенно после того, как утоляли голод, хлопали мужчин по рукам и подмигивали им. Знания их были изумительно скудны; страшная душевная нищета и смутная мысль о том, что жизнь их должна была бы идти иначе, делали их неуравновешенными; и по типу своему они больше всего походили на проституток, но проституток с воспоминаниями. Только одна из этих женщин, которые теперь неотделимы для меня от грязного бархата диванов, от джанкойских керосиновых фонарей и аккуратных ломтиков маринованной селедки, подававшейся к вину и водке,— Елизавета Михайловна, была непохожа на своих подруг. Как-то случалось всегда так, что она приходила к нам, когда я спал, это бывало

или часов в девять утра, или часа в два ночи. Меня будили и говорили: проснись, неудобно, пришла Елизавета Михайловна — и это соединение имен на минуту пробуждало меня; и через некоторое время получилось так, что Елизавета Михайловна, это неведомая спутница моих снов — Елизавета Михайловна — слышу я, и сплю, и опять слышу:— Елизавета Михайловна. Открывая глаза, я видел невысокую худую женщину с большим красным ртом и смеющимися глазами; и на желтоватой коже ее лица будто плясали синеватые искры. Она была похожа на иностранку. Я бы никогда не узнал о ней ничего, если бы однажды, проснувшись, не услышал ее разговора с одним из моих сослуживцев, филологом Лавиновым. Они говорили о литературе, и она нараспев читала стихи, и по звуку ее голоса было слышно, что она сидела и покачивалась. Лавинов был самым образованным среди нас: любил латынь и часто читал мне записки Цезаря, которые я слушал из вежливости, так как совсем недавно учил их в гимназии; и как все, что вынужден был учить, находил скучными и неинтересными; но с любовью к лаконическому и точному языку Цезаря у Лавинова соединялось пристрастие к меланхолической лирике Короленко и даже некоторым рассказам Куприна. Больше всего, впрочем, он любил Гаршина. Однако, несмотря на такой странный вкус, он всегда прекрасно понимал все, что читал,— и понимание его превышало его собственные душевные возможности; и это придавало его речи особенную неуверенность; знания же его были довольно обширны. Он говорил своим низким голосом:

— Да, Елизавета Михайловна, вот как приходится. Нехорошо.



— Да, нехорошо.

Так разговор продолжался довольно долго,— все о том, что хорошо или нехорошо. Казалось, что у них нет иных слов. Но Елизавета Михайловна не уходила; и по ее тону было слышно, что в ответ на каждое «хорошо» или «нехорошо» Лавинова в ней происходит нечто важное и вовсе не имеющее отношения к этому разговору, но одинаково значительное и для нее и для Лавинова. Так бывает, что когда тонет кто-нибудь, то над ним на поверхности появляются пузыри; и тот, кто не видел ушедшего в воду, заметит только пузыри и не придаст им никакого значения; и между тем под водой захлебывается и умирает человек, и пузырями выходит вся его долгая жизнь со множеством чувств, впечатлений, жалости и любви. То же происходило и с Елизаветой Михайловной: хорошо и нехорошо — были только пузырями на поверхности разговора. Потом я услышал, как она заплакала и как Лавинов говорил с ней дрожащим голосом: затем они оба ушли. Больше она к нам не приходила, и только незадолго до отъезда я видел ее с Лавиновым на вокзале; я сидел за столом против них и обедал, и, когда я съел четвертый пирожок, Елизавета Михайловна засмеялась и сказала, обращаясь к Лавинову:

— Ты не находишь, что у твоего спящего коллеги, когда он бодрствует, прекрасный аппетит?

Лавинов глядел на нее стеклянными от счастья глазами и на все вопросы отвечал утвердительно. Елизавета Михайловна была чисто одета; вид у нее был уверенный и довольный. И теперь, когда она была, по-видимому, счастлива, я вдруг ощутил сожаление, точно было бы лучше, если бы она оставалась такой, как раньше, когда я видел ее

сквозь сон, просыпаясь и засыпая и слыша это соединение имен: Елизавета Михайловна; оно не переставало оставаться именем женщины, но стало для меня одним из моих собственных состояний, помещавшимся между темными пространствами сна и красным бархатом диванов, который появлялся передо мной, как только я открывал глаза:

После Джанкоя и зимы в моей памяти возникал Севастополь, покрытый белой каменной пылью, неподвижной зеленью Приморского бульвара и ярким песком его аллей. Волны бьются о плиты пристаней и, отходя, обнажают зеленые камни, на которых растет мох и морская трава; она бессильно полощется в воде, и ее свисающие стебли похожи на ветви ивы; на рейде стоят броненосцы, и вечный пейзаж моря, мачт и белых чаек живет и шевелится, как везде, где было море, пристань и корабли и где теперь возвышаются каменные линии домов, построенных на желтом песчаном пространстве, с которого схлынул океан. В Севастополе яснее, чем где бы то ни было, чувствовалось, что мы доживаем последние дни нашего пребывания в России. Приплывали и отплывали пароходы, уходили с берега английские и французские матросы, и их корабли скрывались в море — и, казалось, возвращаться отсюда назад, в Россию, невозможно; казалось, море всегда было входом в нашу родину, которая находилась далеко от этих мест, на картах тропических стран, с прямыми деревьями и ровными квадратами зеленой земли; и то, что мы считали родными сухой зной Южной России, безводные поля и соленые азиатские озера, было только заблуждением. Однажды я убил из винтовки нырка; он долго качался на волнах и должен был, казалось, вот-вот подплыть к берегу, но прибрежное течение

снова относило его, и я ушел только тогда, когда стемнело и нырок стал не виден. С таким же бессилием и мы колебались на поверхности событий; нас относило все дальше и дальше — до тех пор, пока мы не должны были, оставив зону российского притяжения, попасть в область иных, более вечных влияний и плыть, без романтики и парусов, на черных угольных пароходах прочь от Крыма, побежденными солдатами, превратившимися в оборванных и голодных людей. Но это случилось несколько позже; а весной и летом тысяча девятьсот двадцатого года я скитался по Севастополю, заходя в кафе и театры и удивительные «восточные подвалы», где кормили чебуреками и простоквашей, где смуглые армяне с олимпийским спокойствием взирали на пьяные слезы офицеров, поглощавших отчаянные алкогольные смеси и распевавших неверными голосами «Боже, царя храни», которое звучало одновременно неприлично и грустно, давно утратило свое значение и гложло в восточном подвале, куда из петербургских казарм докатилось музыкальное величие прогоревшей империи: оно скользило по закопченным стенам и застревало между грузинскими грудями нарисованных голых красавиц с широкими крупами, лошадиными глазами и необыкновенно ровными деревянными струями табачного дыма, выходившего из их кальянов. Вся грусть провинциальной России, вся вечная ее меланхолия наполняла Севастополь. В театрах одесские артистки с аристократическими псевдонимами пели грудными голосами романсы, которые, совершенно независимо от их содержания, звучали чрезвычайно печально; и они пользовались большим успехом. Я видел слезы на глазах обычно нечувствительных людей; революция,

лишив их дома, семьи и обедов, вдруг дала им возможность глубокого сожаления и на миг освобождала от грубой, военной оболочки их давно забытую, давно утерянную душевную чувствительность. Эти люди точно участвовали в безмолвной минорной симфонии театрального зала; они впервые увидели, что у них есть биография и история их жизни и потерянное счастье, о котором раньше они только читали в книгах. И Черное море представлялось мне, как громадный бассейн Вавилонских рек, и глиняные горы Севастополя — как древняя стена плача. Жаркие воздушные волны перекачивались через город — и вдруг принимался дуть ветер, поднимая рябь на воде и еще раз напоминая о неминуемом отъезде. Уже говорили о заграничных паспортах, уже начинали укладывать вещи; но некоторое время спустя бронепоезд опять послали на фронт, и мы уезжали, оглядываясь на море, ныряя в черные туннели и вновь возвращаясь к тем враждебным российским пространствам, из которых с таким трудом выбрались прошлой зимой. Это было последнее наступление белой армии: оно продолжалось недолго, и вскоре опять по замерзающим дорогам войска бежали на юг. В те месяцы судьба армии меня интересовала еще меньше, чем раньше, я не думал об этом; я ездил на площадке бронепоезда мимо выжженных полей и желтых деревьев, мимо рощ, сопровождавших рельсы; а осенью меня отправили в командировку в Севастополь, немного изменившийся, потому что было уже начало октября. Там я чуть не утонул, переплывая на дрянном катере с северной стороны бухты в южную — во время бури; и, пробыв в Севастополе несколько дней, я отправился обратно на бронепоезде, который еще был в моем во-

ображении таким, каким я его оставил; в самом же деле, он давно был захвачен красноармейскими отрядами, база его тоже досталась им, команда его разбежалась — и только три десятка солдат и офицеров кое-как отступали вместе с остальными войсками: они поместились все в одной теплушке и тряслись в ней, мутно глядя на красные стены и не вполне еще поняв, что нет теперь ни бронепоезда, ни армии, что убит Чуб, наш лучший наводчик, что умер Филиппенко, которому оторвало ногу, что остался в плену Ваня-матрос, умевший очень замысловато ругаться, и что вся хозяйственная часть, во главе с артельщиком Михутиным, индюком, одной живой свиньей, телятами и лошадьми, тоже не существует в том прекрасном зоологическом виде, к которому они привыкли. Лапшин, один из моих товарищей, не расстававшийся и в теплушке со своей мандолиной и игравший то «Похоронный марш», то «Яблочко», беззаботно говорил:

— Если погибли индюк и свинья, не выдержав этого поворота колеса истории, то нам уж и подавно... Нам только ехать да ехать...

Многие остались, не желая отступать, — кое-кто отправлялся назад на север, в красную армию, и на одном из встречных поездов они увидели Воробьева в железнодорожной фуражке с красным верхом; он медленно уезжал, грозил кулаком и протяжно кричал: сволочи! сволочи! — точно ехал на плоту, сплавливая по реке лес и напрягая голос именно так, как надо напрягать на реке или на озере.

Поезд, в котором я ехал навстречу отступающим войскам, остановился на маленькой станции и не пошел дальше. Никто не знал, почему поезд стоит. Потом я услышал разговор какого-то офицера с

начальником состава. Офицер быстро говорил: — Нет, вы мне скажите, почему мы стоим, нет, я вас спрашиваю, какого черта мы тут застряли, нет, я, знаете, этого не потерплю, нет, вы мне ответьте... — Нельзя дальше ехать: у нас в тылу красные, — отвечал второй голос. — В тылу, это не впереди. Если бы было впереди, тогда, действительно, нельзя было бы ехать. Ведь не назад же нам двигаться, не в тыл, поймите вы, черт возьми... — Я состав не пущу. — Да почему? — В тылу красные. — После этого слышались ожесточенные ругательства, и затем начальник состава сказал плачущим голосом: — Не могу я ехать, в тылу красные. — Он повторял эту фразу, потому что был объят смертельным страхом: и ему казалось, что, куда бы он ни поехал, везде его ждет одна и та же участь: он перестал понимать, но упирался, бессознательно, как животное, которое тянут на веревке. Так поезд никуда и не двинулся. Я перешел в один из вагонов базы легкого бронепоезда «Ярослав Мудрый», который стоял тут же. И так как перед тем я не спал две ночи, то, улегшись на койку, сейчас же заснул. Я увидел во сне Елизавету Михайловну, которая превратилась в испанку с трескучими кастаньетами. Она плясала, совершенно голая, под музыку необычайно шумного оркестра; и в шуме его сильнее всего проступал глубокий рев контрабаса и резкие, высокие звуки валторны. Шум стал невыносимым; и, когда я открыл глаза, я услышал рев ручного медведя, который, волоча по полу свою длинную цепь, метался взад и вперед по вагону; иногда он останавливался и принимался раскачиваться из стороны в сторону. В вагоне не было никого, кроме меня, медведя и еще какой-то крестьянки в платке; она попала сюда неизвестно как и почему — и



очень испугалась, она громко кричала и плакала. Едва начинало светать. Звенели и сыпались стекла, дул ветер: базу бронепоезда усиленно обстреливали из пулеметов.— Буденновцы! — плакала крестьянка.— Буденновцы! — Неподалеку от нас тяжело бухали шестидюймовые орудия морской батареи, отвечавшей на обстрел красной артиллерии. Я вышел на площадку вагона и увидел в полуверсте от базы серую массу буденновской кавалерии. В воздухе стоял стон и грохот от стрельбы. Близко слышался звук полета снаряда среднего калибра — и по звуку легко было определить, что снаряд попадает в наш или в соседний вагон; и по тому, как замолкла баба, бессознательно подчиняясь ощущению душевной и физической тишины, предшествующей минуте страшного события, я понял, что она, не знающая ничего о тех различных тонах жужжания гранат, по которым артиллеристы слышат, куда, приблизительно, попадет разрыв,— почувствовала страшную опасность, угрожавшую ей. Но снаряд попал в соседний вагон, набитый ранеными офицерами; и из него сразу понеслась целая волна криков,— как это бывает в концерте, когда дирижер быстрым движением вдруг вонзает свою палочку в правое или левое крыло оркестра,— и оттуда мгновенно рвется вверх целый фонтан звона, шума и трепета струн. Шестидюймовые орудия, не переставая, посылали снаряд за снарядом прямо в черную массу людей и лошадей,— и в столбах, поднимаемых разрывами, мелькали какие-то черные куски. Я стоял на площадке вагона, смотрел перед собой, мерз на шестнадцатиградусном морозе — и мечтал о теплом купе в базе моего бронепоезда, электрической лампочке, книгах, горячем душе и теплой постели. Я знал, что

та часть составов, где я находился, была окружена буденновской кавалерией, «отрезана», что снарядов хватит еще на несколько часов и что рано или поздно, но не позже сегодняшнего вечера, мы будем убиты или взяты в плен. Я знал это хорошо, но мечта о тепле и книгах и белых простынях так занимала меня, что у меня не оставалось времени думать о чем-нибудь другом; вернее, мечта эта была приятнее и прекраснее всех остальных мыслей, и я не мог с ней расстаться. Черный дождь разрывов и различные звуки — от сухого царапания пуль об камни и упругого звона рельс и вагонных колес, до низких раскатов орудийных выстрелов и человеческих криков; все это соединялось в один шум, но не смешивалось, и каждая серия звуков вела свое самостоятельное существование — все это продолжалось с раннего утра до трех или четырех часов дня. Я возвращался в вагон, снова выходил из него, не мог ни согреться, ни заснуть — и, наконец, увидел на горизонте черные точки, которые приближались к месту боя. — Красная кавалерия! — закричал кто-то. — Конец! Но все так же беспрестанно стреляли орудия и пулеметы, изредка стихая, как сильный ливень, который возобновится, дождавшись первого порыва ветра. Старый офицер с плачущим лицом, интендантский полковник, несколько раз прошел мимо меня, по-видимому, не зная, куда и зачем он идет. Какой-то солдат залез под вагон и скрутил посиневшими от холода пальцами папиросу, пустив сразу целое облако махорочного дыма. — Сюда, брат, пуля не достанет, — сказал он мне с улыбкой, когда я наклонился, чтобы посмотреть на него. Но вдруг бой стал ослабевать, выстрелы стали реже. С севера надвигалась кавалерия. Взобравшись

на крышу поезда, я ясно увидел лошадей и всадников, густая лава которых рысью шла на нас. Забившись между буферами, плакал старый полковник: рядом с ним, держась за конец его желтого башлыка, стояла закутанная девочка лет восьми; и дым, выходявший, казалось, из-под земли, от цыгарки курящего солдата, быстро уносился ветром. Скоро стал слышен топот коней; и через несколько минут ожидания, томительного, как в театре, сотни всадников сделались совсем близкими к нам. Масса кавалерии Буденного зашевелилась, до нас донеслись крики, и через короткое время все пришло в движение: войска Буденного стали отступать, кавалерия, которая шла с севера, их преследовала. Недалеко от меня проскакал офицер в черкеске, ежесекундно оборачивавшийся и что-то кричавший: и я видел, что не только его солдаты, следовавшие за ним, ничего не понимали, но что он и сам не знал, почему и что он хочет сказать. Сейчас же после этого я опять увидел старого полковника, который только что плакал; теперь он пошел к своей теплушке со значительным и деловым выражением лица; а дым из-под вагона прекратился: солдат выбрался оттуда, крикнул мне: — Ну, слава Богу! — и побежал куда-то в сторону.

Еще через день блуждания между бесчисленными вагонами, товарными составами и обозами, я нашел тех сорок человек, которые продолжали называться бронепоездом «Дым», хотя бронепоезда больше не было. Армия таяла с каждым часом: обозы ее гремели по мерзлой дороге, армия скрывалась на горизонте, и ее шум и движение уносились с сильным ветром. Это происходило шестнадцатого и семнадцатого октября; а в двадцатых числах того же месяца, когда я сидел в деревенской

избе, недалеко от Феодосии, и ел хлеб с вареньем, запивая его горячим молоком, в комнату с возбужденным и улыбающимся лицом вошел мой сослуживец Митя-маркиз. Его называли так потому, что когда его однажды спросили, какая из всех прочитанных им книг понравилась ему больше всего, он сказал, что это роман неизвестного, но несомненно хорошего французского писателя, — и роман назывался «Графиня-нищая». Я читал этот роман, потому что Митя возил его с собой; главными действующими лицами там были особы титулованные; Митя не мог без волнения читать такие книги, хотя сам был уроженцем Екатеринославской губернии, не видел ни одного большого города и о Франции не имел решительно никакого представления, — но слова маркиз, граф и особенно баронет были исполнены для него глубокого значения — и поэтому его прозвали маркизом. — Джанкой взят, — сказал Митя-маркиз с радостью, которую всегда испытывал даже в тех случаях, когда сообщал самые печальные новости: но всякое крупное событие пробуждало в нем счастливое чувство того, что он, Митя-маркиз, опять остался невредим; и раз уж начали происходить такие важные вещи, то, значит, в дальнейшем предстоит что-то еще более интересное. Я помнил, что в самых тяжелых обстоятельствах, если даже кто-нибудь был убит или смертельно ранен, Митя-маркиз говорил с оживлением и часто дыша, чтобы скрыть свой смех: — а Филиппенко ногу оторвало, а Черноусов в живот ранен, а поручик Санин в левую руку: прямо судьба! — Взяли Джанкой, значит, плохо дело, — сказал Митя. Джанкой, действительно, находился по эту сторону укреплений, уже в Крыму. Джанкой: керосиновые фонари

на перроне, женщины, приходившие в наш вагон, бифштексы из вокзального буфета, записки Цезаря, Лавинов, мои сны — и во сне Елизавета Михайловна. Мимо деревни один за другим прошли четыре поезда по направлению к Феодосии. Через несколько часов путешествия мы тоже были уже там: был вечер, и нам отвели квартиру в пустом магазине, голые полки которого служили нам постелью. Стекла магазина были разбиты, в пустых складах раздавалось гулкое эхо наших разговоров; и казалось, рядом с нами говорят и спорят другие люди, наши двойники — и в их словах есть несомненная и печальная значительность, которой не было у нас самих; но эхо возвышало наши голоса, делало фразы более протяжными: и, слушая его, мы начинали понимать, что произошло нечто непоправимое. Мы с ясностью слышали то, чего не узнали бы, если бы не было эха. Мы видели, что мы уедем; но мы понимали это только как непосредственную перспективу, и наше воображение не уходило дальше представления о море и корабле; а эхо доносилось до нас новое и непривычное, точно раздавшееся из тех стран, в которых мы еще не были, но которые теперь нам суждено узнать.

Когда я стоял на борту парохода и смотрел на горящую Феодосию — в городе был пожар, — я не думал о том, что покидаю мою страну, и не чувствовал этого до тех пор, пока не вспомнил о Клэр. — Клэр, — сказал я про себя и тотчас увидел ее в меховом облаке ее шубы: меня отделяла от моей страны и страны Клэр — вода и огонь: и Клэр скрылась за огненными стенами.

Долго еще потом берега России преследовали пароход: сыпался фосфорический песок на море, прыгали в воде дельфины, глухо вращались виёты,

и скрипели борты корабля: и внизу, в трюме, слышалось всхлипывающее лепетание женщин и шум зерна, которым было гружено судно. Все дальше и слабее виднелся пожар Феодосии, все чище и звучнее становился шум машин; и потом, впервые очнувшись, я заметил, что нет уже России и что мы плывем в море, окруженные синей ночной водой, под которой мелькают спины дельфинов,— и небом, которое так близко к нам, как никогда.

— Но ведь Клэр француженка,— вспомнил вдруг я,— и если так, то к чему же была эта постоянная и напряженная печаль о снегах и зеленых равнинах и о всем том количестве жизней, которые я проводил в стране, скрывшейся от меня за огненным занавесом? — И я стал мечтать, как я встречу Клэр в Париже, где она родилась и куда она, несомненно, вернется. Я увидел Францию, страну Клэр, и Париж, и площадь Согласия; и площадь представилась мне иной, чем та, которая изображалась на почтовых открытках — с фонарями и фонтанами и наивными бронзовыми фигурами; по фигурам непрестанно бежит и струится вода и блестит темными сверканиями — площадь Согласия вдруг предстала мне иной. Она всегда существовала во мне; я часто воображал там Клэр и себя — и туда не доходили отзвуки и образы моей прежней жизни, точно натываясь на незримую воздушную стену — воздушную, но столь же непреодолимую, как та огненная преграда, за которой лежали снега и звучали последние ночные сигналы России. На пароходе отбивали склянки, их удары сразу напомнили мне бухту в Севастополе, покрытую множеством судов, на которых светились огоньки,— и в определенный час на всех судах звучали эти удары часов, на одних глухо и



надтреснуто, на других тупо, на третьих звонко. Слянки звенели над морем, над волнами, залитыми нефтью; вода плескалась о пристань — и ночью Севастопольский порт напоминал мне картины далеких японских гаваней, заснувших над желтым океаном, таких легких, таких непостижимых моему пониманию. Я видел японские гавани и тоненьких девушек в картонных домиках, их нежные пальцы и узкие глаза, и мне казалось, что я угадывал в них ту особенную смесь целомудрия и бесстыдства, которая заставляла путешественников и авантюристов стремиться к этим желтым берегам, к этому монгольскому волшебству, хрупкому и звонкому, как воздух, превратившийся в прозрачное цветное стекло. Мы долго плыли по Черному морю; было довольно холодно, я сидел, закутавшись в шинель, и думал об японских гаванях, о пляжах Борнео и Суматры, и пейзаж ровного песчаного берега, на котором росли высокие пальмы, не выходил у меня из головы. Много позже мне пришлось слышать музыку этих островов, протяжную и вибрирующую, как звук задрожавшей пилы, который я запомнил еще с того времени, когда мне было всего три года; и тогда, в приливе внезапного счастья, я ощутил бесконечно сложное и сладостное чувство, отразившее в себе Индийский океан и пальмы, и женщин оливкового цвета, и сверкающее тропическое солнце, и сырые заросли южных растений, скрывающие змеиные головы с маленькими глазами: желтый туман возникал над этой тропической зеленью и волшебным клубился и исчезал — и опять долгий звон дрожащей пилы, пролетев тысячи и тысячи верст, переносил меня в Петербург с замерзшей водой, которую божественная сила звука опять превращала в далекий ландшафт островов

Индийского океана: а Индийский океан, как в детстве, в рассказах отца раскрывал передо мной неизведанную жизнь, поднимающуюся над горячим песком и проносящуюся, как ветер, над пальмами.

Под звон корабельного колокола мы ехали в Константинополь; и уже на пароходе я стал вести иное существование, в котором все мое внимание было направлено на заботы о моей будущей встрече с Клэр, во Франции, куда я пойду из старинного Стамбула. Тысячи воображаемых положений и разговоров роились у меня в голове, обрываясь и сменяясь другими: но самой прекрасной мыслью была та, что Клэр, от которой я ушел зимней ночью, Клэр, чья тень заслоняет меня и когда я думаю о ней, все вокруг меня звучит тише и заглушеннее,— что эта Клэр будет принадлежать мне. И опять недостижимое ее тело, еще более невозможное, чем всегда, являлось передо мной на корме парохода, покрытой спящими людьми, оружием и мешками. Но вот небо заволочлось облаками, звезды сделались не видны; и мы плыли в морском сумраке к невидимому городу; воздушные пропасти разверзались за нами; и во влажной тишине этого путешествия изредка звонил колокол — и звук, неизменно нас сопровождавший, только звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр.

# М. Осоргин

## Земля

### РАССКАЗ

#### I

Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку карельской березы, наполненную землей.

Я принадлежу к людям, любящим вещи, не стыдящимся чувств и не боящимся кривых усмешек. Было и давно прошло время, когда эти усмешки меня смущали. В молодости это простительно и понятно: в молодости мы хотим быть самоуверенными, разумными и жестокими — резко отвечать на обиду, владеть своим лицом, сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет

побеждает, и строгая выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас, таков, как я есмь, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с русской землей и сказать вслух, не боясь чужих ушей:

— Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней.

И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм на заставят меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит мною любовь, а она не подчинена разуму и расчету.

Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я пересыпаю ее заботливо и осторожно, чтобы не распылить зря по столу, и думаю о том, что из всех вещей человека земля всегда была самой любимой и близкой:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

\* \* \*

Ранней весной снежная пелена мокреет, покрывается хрупкой стеклянной корочкой, а из водосточных труб свисают сосульки. Потом в очень солнечный день из-под снега показывается земля: в городе — раньше, в деревне — позже. Дороги слякотны и навозны, и полозья саней сквозь грязное мороженое чиркают по камням мостовой. Дворник по лестнице забирается на крышу, мимо окна падают полные лопаты снега, а прохожий обходит дом, чтобы не попало ему за шиворот. Затем случается одна странная ночь с теплым ливнем — и наутро люди, шлепая по лужам, объявляют друг другу замечательную новость:

— Весна?

— Весна!

— Как сразу все стаяло!

— В одну ночь!

Это не очень верно, потому что весна пришла раньше и давно уже топила снег, только она была в шубе — не так заметно.

Широкой полосой от морей надвигалось на нас солнце. Зарождалось оно, тусклым и маленьким, где-то в Европах (одним словом, не у нас), а к нам, к Уральским нашим горам, приплывало огромным, теплым и ароматным. Где оно шло, светлым хвостом сметая последний снег, там просыпалась и нежилась черная и жирная земля, а проснувшись — сразу за работу.

И тогда отец говорил:

— Ну, Мышка, хочешь со мной цветы пересаживать?

Мышку об этом излишне спрашивать, разве что так, шутя.

День воскресный, свободный. С утра принесли несколько ящиков черной земли, хоть и влажной, а сыпучей.

Сада у нас при доме нет, — да еще и рано высаживать цветы на вольный воздух: весна, она — коварная, может невзначай хватить морозом. Но есть у нас при квартире большая и светлая комната, в три света, где много растений, и наших, здешних, и чужих, иноземных. Наш маленький зимний сад. Есть в нем даже пальмы, есть лимон, есть несколько кактусов, есть фикус эластичус, длинный и тощий, на блестящих листьях которого очень хочется что-нибудь написать иголкой. Напишешь — так и останется, зарубцуется на всю зиму.

И отец говорит:

— Расстилай газеты.

Самая удобная газета была «Новое время», большая, много листов, одних объявлений о кухарках и горничных — две страницы. Над этой газетой отец держит на весу цветочную банку, слегка наклонивши и похлопывая по бокам ладонью. И вот сыплется на газету лежалая и затхлая земля с бледными букашками, за ней освобождаются сплетшиеся нити тонких белых корешков. Все это нужно делать осторожно. А потом берем банку побольше, на дно кладем черепок, чтобы не засаривалась дырочка, насыпаем на четверть прекрасной свежей землей — и пересаживаем с любовью и великим старанием. Отец держит растение, а я пересыпаю землей корешки. Доверху наполнив и слегка умяв пальцами, — отставляем в сторонку и любимся.

— Готово. Считай, Мышка: раз!

— Раз!

— Теперь давай второе.

— Два!

— Нет, подожди считать, еще не готово. Осторожнее! Подсыпай тихонько. Еще, да посмелее. Насыпай доверху. Вот так. Ну, Мышка, теперь считай: два!

— Два!

Так понемножку, от герани и флэксов, добиремся до фикуса и даже до пальм. Когда пересадим пальму в новый деревянный бочонок, — зовем маму:

— Смотри, мама, хорошо?

— Да, хорошо.

— Надо ее поставить пониже, а то она совсем в потолок упиралась.

— Да, — говорит мама, — и поближе к окнам, чтобы было ей светлее. Сейчас солнца много.



Отец переносит пальму и поет на мотив марша из «Фауста»:

К о-окнам, да к окнам побли-и-же-е,  
Ро-остом, да ростом пони-и-же-е!

— Ну, Мышка, теперь бей в барабан.

И я весело колочу цветочными палочками по табурету.

Такая радость с отцом пересаживать цветы в новую землю!

Руки по локоть в земле и даже на зубах хрустит. И пахнет земля весной, а на улице весна землей пахнет. Вот пройдет месяц — в деревню поедем, в Загарье на речке Егошихе.

\* \* \*

Осторожно и любовно пересыпаю землю в коробочке карельской березы. Мы — люди от земли, крепко с нею спаяны.

Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки, хотя думаю — из стран варяжских. В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрассудки. Но, придя из стран варяжских, воевали они, конечно, недолго: осели на земле; одни жили близ Муром в своих деревнях, другие спустились пониже и повернули к востоку, к степям и к монголам. Для меня же их история начинается только с прабабки, портрет которой висел у нас в столовой, да с деда и бабушки, имена которых я соединил в своем.

Портрет прабабушки блистал не красотой, а строгостью. Старая, в чепце, губы поджаты, вся в темном глубоком фоне, а круглая рамка портрета обтянута собранным в складки черным крепом.

Откуда ни взглянешь на старуху, прямо ли, сбоку ли,— она смотрит в глаза пристально-сурово и осуждающе.

И такая вышла странная история. Висел этот портрет еще в доме моей бабушки, в ее уфимском именье. И висел так, что его было видно через две комнаты — посередке стены. И вот однажды бабка моя сидит как раз за две комнаты от портрета и чувствует — беспокойно ей. Словно бы кто-то стоит за спиной,— а быть там некому. Наконец не выдержала, обернулась и увидала ясно, что портрет покойницы подманивает ее глазами, чтобы шла поскорее. Бабушка встала, положила моток цветной шерсти на пяльцы и пошла через комнаты прямо к портрету. И только вышла из своей комнаты — как в ней обвалился потолок, и пяльцы в щепы. Так портрет выманил ее и спас.

Вот как бывало в старые годы. Нынче так уже не бывает. Сколько раз — помню — разверзалась под моими ногами земля и сколько раз на голову рушилось небо,— и никто не пришел спасать. Когда мы порываем связь с землей и со всем нашим прошлым,— гибнут вместе с ним и легенды, а нам остается лишь отголосок старой песенки да вчера прочитанный приключенческий роман.

Прабабушкин портрет и у нас висел посередке стены, так, что смотрел он прямо на двери соседней комнаты. И частенько бывало — глядишь на него издали, и жуть берет: а вдруг он поманит глазами, и если сейчас же не подойдешь к нему, то обрушится потолок. Особенно жутко было под вечер, в сумерки; днем же ничего — днем прабабушка была поласковее, старенькая, усталая. Иной раз прямо на нос ей садилась муха и чистила лапками крылья.

А вот бабушку свою я знал живой, незадолго до ее смерти. Когда мы с отцом приехали в Уфу, где он много лет не был, мне шел тринадцатый год. Бабушка жила в своем старом городском доме, деревянном, уютном, заставленном ветхой мебелью. Когда шли обедать, я вел ее под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тяжести больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сторбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестер и братьев.

Сейчас, после бури, пронесшейся над нашей страной, вряд ли можно найти сохранившийся чудом уютный уголок, где так пахнет сухими травами и прошлым. В комнатах бабушки каждая вещь и каждая вещичка имели почтенный возраст и свою несложную бытовую историю. Были, например, стулья и кресла крепкие и были послабее, а одно кресло стояло в углу, и на него садиться не следовало, потому что оно было хромым. И про каждый стул бабушка знала, почему он ослабел, в чем его болезнь и что с ним когда приключилось. На то кресло, что стояло в углу, сел однажды толстенный человек, бабушкин знакомый, и ножка подломилась, да так и осталась без починки, только была подвязана веревочкой; прошли месяцы, потом года, и кресло-инвалид вошло в бабушкину жизнь со своим хроническим недугом, так что теперь его чинить было уже нельзя, нехорошо, как нехорошо старому человеку молодиться и притворяться подростком. Каждая царапинка на мебели и каждое еле заметное пятнышко на старой ковровой скатерти были бабушке известны, и с появлением их связано было в памяти ее какое-нибудь событие, для нас пустое, а для бабушки значительное. Таким

образом, все, что бабушку окружало, было как бы живым календарем ее жизни, записью прожитых лет. И сама она была живой хронологией; никогда не говорила: «Это было в таком-то году», а неизменно поясняла: «Это еще когда у Нагаткиных случился пожар», или: «...когда Андрюша женился». Тягость дней и великую силу времени бабушка знала хорошо и ясно выражала. У нее был альбомчик стихов, который она любила показывать, особенно одну страничку с изображением голубка и дерзким стихотворением:

Ах, право, хуже оплеухи.  
Как, не выдавшись тридцать лет,  
Найдешь в развалинах старухи  
Любви восторженный предмет.

Ах, Маша, в прежние годочки  
С тобой встречались мы не так;  
Тогда ты нюхала цветочки —  
Теперь ты нюхаешь табак.

И бабушка прибавляла:  
— Вот уж верно-то!

Еще показывала она портрет своего дорогого покойника, не тот, что висел на стене, написанный местным художником и вставленный в золотую рамку, а другой, маленький, нарисованный карандашом и заклеенный сверху прозрачной бумагой, чтобы не стерся. Это был портрет моего деда. Большелобый, с фамильным нашим носом, он изображен сидящим в кресле, а во рту чубук огромнейшей трубки. На голове деда шапочка вроде ермолки, а на лице довольство и покой. Я так его и представлял: хорошее летнее утро, дед сидит на террасе или у окна усадьбы и смотрит, как под окном девка Маша тащит молоко утреннего удоя. После, читая

Тургенева, а особенно Аксакова, нашего родственника, я мысленно иллюстрировал их писания карандашным портретом деда. А рядом с ним я видел бабушку, только не такой старенькой и согбенной годами, а много моложе, вроде моей матери, и непременно в белом платье и с высокой прической. Мне, жившему всегда в провинциальном городе, помещичья жизнь была знакома только по литературе. И, конечно, мне было совсем чуждо то чувство гордости, которое слышалось в словах бабушки:

— Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу.

Мне эти «столбовые» представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутых ногах. Но даже если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом,— литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к мне неведомым предкам.

В первый же день приезда нашего она мне говорила:

— Проси отца свозить тебя в имение посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, все разделено да распродано, а все же взглянуть тебе нужно, потому что от этой земли ты и произошел. Может быть, когда вырастешь большой, на землю вернешься и станешь хозяином; надо за последний кусочек держаться крепко.

Земли этой я так и не повидал, потому что отец мой вскоре по приезде в родной город внезапно заболел и умер.

Рано умер мой отец, рано и напрасно. Хорошо

уйти, когда стала земля в тягость и манит отдыхом. Но он был еще молод и любил землю по-иному: не за покой, а за жизненную ее силу. Я его спрашивал:

— Папа, откуда берется дерево?

— Из семени.

— Так ведь семя маленькое, а дерево вон какое; остальное-то откуда?

— Остальное из земли, из ее соков.

— И листья, и ствол, и все?

— Все, Мышка, из земли. И дерево, и ты, и я. Все живое и все мертвое, если только есть что-нибудь мертвое. А вот пойдем-ка лучше копать родник под горой.

В деревне мы жили на холмике, а по ту сторону за речушкой был лес, взбегавший в гору и уходивший в такую даль, что поместились бы на его пространстве в дружном и свободном сожитии, ни из-за чего не споря и не воюя, Франция и Германия. По опушке этого леса мы часто бродили, и любимое занятие отца было открывать новые родники светлой и холодной воды. Одно место он облюбовал на склоне горы между лесом и деревней: там была густая трава, и кустарник, свежий и пышный, окружил крохотную покатуку полянку: тут непременно быть скрытому роднику!

И вот отец берет заступ, а я малую лопату, и потихоньку ускользаем из дому, а то мама скажет: «Опять перепачкаетесь и Мышка ноги промочит. Что за страсть копать в лесу землю, точно клад ищете!»

Отец на пути говорит:

— А ведь это клад и есть. Не было воды, и вдруг — вода! И какая вода — чистая и холодная как лед. Правда, Мышка?



Уж, значит, правда, если это папа говорит. У него была улыбка добрая и немного насмешливая.

Пробирались в кольцо кустарника, и отец внимательно осматривал почву:

— Быть тут ключу живой воды!

Земля мягкая, как сыр; только корни трав прорезать. Городским башмаком налегает отец на заступ, а я смотрю. Как это он все знает: только вырыл яму в аршин глубины, ровненькую и аккуратную, как сразу же начала ямка наполняться водой, правда грязной. Но эта сбежит — дальше будет чистая. От ямки отец прокапывает канавку по скату холма, и тут начинается работа для меня: убрать землю подальше, перемазаться и промочить ноги. Все удивительно удачно.

— Папа, а как ты угадал?

— Видишь: внизу есть болотце. Откуда ему быть? Значит, в горке скрытый ключ. Вот мы до него и докопались.

— Нужно будет укрепить землю, — говорю деловито.

Дело это мне известно. Чтобы новый родник не затянуло землей, мы укрепляем землю в ямке кольями, переплетаем ветками, а потом принесем и поставим желобок для стока.

Теперь к этому ключу будут ходить крестьяне с ведрами, потому что вода в речке невкусная и белье в ней стирают. А наш ключ светел, вода процежена через землю, холодна и сладка. Уже на другой день не останется в ней никакой муты.

Так открывали клады. А то бродили по лесу и любовались всем, что породила земля: и деревом, и травой, и ягодой, и грибом, и всякой букашкой. Я был малым мальчишкой, а отец мой был судьей, но были мы равны в наслаждение родной природой.

Между берегом реки Белой, где были пристани, и городом на середине пути было, а может быть, и сейчас цело, большое кладбище; земля на нем немного глинистая. Первый комочек земли велели бросить мне, и помню, как он стукнул о крышку отцовского гроба. Потом бросали все родные и еще какие-то старые и молодые люди, которых я раньше не видал. Один из них, совсем седой, но крепкий, высокий и строгий, подошел ко мне, мальчику, подал мне руку, пристально посмотрел на меня и сказал:

— Похож ты на батюшку своего, на покойника; это хорошо. Будь и ты таким, как он. Хоть и постарше его, а был я ему в старое время большим приятелем и даже, могу сказать, другом. Не чаял пережить, а вот довелось увидеть, как приняла его земля, наша общая кормилица. Тут где-нибудь рядом и мне лежать.

Кто он был — не знаю, а слова его помню; особенно про сходство мое с отцом и про землю, общую кормилицу.

Любовь к земле, страстная к ней тяга, я бы даже сказал, мистическое ей поклонение, — не к земле-собственности, а к земле-матери — к ее дыханию, к прорастающему в ней зерну, к великим тайнам в ней зачатия и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладости с ней соприкосновения, — это действительно осталось во мне на всю жизнь. Если это атавизм, нечаянное наследие сидевших на земле предков, — то да здравствует атавизм, потому что более священного и возвышающего чувства я не знаю; даже чувство самой крепкой любви к женщине есть, по-моему, производное от преклонения перед притягающей и

плодотворной силой земли. Но не портретами и не Бархатной книгой внушается такая любовь. Она входит в человека незаметно, чаруя его видом первой весенней проталины, заражая радостью проснувшегося к новой жизни поля, изумляя пышностью и многоцветностью земных покровов, непрерывно твердя ему, что все человеческие достижения — не победа над природой, а лишь неуклюжее и очень жалкое подражание ее творчеству, потому что комар бесконечно совершеннее самолета, рыба — подводной лодки, а строительный гений пчелы, муравья, любой семейственной букашки — в человеческой среде равного себе не имеет. И все это только потому, что никто из этих существ не считает себя господином земли и победителем природы, не стремится наивно властвовать над своей матерью и своей первопричиной, не изменяет любви ради мелкого тщеславия.

Но, быть может, больше всего я люблю землю за то, что я вижу в ней олицетворенным понятие вечности; в ней прошлое слито воедино с будущим, мое прошлое с моим будущим. Чудесным и никому не ведомым образом она вызвала к жизни мое маленькое существование, позволила мне проползти по ней от вечности к вечности, от небытия к небытию, — и так же чудесно и необъяснимо призовет меня обратно:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

## II

Признак чего — если мысль, свершив назначенный ей круг исканий, уверенностей и сомнений, приводит человека к чувствительным вос-

поминаниям о детских годах и к образам, окутанным дымкой давно прошедшего? Может быть — признак вплотную подошедшей старости? Жажда подвести итоги? Желание предстать с готовым отчетом?

Не думаю. Жизнь не в цифрах, и ничья рука за отчетом не протянется. Тут иное: неизбежная переоценка и того, что казалось незначительным, и того, чему придавалась непомерная важность. Пустяком представлялась детская книжка, маленькое открытие, голос матери, отцовская шутка; и мучительно сложной казалась житейская борьба за достоинство и независимость человеческой мысли, за разумность общественных отношений и справедливость дележа духовных и житейских благ. Но идут года — и на кованной бронзе убеждений отлагается зелень мудрости, та самая, которую не умеют подделывать фабриканты предметов старины. И вот опять — как в детстве — личное выступает вперед, заслоняя вопросы, над которыми мы так долго и так напрасно работали.

Склонившись над коробочкой из карельской березы, над этой урной земли московской, я перебираю в памяти, как долго, упрямо и досадливо я старался заменить для себя эту горсточку серой пыли — всем земным шаром и какая неудача постигла наивную попытку.

Песчинки земли, которые я пересыпаю спокойной рукой, нечаянно обращаются в многоцветный бисер и загораются светом. Это уже не тонкая струйка, а искрометный водопад. Потом мне начинает казаться, что перед моими глазами дрожит, и колеблется, и мелькает цветными просветами золотая сетка. Она дразнит глаз причудой рисунков, странным переплетом картин и событий, когда-то

поразивших меня и теперь перемешавшихся в памяти мозаичной неразберихой. Мне хочется остановить это непрерывное мельканье, выхватить из волшебного букета несколько самых простеньких цветков и удержать их невредимыми, когда краски опять поблекнут и слинянут. Я напрягаю зрение, протягиваю руку — и всей горстью хватаю пустоту; только взглядевшись спокойнее, я вижу, что между пальцами моей руки застряла одна-единственная серенькая песчинка.

Я долго берегу ее, перекаत्याю на ладони и ищу то маленькое слово, которое могло бы развязать клубок моей мысли и стать началом простого рассказа.

\* \* \*

В учебниках географии Янчевского и истории Иловайского многожды названо имя Рима. Но Рим был для нас лишь красивым звуком, а красивых звуков было вообще немало. Звуками, исполненными смысла и действительного значения, были такие имена, как Казань, Екатеринбург, в более далеких мечтах — Петербург и Москва.

Совсем же близким именем кроме имени родного города было Загарье, маленькая лесная деревушка, куда мы всей семьей переселялись на летние месяцы.

Мы жили там на чистой половине крестьянской избы, сложенной из еловых бревен, проконопаченных паклей. За стеной мычала и жевала корова, а в пакле жило много тысяч клопов. Иных дач и курортов в нашей провинции по тому времени еще не было. Зато тут было бесконечно много земляники, малины, смородины, брусники, грибов, и воздух был хвоен.

Этот одноэтажный бревенчатый замок, качаясь в воздухе, всплывает в моей памяти над мрамором и сединой настоящего Рима, в котором я позже жил в высоком доме окнами на Ватикан. А речонка Егошиха, через которую я мальчиком перепрыгивал, а отец мой спокойно перешагивал, смеется над Рейном, Дунаем и морями, омывающими берега Европы.

Нам, меняющим страну на страну, земной шар уже не кажется огромным. Без труда мы соединяем земли с землями мысленной чертой через океан. Мы привыкли к смене языков, неточно совпадающей с границами, и к повторяемости людских обычаев в разных климатах и под разными широтами. Тем из нас, кто, как я, вынужден был блуждать по чужим землям два срока, и до и после войны, за количество убитых названной великой, — хорошо знакома и разница отношений к нам, гражданам шестой части земной поверхности: от корыстного обожания — до небрежной заносчивости. Но бывалого не удивишь: он умеет ждать.

И вот я вспоминаю, как я пытался — и не без успеха — подменить свое потерянное, простое и невзрачное, роскошью найденного чужого. Я учился улавливать в старых плитах травертина блеск скрытого в нем золота, чувствовать дыханье вечности в жизни современного Рима, ценить европейскую культуру, к которой была приобщена и Россия, любоваться красотами чужих озер и гор, уважать энергию немцев, оригинальность англичан, легкость общения французов, порывистость южан, нравственную стойкость северных народов.

Было совершенно необходимо перенести неистраченное чувство жизнеприязни и молодого



восторга со своего на несвое, усыновив себя остальным пяти шестым земли.

Перед статуей Аполлона Печального я говорил:

— Вот рождение искусства!

И, указывая на скаты Юнг-Фрау:

— Вот женственной белизна снегов!

И, переплыв Кале:

— Вот колыбель и оплот политической свободы!

И, спускаясь с горы Ловчен или проезжая по фьордам Норвегии:

— Вот красивейшее в природе!

Верил сам и уверял других.

Они вздыхали, лепетали о «чудной сказке» и возвращались в свои губернии и уезды, куда мне доступа не было.

Они уезжали, — а я оставался наслаждаться чужими красотами.

В дни, о которых я сейчас вспоминаю, русские еще не считались париями и носителями заразы, и иностранцы, позже ставшие нашими военными союзниками, еще не выработали в себе деятельного презрения к народу, заплатившему миллионными жизней за их прекрасные глаза. В те дни никто не препятствовал мне бродить в городах Италии, купаться в швейцарских озерах и лежать на траве в английском парке.

В парке была совсем особенная, не зеленая, а голубая трава. Ее можно было топтать ногами, — и она невреждимо подымалась и оживала. Надписи «Воспрещается» не было, так как она была бы излишня. Я спросил сторожа парка:

— Как удастся вырастить такую удивительную траву? Вероятно, это требует длительного ухода?

Сторож оглядел меня с ног до головы. На мне был костюм из английской материи, так что

складка на брюках не портилась от лежания на траве. Воротник был свеж, волосы коротко острижены, подбородок брит. Поэтому сторож счел возможным солидно ответить:

— Лет пятьдесят хорошего ухода вполне достаточно, если стричь траву аккуратно.

Это было, по меньшей мере, горделиво. И я вспомнил свою прогулку по Восточной Ривьере Италии, где как-то зашел в кабачок отдохнуть и выпить вина. Против кабачка, через дорогу, был скалистый участок, подымавшийся террасами. По лестнице, выбитой в скалах, пожилой итальянец таскал землю, очевидно накопанную внизу, близ ручья. Принеся мешок земли, он вытряхивал его на почти голый камень, обтирал пот тем же мешком и шел обратно за следующей порцией земли. Это он делал огород. Я подумал:

— Нужно очень любить землю, чтобы обречь себя на такой каторжный труд!

Год спустя я опять проходил по тем же местам. Огород был готов. На нем росла та чахлая и дрянная зелень, которую итальянцы и французы называют и считают капустой, которая не окучивается и почти не дает кочна. У нас такую капусту считают неуродившейся и скормливают скоту или оставляют для пользования зайцам. Хозяин огорода сидел на корточках площадкой повыше и перетирал руками комья земли, выбрасывая камешки.

И вдруг мне представилась такая картина.

Я стою среди поля где-нибудь в Тульской губернии, опершись на трость. Что-то отвлекает меня, и я ухожу, забыв тросточку воткнутой в землю. Идут благодатные дожди, земля дышит жизнью, и моя забытая трость с набалдашником покрывается листьями, бутонами и цветами. Теперь уже нельзя

вырвать ее из земли, потому что она пустила глубокие корни.

Таким нелепым видением я отвечаю горделивости англичанина и трудолюбию итальянца.

И вообще я замечаю, что во мне растет непонятный протест против чужих благополучий и красот. Нотр Дам де Пари не кажется мне домом молитвы, таким, как сельская церковь на пригорке моей родины. В Швейцарии отвратительны кричащие вывески гостиниц и торговых домов на каждом живописном камне. Я мысленно еду по Луньевской ветке на Урале — и никто меня там никуда не заманивает, никто не кичится красотами природы, которых Швейцария лишь бледная тень. Во мне подымается какая-то невольная, я знаю — совсем несправедливая брезгливость к узкой дороге над пропастями, ведущей в Черногории от Скутарийского озера к Цетинье. В свое время я восторгался грозowymi тучами, выше которых я ехал на лошади в столицу этого исчезнувшего теперь государства. Теперь мне смешно сравнивать тамошние виды с картинами Кавказа. И я завистливо стараюсь припомнить, чем можем мы ответить Норвегии, фьорды которой приводили меня в восторг, ее удивительным озерам цвета жидкой стали, ее могучей природе? Шестисотверстным Байкалом? Разливом сибирских рек, устье которых шире маленького государства? Хребтом Черского в Якутии, о котором еще не слыхали европейцы? О, слишком многим!

Но вправе ли я вступать в неравный бой со сторожем английского парка и итальянским огородником, которые попросту скажут мне:

— Вам нравится больше свое? Тогда почему же вы не дома, не в тайге, не в степях, не на Урале, не

на Байкале, не у дверей своей сельской церковки?

И мне нечего им ответить.

Я бы мог, конечно, длинно и нудно рассказать им, как в свое время мы увлекались английской избирательной системой и биографией Гарибальди и что из этого вышло. Мог рассказать про моего друга детства, с которым мы играли в бабки и городки, зубрили латинские стихи, затем слушали курс политической экономии, прятали в карман запрещенные книжонки и обедали в студенческой столовке за соседними столами. Как затем этот приятель мой стал властью и сказал мне:

— Мы разное смотрим на способы создания безоблачного счастья для будущих поколений. Поэтому я останусь здесь воспитывать и управлять, а ты должен покинуть пределы нашего общего отечества.

Он мог сказать это гораздо грубее, но я не хочу спорить из-за слов. Злобы во мне нет, я только полон удивления. Мне кажется невозможным, что человек, такой же, как я, или, пускай, много меня лучший, мог лишить меня радости жить там, где я жить должен, где все мне дорого: на земле моего рожденья. Мне это кажется даже не жестокостью, а бьющей в глаза бессмыслицей. А между тем это случилось дважды за четверть века. И одинаковые слова были сказаны совершенно различными, враждебными друг другу людьми. В мыслях и поступках их объединяла ослепляющая рассудок сила, которую называют авторитетом власти.

И оба раза, за чертой для меня предельной, мне открылись для свободной и независимой жизни пять шестых земного шара: достаточная замена отныне запрещенной для жительства жалкой деревушки на речке Егошихе.

Но согласитесь, что таких объяснений иностранец не примет и не поймет.

На острове Мурано близ Венеции сторож храма показывал мне во внутреннем куполе мозаичную Мадонну византийского стиля:

— Эта Мадонна, синьор, лучшая во всей Италии и, следовательно, во всем мире.

Мадонна действительно прекрасна. Я спросил:

— А вы видали других?

— Если бы не видал — не смел бы говорить.

И он мне рассказал, как однажды кучка англичан осматривала храмы и толковала, что эта Мадонна хороша, а в иных местах найдутся и получше. Сторож, влюбленный в свою Мадонну, возревновал. Он стал подкапливать деньги, а когда пристроил всех своих детей, решил отправиться в путешествие. Разузнав заранее, где его Мадонна имеет соперниц, он объехал все эти места и своими глазами убедился, что лучше его муранской Мадонны, красивее ее и божественнее нет Мадонны — и быть не должно. Тогда он вернулся в Мурано доживать свои дни сторожем при ее храме. Может быть, он жив и по сей час.

Слушая его рассказ, я думал: «Между нами только та разница, что он вернулся, а я вернуться не могу, хотя моя Мадонна прекраснее всех существующих и мыслимых».

Это было накануне мировой войны, сделавшей невозможное возможным. Через десяток границ, кругом Европы, я вернулся.

Муранская Мадонна, полная прелести и печального покоя, сияет под куполом храма. Моя Мадонна переживала в то время канун тяжких испытаний.

Я рассматривал ее с жадностью проснувшегося

ся для огромной любви. Северные леса, от Финляндии до Печоры, были ее зелеными кудрями; падавшими складками ее одежд были Кама и Волга; ее сердцем была Москва. Только теперь, наглядевшись на чужие красоты, я мог вполне оценить ее несравненность. Но это была не ласковая материнская красота Мадонны острова Мурано, а Мадонна страстная и страждущая, Мадонна Доленте, святая грешница, ждавшая сына. Я присутствовал и при ее хождении по мукам, — и боль, исказившая ее лик, была моей болью. И все-таки образ ее оставался для меня прекрасным и неповторимым. Как тот сторож муранского храма, я решил не расставаться с нею до конца дней, — но силой был отброшен далеко и, вероятно, навсегда.

Таков рассказ о большой любви. Тем, кто ее не испытал, он должен казаться наивным и слишком чувствительным. Впрочем, таков он и есть.

\* \* \*

Вот я округляю фразы и подыскиваю образы покрасивее, потому что в такой условной форме легче выразить мысль не только для других, но и для себя самого; такова сила привычки.

Но все эти образы — лишь напрасный налет на невыразимом словами чувстве тяги к земле. Я пишу в тени молодых увядающих вязов, пострадавших от жары; земля здесь глинистая, засоренная камнем, искусственно осушенная, и корни деревьев не находят достаточно питательной влаги, листья сохнут и желтеют раньше поры. Бумага, на которой пишу, рождена от земли, золотое перо-стило найдено в ее недрах, чернила — ее продукт. Пе-



редо мною домик, сложенный из камня и дерева, и каждый предмет внутри и снаружи, и сам я, и моя мысль, и все... отец был прав, говоря:

— Все из земли, Мышка, и живое и мертвое, если есть что-нибудь мертвое.

Когда я пытаюсь встать, на мои плечи ложатся уверенные руки, пригибают меня обратно к земле. Нужно усилие, чтобы приподняться. И при каждом шаге нога как бы срывается с землею, неохотно от нее отделяется. С годами это ощущение все сильнее. Это называется утомлением, но в действительности — растущая тяга к земле и в землю.

Порыв ветра уносит с вязов пожелтевшие листья за изгородь маленького участка земли, который я снимаю для летнего отдыха; но большинство палых листьев остается лежать под деревом. Судьба оставшихся и судьба унесенных, в сущности, одинакова; к будущей весне не останется их следа, потому что мы не умеем разглядеть в цветке настурции частички перегнившего за зиму совсем неродственного ей растения. Лист, унесенный ветром в чужой участок, также призван стать основой какой-нибудь сейчас ему чуждой жизни.

Судьба человека — как старинный курган. В наших краях их было много по течению больших рек. В них вместе с телом клали любимые и нужнейшие вещи человека: одежду, сосуды из глины и металлов, монеты, зерна злаков, оружие. Старый московский профессор показывал нам в музее витрину, где лежали эти вещи, добытые из курганов, и говорил:

— Вот в той коробочке обгоревшие и потому сохранившиеся зерна ржи; лучшее доказательство того, что наши предки, скифы, занимались земле-

делием еще в доисторические для нас времена.

Мы, студенты, по очереди склонялись над стеклом и смотрели на обуглившиеся крупинки. Но в то время из урока истории мы мало почерпали для философии жизни; мы были очень молоды. В той же витрине лежали кости, вынутые из кургана, каменное оружие, посуда, все то, что еще не успело обратиться в землю и было так напрасно потревожено во имя науки. Мы в науку очень верили.

В жизни мы окружали себя вещами, лишь им придавая значение. Ведь все, что мы делаем, ради чего вступаем в отчаянную борьбу сами с собой и друг с другом, все-таки — вещи: металл, дерево, живая ткань, все то, что станет достоянием нашего кургана и с веками обратится в землю.

Мы об этом редко думаем — да и стоит ли понапрасну себя тревожить?

Но ощущение будущей судьбы всего живого забегает вперед мысли. Не потому ли с такой любовью и в предчувствии вечного покоя я пересыпаю рукой песчинки московской земли в коробочке карельской березы, вспоминая детские годы, и предков ближних и дальних, и поиски лесного родника, и домик бабушки, и скифский курган, и Рим, напрасно названный вечным, — чтобы снова вернуться мыслью к единой вечной вещи — к земле:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

*Св. Женеви́ева Лесов*

# И. Бунин

## Странствия

### Этюды

I

Этого старичка я узнал прошлой зимой, еще при начале царствования Ленина. Эта зима была, кажется, особенно страшна. Тиф, холод, голод... Дикая, глухая Москва тоннула в таких снегах, что никто не выходил из дому без самой крайней нужды.

Я искал его по одному делу. Узнал, наконец, что он обитает в том же доме, где было прежде некоторое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мертв. Я вошел в широкие раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной

вошел какой-то мальчишка, который что-то нес с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старику, несет ему пшенной каши: старичок питался только тем, что присылали ему иногда, по старой дружбе, родители мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подземелью, постучали в маленькую дверку. Она отворилась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко: посреди стояла железная печка, докрасна раскаленная. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто странное теперь для слуха: «Имею честь кланяться, Борис Петрович!» Выцветшие слезящиеся глаза, серые бакенбарды; давно небритый подбородок зарос густо, молочно. Весь низок сплошь увешан яркими лубочными картинками — святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, скитов; целый угол занят большим киотом с блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплятся лампадки, — зеленые, малиновые, голубые. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки нестерпимые.

— Да-с, тепло! — сказал, грустно усмехаясь, старичок. — Не в пример всей Москве, на холод не жалуюсь. Всеми, слава Богу, забыт, даже почти никто не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь в некотором подвальчике. Здесь, даст Бог, вскорости и окончу свое земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли темные, жестокие и, думаю, надолго. Как волка ни корми, он все в лес смотрит. Так и Россия: вся

наша история — шаг вперед, два шага назад, к своему исконному — к дикому мужичеству, к разбитому корыту, к лыкову лаптю. Помните? «Было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах лики...» Таковыми палатами стала снова Россия. Нынешние правители ее еще дают до поры до времени полную волю народу, его зверству и безобразию, и народ пользуется этой волей, губительной для него же самого. Оправдывается слово Исаака Сирина: «Пес, лижущий пилу, пьет собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознает вреда себе». Впрочем, все это и без меня вам хорошо известно. Перейдемте к делу: весь к вашим услугам, но чем именно могу служить?

...Весной он умер. В одно из наших последних свиданий он говорил мне:

— Знаете ли вы это чудное сказание? Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального и разбила его светильник, стоявший у входа. Святой, сидя ночью на полу темной пещеры, горько плакал, закрывшись руками: как, мол, совершать теперь чин ночной молитвы, чтения? Когда же поднял лицо, утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил он ему по ночам — до самой его кончины. А при кончине, воспринимая его душу, нежно сказал ему Ангел Господен: «Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн!»

Жизнь возобновляется — ведь идет шестой год их царства, — даже начинает переходить в будни. Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились извозчики... И опять весна и даже некоторые весенние чувства, — например, в какую-нибудь черную сырую ночь с этим особенным треском колес и цоканием копыт по мостовой, с влажным ветром в фортку, или в солнечный полдень, когда все течет, блещет, тает, а на углу Арбата, на тротуаре, возле бывшей «Праги», сидят и, напоминая о юге, дерут свои стихиры слепые лирники... Вместе с весной стало как-то необычнолюдно на главных улицах. Народ, впрочем, все больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, уже почти нет, их погибло за эти годы бесконечно много, а те, что как-то уцелели, странны: зачем они уцелели, зачем вылезли откуда-то на свет Божий, как заморенные звери из своих холодных нор, — бледные, обросшие ватной сединой, в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народовольца: ужасная черная шляпа (ужаснее тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках), рубище солдатской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные веревкой... Однако очень бодр, всегда не идет, а бежит, так и сверкает очками и младенческой, блаженно-изумленной улыбкой.

Я скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придется, в какой-нибудь чайной. Сажу, курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разговоры и музыку. Какой-



нибудь до ушей лысый еврей, с бархатно-черными глазами, отставив вперед ногу, с бешеной страстью жжет и бьет смычком по скрипке, солдат в обмотках тупо рвет на гармонике, поставленной на приподнятое колено...

Есть вести из наших мест — из города и из деревни: и там уже будни. Недавно посетил нас «землячок», бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вел беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно:

— Теперь мы Россию замирили, везде тихо. Я сам в Тамбове не меньше ста душ в расход вывел...

Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые прозрачно-коричневые глаза стоят, как у филина. Стриженная голова имеет форму гроба.

#### IV

В июне некоторое время жил в Тверском уделе.

Тихий и печальный край! Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие поселки, леса по горизонтам. А не то низины, болота... Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны...

Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков и все сидят дома, — не понятно. Земля скудная и малая, черноземному человеку смотреть жалко. А вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае, лучше наших. Избы прочны, ладны, стоят вдоль улиц ровно. В избах деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном пяльцы с узорным холстом, на полке самовар... Одеты все довольно опрятно, девки и ребята даже франтят и по вечерам парами танцуют около изб

под гармонь. Пожилые весьма схожи с нашими по языку и по склонности изрекать общие места, мудрые пошлости. И, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. Над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить только пять фунтов муки, лишь усмеваются: покачивают головами и уютно прячут руки в рукава.

Москва тут кажется за тысячу верст. Я о ней слышал, между прочим, такое суждение:

— Дивно, как еще эта Москва веществует!

## V

В последний раз побывал в Никольском.

Пришло неожиданное и удивительное письмо от никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель:

«Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержание бывшую вашу усадьбу и живя в добрососедских отношениях. Приезжайте для личных отношений, переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали и река вошла в свои берега...»

Едучи, думал: неужели и впрямь я еду туда, где встретил когда-то страшное начало этих «событий», откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что опять увижу это «пепелище», пока не увидел своими глазами давно знакомые места и лица.

А затем было очень странно видеть все прежнее, свое собственное, чьим-то чужим, — чьим именно, никто еще не знал толком во всей деревне, — странно взглянуть на все эти столь грубо одичавшие за пять лет «берега» и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней... снова войти в тот дом, где родился, вырос, провел почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые, потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натоптана грязь, корыта, кадушки, люльки, постели из соломы и рваных пегих попон... Стекла окон и зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты черными кружевами — так засидели их мухи.

На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то, что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтобы разрешили эту аренду «на вечность». Но ведь дом-то оказался занят, и в доме ко мне отнеслись, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас заявили без всякого стеснения: «Какая там аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!» И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже накрепко внедрившуюся в него жизнь.

Провел я в Никольском всего двое суток.

Уехал, зная, что уезжаю теперь уже навеки.

На днях встретил на Кузнецком никольского Степана: стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит; на голове шапка, на плечах

тулуп, на ногах валенки, хотя жара градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: «Напрасно вы погордились — жили бы себе на спокое, у нас теперь не хуже прежнего, все хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно поблизости от Никольского «нехорошее дельце»: остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь, а мужики в лоск положили за это весь табор; убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганенка; дрались весь день, с утра до вечера — цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним.

## VII

Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу — день совсем летний, как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шел вниз по Воздвиженке, прямо на солнце, по сухому тротуару. День праздничный, на улице много молодого народа. На солнечном углу, на повороте на Моховую, бодро похаживал и поглядывал оборванный малый, щеголевато покрикивал низким, хрипучим от дурной болезни голосом, предлагая прохожим собрание сочинений Ленина, будто бы новое и «общедоступное». Прохожие усмехались, шли мимо. И вслед каждому он кривил рот и, вбок прикрывая рукой, хрипло и быстро добавлял: «Есть похабненькое...» Постовой грозил ему с улицы пальцем, но тоже с усмешкой. А впереди меня все время бежали

мальчишки в женских разбитых башмаках, продавая свежий номер еженедельного журнальчика, во всю первую страницу которого был изображен Бог-Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадное пенсне афишку, последний советский декрет... Я на целый день уехал из Москвы — целый день провел в деревне, в одной усадьбе.

Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучней и прохладней. Потом, когда я шел к усадьбе со станции, стал еще очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всегда резкая разница между городом и деревней и всегда портится утренняя погода к полудню: так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок... Но и в этом была веселая прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щеки, дует в рукава... Потом я с радостью увидел апрельскую наготу старых деревьев усадьбы, ее еще серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души — только сторож с семьей в своей сторожке. Я сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой проглядывало из-за облаков; все вокруг было тихо, мертво, пустынно — только тикали какие-то птички по парку; палевые стены, белые колонны пустого, безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов... Наконец, подошел сторож с трубкой в зубах, повел меня к дому, открыл ключом главные двери и пошел за мной, стуча сапогами по навощенным полам, сперва по вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли нагие мраморные богини, потом по бесконечным ледяным залам, среди целой

галереи портретов, тускло блесевших со стен своими черными лаками и затвердевшими, помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон млечно-голубыми белками глаз, меловыми париками, яичной округлостью женских грудей... Зашли в женскую спальню с кожаной мебелью, с овальным заржавленным зеркалом... Смотрел и думал: как поверить, что все это следы жизни, подлинно бывшей когда-то, что люди этого дома и впрямь жили здесь! Спросил сторожа: «Скучно вам, небось, тут?» «Скучно,— ответил он.— Говорили, новый строй, новый строй, а на деле все в прежнем положении. Один подлог, обман...» Потом он опять запер дом и ушел к себе, а я бродил вокруг дома, по парку. Заглянул в одно окно в полуподвальный этаж — увидел сквозь железную решетку какое-то подземелье, заваленное мраморными обломками — львиными головами, урнами и плоскодонными чашками, капителями колонн...

Ушел я из усадьбы только вечером, когда месяц уже стал класть в парке легкие апрельские тени под деревьями и серебрить поляны. Уходя, думал: ночью парк побелеет под месяцем, мертвый дом засветится насквозь, всеми своими пустыми, блестящими покоем...

## VIII

Был на суде.

Подсудимый — крестьянин Волоколамского уезда. Мальчиком был отдан в обучение к «богомазу», затем и сам стал «богомазом». В молодости



«ознакомился с революционной и материалистической литературой», сделался «убежденным атеистом». Продолжал, однако, заниматься иконописью — вплоть до самого октябрьского переворота. Тут вступил в партию, зачислен был на «первые московские пехотные курсы», «вел работу по реорганизации кадетских корпусов», после чего был назначен комиссаром тамбовских командных курсов, сражался в рядах курсантов «против мамонтовских и антоновских банд, заслужив среди товарищей глубокое уважение как стойкий и честный коммунист» и, наконец, демобилизованный в прошлом, 23-м году, получил назначение на должность директора волоколамской фабрики. «Как же случилось то, что совершил он в апреле нынешнего года и что привело его на скамью подсудимых в московский губсуд?»

Перед судом — человек небольшого роста, коренастый, крепкий, опрятно одетый, с чисто выбритыми щеками и красиво седеющей острой бородкой, с большой блестящей плешью на голове и с удивленными глазами, спокойствием на лице — истинное воплощение житейского благополучия, сознание недаром прожитой жизни, умной и холодной рассудительности, стойкой воли и непоколебимого резонерства, по справедливой характеристике газет.

— Подсудимый, расскажите все дело по порядку.

— Я сблизился с убитой мною Надеждой Чиж, будучи комиссаром тамбовских командных курсов. Она была уборщицей на курсах. Сначала была приходящей, затем поселилась у меня жить. Жениться я на ней не думал и никогда не обещал ей этого, ибо считал и считаю таковое оформление

брака излишним. Однако она вскоре стала требовать именно этого. Я, стремясь развить ее, давал ей читать, но напрасно — читать ничего не хочет, посещать общеобразовательные лекции и чтения — тоже... Все мечты и желания сводятся к тому, чтобы получше одеться, завиться, напудриться... Вижу: сущая обывательница, как нельзя более далекая от склонности к коммунизму, цинично пользующаяся своим положением приближенной комиссара, своими возможностями получать из продовольственного склада курсов наибольшее количество продуктов, лишнюю пару ботинок, лишний отрез сукна на пальто... Легко понять, насколько дискредитировала она меня своей некультурностью в глазах курсантов как коммуниста и борца.

— Так что, собственно, за это вы и убили ее?

— Именно за это. И кроме того, за назойливость ее.

— Как же было дело?

— На охоте. Пошел я 4 апреля текущего года на охоту. Она за мной. Взяла с собой закуску, вина. Пришли в лесок. «Давай, говорит, присядем, закусим». Прекрасно. Срубил для нее можжевельника, она села, стала развязывать узелок. Повторяю то, что уже говорил дорогой: «Мы должны расстаться». Отвечает: «Не расстаться, а повенчаться». Возится, наклонившись к узелку, но говорит твердо. Тогда я тотчас выстрелил ей в голову. Она упала, опрокинулась навзничь, не успев издать ни звука. Меня даже поразила эта картина: череп настолько развалился, что из него выпало все содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Резал на шестнадцать частей.

— А для чего нужно было резать его?

— Для того, чтобы поскорее растаскали труп

птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей...

— Как долго длилось все это?

— Мы вышли в десять часов утра. Около одиннадцати сели закусывать. А домой я вернулся в два.

— Что же вы делали дома?

— Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил два стакана воды, сказал старушке мамаше поставить самовар, сам отправился в трактир за папиросами.

— А затем?

— Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил, как обыкновенно, делал свое дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего.

## Х

Наш «рюрикович» наконец отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чахотка истинно сжигали его, — я ни у кого не видал таких пылающих глаз и такой худобы. А меж тем никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той легкости и даже веселости, с которой нес он все свои страдания и лишения. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее был человек в свое время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. А покойный даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего не случилось! Все то же оживление, шутки, все те же «друзья мои» к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы из Москвы уедем, оснуем на Кавказе поселок под солнцем,

у моря, в виду гор, вечно сияющих снегами, в чинаровых рощах, в цветущих тропических дебрях...

— И уж тут с нами не сладишь! — смеясь, говорил он. — Батраки, бедняки, коммунисты! И как еще жить-то будем! Вон сестра Маша пишет: «Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденщине...» И что же? Я уверен, что она счастлива.

Умер он в полдень. Я записал: «Полдень, 12 декабря 1924 года». За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:

— Вот и солнце, а я его уже не увижу...

На этом же диване и положили его — в остатках чистого белья, в черном сюртуке и в серых брюках...

## XX

На престольный праздник возле уездного монастыря была ярмарка.

Нищих, калек, убогих, слепцов с поводьями стеклось без счета.

Во время обедни все это лежало и сидело на траве у стен монастыря, со всеми своими палками, мешками. Особенно выделялись коричневые до блеска, до перламутра, сожженные солнцем и до костей иссохшие старцы с голыми черепами да один страшный малый: вместо носа, будто в насмешку, вместо губ и части подбородка у него было что-то сплошное, вроде огромного шрама лилового цвета, с дырой посередине в кулак величиной, куда он запихивал сразу половину французской булки и мял ее остатками мышц и связок. Ужаснее всего было то, что это был человек очень веселый, голубоглазый (хотя и в кровавых веках) и мял булку даже для потехи...

Когда из монастырских ворот, из-под расписных сводов, показалась парчовая рака, вся эта толпа бросилась к ней, давя друг друга, слышались крики, вопли. Пение, ладан, черные рясы монахинь, эта рака, медленно плывущая над головами, и эти крики, вопли...

Позади всех, задрав голову, слепо и неотразимо пыряя вперед палкой, не поспевая за поводырем-мальчишкой, бежал мужик в бельмах...

А на ярмарке стоял балаган, гремел, бил в медные тарелки оркестрион, и все прочее являло картину тоже давно известную: гам, говор, дикий и дурацкий крик клоуна, зазывавшего в балаган на представление, густая толпа баб, мужиков, девок, белые балаганчики в телегах, тонкое ржанье жеребят с замшевыми мордочками, острый запах лошадиного навоза и растоптанного сена, малый, сидящий на земле с шарманкой между ног и под ее рев и свист поющий во весь звонкий голос:

— Все птишки, канарейки...

А на крылечке чайной, под красным флагом, — кумовья и сваты: раскрасневшиеся от чаю и сивухи лица с мутными умиленными глазами, головы и бороды мудрецов Эллады... Воротясь на постоянный двор, лег на деревянный диван, очень утомленный долгим шатаньем по ярмарке, и закрыл глаза. Погода портилась — в неприкрытое окно дул холодный ветер, слышался все усиливающийся шум деревьев... На минуту забылся, потом очнулся: дождь частой дробью осыпал стекла, остро сверкали молнии, сквозь гром и сердитый шум деревьев с ярмарки ревел «Интернационал».

# В. Набоков

## Подвиг

РОМАН

Посвящаю моей жене

### I

Эдельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец, — рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. Мартын сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок, баловень гербариев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деда он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении: старик, весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской



шляпе, в пикейном жилете, богатом брелоками (из которых самый занимательный — кинжал с ного-ток), сидит на скамье перед домом, в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы, с крышкой как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме; в его время снимали со вкусом, с расстановкой, это была операция не шуточная, пациент должен был замереть надолго, — еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописи объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добротных photographиях, — дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальдшнепом у ног, дедушка на кобыле Дэзи, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотевшей сидеть смирно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того чтобы пожить обстановкой, мужички из ближней деревни.

Отец Мартына врачевал кожные болезни, был знаменит, — тоже, как и дед, бел и тучен, любил в свободное время удить бычков и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной восемнадцатого года он отяжелел, распух, стал задыхаться и умер при не-

ясных обстоятельствах. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой: городок примерял то одну власть, то другую, и все при-  
вередничал.

Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина, с копной бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щелками в удлинённых мочках нежных ушей, которые прежде она прони­мала сережками. Ещё недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с восьмидесятых годов, осенью много каталась на черном велосипеде Энфильд по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный, с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англо-манкой и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о Киплинге и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса, где уже на лестнице, перед большой рекламой (женщина, сочно намыливающая голову мальчишке), приветствовал вас замечательный запах мыла, лаванды, с примесью ещё чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжеленьких, туго спеленутых рождественских пудингах. И разумеется, первые книги Мартына были на английском языке: Софья Дмитриевна как чумы боялась «Задуманного слова» и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бес-

сознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал: «У мальчугана опять кашелек, посмотрим, нет ли температурки». Русская же литература для детей кишмя кишела сюсюкающими словами или же грешила другим — нравоучительством.

Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки, волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование, но очарований было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Ерусланом, а западным братом Еруслана было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движения.

## II

Над маленькой, узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах (в грубоватой прорези фольги — лаково-

коричневый святой, а малиновый плюш на исподе подъеден не то молью, не то самим Мартыном), висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Между тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, — и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: «Что же, ты думаешь, случилось дальше?» — был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, и потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном (сначала коротенькая молитва по-английски — «Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка», — а затем «Отче наш» по-славянски, причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим), быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку — что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка, — Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излучи тропинки, пересеченной там и

сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей.

Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью во дни молодости, вряд ли предвидела, когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал и которое с той поры, в различных проявлениях и сочетаниях, всегда уже сопутствовало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить, хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству название, — знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самое питала когда-то покойная гувернантка, старая, мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате над Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить, увести его спать, он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось «дровосек». Перед сном он получал из жестяной коробки, оклеенной голубой бумагой, английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже — печенья имбирные, кокосовые, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой, — простой и пресной.

И все шло Мартыну впрок, — и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей, — та сладкая минута, когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз

надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок; и какие-то далекие, круглые острова, на которые смотрит с берега девушка в развевающихся одеждах, держащая на кисти сокола в клубучке; и Синдбад, в красном платке, с золотым кольцом в ухе; и морской змей, зелеными шинами торчащий из воды до самого горизонта; и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю; — и, как отголосок всего этого, как чем-то родственный образ, — чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов, — на Невском проспекте, в тусклый морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные рейтузы поверх чулок и штанишек.

### III

Она любила его ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты, — и, когда она с ним, после размолвки с мужем, поселилась отдельно, и Мартын по воскресеньям посещал квартиру отца, где подолгу возился с пистолетами и кинжалами, между тем как отец спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отвечал «да, заряженный» или «да, отравленный», Софья Дмитриевна едва могла усидеть дома, мучась вздорной мыслью, что ее ленивый муж нет-нет да и предпримет что-нибудь, — удержит сына при себе. Мартын же был с отцом очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удален из дому за провинность, за то, что как-то, на даче, летним вечером, сделал нечто такое с роялем, отчего тот издал совершенно потрясающий звук, словно ему наступили



на хвост,— и на другой день отец уехал в Петербург и больше не возвращался. Это было как раз в год, когда убили в сарае австрийского герцога,— Мартын очень живо представил себе этот сарай, с хомутами по стене, и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего шпагой человек пять заговорщиков в черных плащах, и огорчился, когда выяснилась ошибка. Удар по клавишам произошел без него,— он в комнате рядом чистил зубы густо пенящейся, сладкой на вкус пастой, которая была особенно привлекательна следующей надписью по-английски: «Улучшить пасту мы не могли, а потому улучшили тубочку»,— и действительно, отверстие было щелью, так что выжимаемая паста ложилась на щетку не червячком, а ленточкой.

Последний разговор с мужем Софья Дмитриевна вспомнила полностью, со всеми подробностями и оттенками, в тот день, когда пришло в Ялту известие о его смерти. Муж сидел у плетеного столика, осматривал кончики коротких, растопыренных пальцев, и она ему говорила, что так нельзя дальше, что они давно чужие друг другу, что она готова хоть завтра забрать сына и уехать. Муж лениво улыбался и хрипловатым, тихим голосом отвечал, что она права, увы, права, и говорил, что он уедет отсюда сам, да и в городе снимет отдельную квартиру. Его тихий голос, мирная полнота, а пуще всего — пилочка, которой он во всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее из себя,— и ей казалось, что есть чудовищное в том спокойствии, с которым они оба рассуждают о разлуке, хотя бурные речи и слезы были бы, конечно, еще ужаснее. Погодя он поднялся и, пиля ногти, принялся ходить взад и вперед по комнате и с мягкой улыбкой говорил о житейских мелочах будущей

розной жизни (нелепую роль играла при этом карета), — и вдруг, ни с того ни с сего, проходя мимо открытого рояля, двинул со всей силы сжатым кулаком по клавишам, и это было — словно в раскрывшуюся на миг дверь ворвался непристойный вопль; после чего он прежним тихим голосом продолжал прерванную фразу, а проходя опять мимо рояля, осторожно его прикрыл.

Смерть отца, которого он любил мало, потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того, он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости. Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излучинами, и что вот первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом: «Я получила письмо от Зиланова», — а потом продолжала по-английски: «Я хочу, чтоб ты был храбрым, очень храбрым, это о твоём отце, его больше нет». Мартын побледнел и растерянно улыбнулся, а затем долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка детское прозвание, которое когда-то дал отцу, и стараясь представить себе, — и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, — что отец его рядом, спереди, позади, вот за этим кедром, вон на том покато́м лугу, близко, далеко, повсюду.

Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмулой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводя пунцовым, словно накрашенным клювом. С миндальных деревьев облетели лепестки и лежали, бледные, на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в пряниках. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна-единственная

березка с тем особым наклоном листвы (словно расчесывала волосы, спустила пряди с одной стороны, да так и застыла), какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух, тени кипарисов,— старых, с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой,— зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался, широко опоясанный каракулевой хвоей, зубчатый Ай-Петри,— все было насыщено мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец.

«Если бы тебе было не пятнадцать, а двадцать лет,— вечером того дня говорила Софья Дмитриевна,— если бы гимназию ты уже кончил и если бы меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан...» Она задумалась посреди слов, представив себе какую-то степь, каких-то всадников в папах и стараясь издали узнать среди них Мартына. Но он, слава Богу, стоял рядом, в открытой рубашке, под гребенку остриженный, коричневый от солнца, со светлыми, незагоревшими лучиками у глаз. «А ехать в Петербург...»— вопросительно произнесла она, и на неизвестной станции разорвался снаряд, паровоз встал на дыбы... «Вероятно это все когда-нибудь кончится,— сказала она спустя минуту.— Пока же надо придумать что-нибудь».— «Я пойду выкупаюсь,— примирительно вставил Мартын.— Там Коля, Лида, все».— «Конечно, пойдешь,— сказала Софья Дмитриевна.— В общем революция пройдет, и будет странно вспоминать, и ты очень поправился в Крыму. И в ялтинской гимназии как-нибудь

доучишься. Посмотри, как там хорошо освещено, правда?»

Ночью оба, и мать и сын, не могли уснуть и думали о смерти. Софья Дмитриевна, стараясь думать тихо, то есть не всхлипывать и не вздыхать (дверь в комнату сына была полуоткрыта), опять вспоминала, подробно и щепетильно, все то, что привело к разрыву с мужем, и, проверяя каждое мгновение, она ясно видела, что тогда-то и тогда-то нельзя было ей поступить иначе, и все-таки таилась где-то ошибка, и все-таки, если бы они не расстались, он не умер бы так, один, в пустой комнате, задыхающийся, беспомощный, вспоминающий, быть может, последний год их счастья (не ахти какого счастья) и последнюю заграничную поездку, Биарриц, прогулку на Круа-де-Мугер, галерейки Байонны. Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божьим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже — прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна, хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле напругала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-

тремя хорошими воспоминаниями,— сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно,— поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность. Он думал об отце всей силой души, производил даже некоторые опыты, говорил себе: если вот сейчас скрипнет половица или что-то стукнет, значит, он меня слышит и отвечает... Делалось страшно ждать стука, было душно и тягостно, шумело море, тонко пели комары. А то вдруг он с совершенной ясностью видел полное лицо отца, его пенсне, светлые волосы бобриком, круглый родимый прыщ у ноздри и блестящее, из двух золотых змеек, кольцо вокруг узла галстука,— а когда он, наконец, уснул, то увидел, что сидит в классе, не знает урока и Лида, почесывая ногу, говорит ему, что грузины не едят мороженого.

#### IV

Ни Лиде, ни ее брату он не сообщил о смерти отца,— потому не сообщил, что вряд ли удалось бы выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно. Сызмала мать учила его, что выражать вслух на людях глубокое переживание, которое тотчас на вольном воздухе выветривается, линяет и странным образом делается схо-

жим с подобным же переживанием другого, — не только вульгарно, но и грех против чувства. Она не терпела надгробных лент с серебряными посвящениями «Юному Герою» или «Нашей Незабвенной Дочурке» и порицала тех чинных, но чувствительных людей, которые, потеряв близкого, считают возможным публично исходить слезами, однако в другое время, в день удач, распираемые счастьем, никогда не позволяют себе расхохотаться в лицо прохожим. Однажды, когда Мартыну было лет восемь, он попытался наголо остричь мохнатую дворовую собачку и нечаянно порезал ей ухо. Стесняясь почему-то объяснить, что он, отхватив лишние лохмы, собирался выкрасить ее под тигра, Мартын встретил негодование матери стоическим молчанием. Она велела ему спустить штаны и лечь ничком. В полном молчании он сделал это, и в полном же молчании она его отстегала желтым стеклом из бычьей жилы; после чего он подтянул штаны, и она помогла ему пристегнуть их к лифчику, так как он это делал криво. Мартын ушел в парк и только там дал себе волю, тихо извыл душу, заедая слезы черникой, а Софья Дмитриевна тем временем разливалась у себя в спальне и вечером едва не заплакала вновь, когда Мартын, очень веселый и пухлый, сидел в ванне, подталкивая целлулоидового лебедя, а потом встал, чтобы дать себе намылить спину, и она увидела на нежных частях ярко-розовые полосы. Экзекуция такого рода произведена была всего раз, и, конечно, Софья Дмитриевна никогда не заманивалась на него по всякому пустяковому поводу, как это делают француженки и немки.

Рано научившись сдерживать слезы и не показывать чувств, Мартын в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью. Сам же он вскоре



открыл в себе черту, которую следовало особенно ревниво скрывать, и в пятнадцать лет, в Крыму, это служило причиной некоторого мучения. Мартын заметил, что иногда он так боится показаться немужественным, прослыть трусом, что с ним происходит как раз то, что произошло бы с трусом, кровь отливает от лица, в ногах дрожь, туго бьется сердце. Признавшись себе, что подлинного, врожденного хладнокровия у него нет, он все же твердо решил всегда поступать так, как поступал бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие было у него развито чрезвычайно. Коля, Лидин брат, был одних с ним лет, но худосочен и мал ростом. Мартын чувствовал, что, без особого труда, положил бы его на лопатки. Однако его так нервила возможность случайного поражения и с такой отвратительной яркостью он его себе представлял, что ни разу не попробовал вступить с Колей, с одноклассником, в борьбу, но зато охотно принимал вызов Владимира Иваныча, двадцатилетнего корнета с мускулами, как булыжники, через полгода убитого под Мелитополем, который жестоко мят его, ломал и после изнурительной возни придавливал его, наконец, красного и ослабленного, к траве. А то случилось раз, что Мартын возвращался домой из Адреиза, где жила Лидина семья, ночью, летней крымской ночью, местами иссиня-черной от кипарисов, местами же бледной, как мел, от неживой белизны татарских стен против луны, и вдруг на повороте узкой кремнистой дороги, ведущей на шоссе, выросла перед ним фигура человека, и густой голос спросил: «Кто идет?» Мартын с досадой отметил, что сердце забилося часто. «Э, да это — Умерахмет», — грозно сказал человек и слегка придвинулся сквозь рваную черную тень, скользнувшую

по его лицу. «Нет,— сказал Мартын.— Пропустите, пожалуйста». «А я говорю, что Умерахмет»,— тихо, но еще грознее повторил тот, и тут Мартын заметил при вспышке луны, что у него в руке крупный револьвер. «А ну-ка, становись к стенке»,— проговорил человек, сменив угрозу на примирительную деловитость. Бледную руку с черным револьвером поглотила набежавшая тень, но точка блеска осталась на том же месте. Мартыну представлялись две возможности,— первая: добиться разъяснения; вторая: шарахнуть в темноту и бежать. «Мне кажется, вы меня принимаете за другого»,— неловко выговорил он и назвал себя. «К стенке, к стенке»,— дискантом крикнул человек. «Тут никакой стенки нет»,— сказал Мартын. «Я подожду, пока будет»,— загадочно заметил человек и, хрустнув камушками, не то опустил на корточки, не то присел,— в темноте было не разглядеть. Мартын все стоял, чувствуя как бы легкий зуд по всей левой стороне груди, куда, должно быть, метил невидимый теперь ствол. «Если двинешься, убью»,— совсем тихо сказал человек и еще что-то добавил, неразборчивое. Мартын постоял, постоял, мучительно пытаюсь придумать, что сделал бы на его месте безоружный смельчак, ничего не придумал и вдруг спросил: «Не хотите ли папиросу, у меня есть?» Он не знал, почему это вырвалось, ему сразу стало стыдно, особенно потому, что его предложение осталось без ответа. И тогда Мартын решил, что единственное, чем он может искупить стыдное слово, это прямо пойти на человека, повалить его, буде нужно, но пройти. Он подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным рыже-золотым загаром, словно лаком, Лидиных ногах, представил себе, что, может быть, отец ждет его в эту ночь, может быть, делает

кое-какие приготовления ко встрече, и почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себе корил. Шумело и через одинаковые промежутки бухало море, заводным звонким стрепетом подгоняли друг друга кузнечики, а этот болван в темноте... Мартын заметил, что прикрывает ладонью сердце, и, в последний раз назвав себя трусом, резко двинулся вперед. И ничего не случилось. Он споткнулся о ногу человека, и тот ее не убрал. Сгорбясь, опустив голову, человек сидел, тихо похрапывая, и сытно, густо несло от него вином.

Благополучно добравшись до дому, выпавшись и выйдя утром на увитый глициниями балкон, Мартын пожалел, что не обезоружил пьяного шатуна: отнятым револьвером он бы мог загадочно похватать. Он остался собой недоволен, оказавшись, по собственному мнению, не совсем на высоте при встрече с давно желанной опасностью. Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах с раструбами, останавливал то дилижанс, то грузный дормез, то всадника и дукаты купцов раздавал нищим. В бытность свою капитаном на пиратском корвете он, стоя спиной к грот-мачте, один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, и, найдя его наконец — в диком лесу, в безымянной области, — он к нему подходил с учтивым поклоном, щеголяя сдержанностью. Он бежал с каторги через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных, торчком стоявших пингвинов, он на взмыленном коне, с шашкой наголо, первым врывался в мятежную Москву. И уже Мартын ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил

в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность. И, как иногда бывает, что, рассказывая виденный сон, мы невольно кое-что сглаживаем, округляем, подкрашиваем, чтобы поднять его хотя бы до уровня нелепости реальной, возможной, точно так же Мартын, репетируя рассказ о ночной встрече (который, однако, оглашать он не собирался), делал встречного более трезвым, револьвер его более действенным и собственные слова — более остроумными.

## V

И в следующие дни, перекидываясь с Колей футбольным мячом или выискивая с Лидой в прибрежном галечнике мелкие морские курьезы (круглый камушек в цветном пояске, маленькую, зернисто-рыжую от ржавчины подкову, отшлифованные морем бледно-зеленые осколки бутылочного стекла, напоминавшие ему раннее детство, пляж в Биаррице), Мартын дивился ночному происшествию, сомневался, было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни и начинало жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскользывала назад при глухом бормотании разбуженных камушков, и не успевала втянуться, как уже новая, с тем же круглым, веселым плеском, опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела, положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и фокстерьер Лэди, поднимая враз передние лапы, прыгал по воде и напряженно пускался вплавь. Его подхватывала

очередная волна, мощно несла и затем в полной сохранности выкладывала на берег, и фокстерьер, уронив перед собой отобранную у моря дощечку, круто отряхивался. Лида, — купавшаяся только по утрам, спозаранку, вместе с матерью и Софьей Дмитриевной, — отходила налево, к скалам (прозванным ею айвазовскими), пока купались мальчики: Коля плавал по-татарски, кувырком, а Мартын гордился быстрым и правильным кролем, которому его научил англичанин-гувернер в последнее лето на севере. Ни тот, ни другой мальчик, впрочем, далеко не уплывал, — и одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля, — ни зги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой накануне танцевал танго на палубе. После купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни и смотреть, запрокинув голову, на черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо. Коля, сын ялтинского доктора, проживший всю жизнь в Крыму, принимал эти кипарисы, и восторженное небо, и дивно-синее, в ослепительных чешуйках, море, как нечто должное, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые Мартыновы игры и превратить его в мужа креолки, случайно выброшенного на тот же необитаемый остров.

Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адреиз, и большая нелепая дача со многими лесенками, переходами, галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада, — уже была пронизана желтым керосиновым

светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых, Коля, нажравшись, сразу заваливался спать; Мартын сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам, к хохоту Владимира Иваныча, к Лидиной уютной болтовне, к спору между ее отцом и художником Данилевским, говорливым заикой. Гостей вообще бывало много — смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружен, но хлебосольство Лидиной матери, не приметной женщины в горжетке и в очках, не знало предела. Так появился однажды и Аркадий Петрович Зарянский, долговязый, мертвенно-бледный человек, имевший какое-то смутное отношение к сцене, один из тех несуразных людей, которые разъезжают по фронтам с мелодекламацией, устраивают спектакли накануне разгрома городка, бегут покупать погоны, и никак не могут добежать, и возвращаются, радостно запыхавшись, с чудесно добытым цилиндром для последнего действия «Мечты любви». Он был лысоват, с прекрасным, напористым профилем, но, повернувшись прямо, оказывался менее благообразным: под болотцами глаз набухали мешочки, и не хватало одного резца. Человек же он был мягкий, добродушный, чувствительный и, когда по ночам все выходили гулять, пел бархатным баритоном «Ты помнишь ли — у моря мы сидели...» или рассказывал в темноте армянский анекдот, и кто-нибудь в темноте смеялся. В первый раз встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом



признал в нем забулдыгу, приглашавшего его стать к стенке, но Зарянский, по-видимому, ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умерахмет. Пьяницей был Аркадий Петрович отменным и бушевал во хмелю,— но револьвер, который однажды снова возник,— во время пикника на Яйле, в стрекотливую ночь, пропитанную лунным светом и мускат-люнелем,— оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то своей роковой любви, его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру и, подперев ладонями лицо, блестящими, пляшущими, румяно-карими от огня глазами глядела на вырывающиеся искры. Погодя Мартын встал, разминая ноги, и, взойдя по черному муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней — как будто близкое, как будто приподнятое, море с цареградской стезей посредине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева, во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросавшую сук. Стрекотали кузнечики, по временам несло сладкой хвойной гарью,— и над черной Яйлой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве,— невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить.

Эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу, — а собранные в кучу огни Ялты среди широкой черноты неведомого состава и свойства напоминали опять же кое-что виденное в детстве: девятилетний Мартын, в одной рубашке, с похолодевшими пятками, стоял на коленках у вагонного окна; южный экспресс шел по Франции. Софья Дмитриевна, уложив сына, сидела с мужем в вагоне-ресторане, горничная мертвым сном спала на верхней койке; в узком отделении было темно, только просвечивал синий задвижной колпак лампы; качалась его кисть, потрескивало в стенках. Выйдя из-под простыни, добравшись по одеялу до окна, наполовину срезанного концом верхней койки, и подняв кожаную шторку — для чего пришлось отстегнуть ее с кнопки, а тогда она гладко поехала вверх, — Мартын зяб, ощущал ломоту в коленках, но не мог оторваться от окна, за которым косогорами бежала ночь. И тогда-то он вдруг увидел то, что теперь вспомнил на Яйле, — горсть огней вдалеке, в подоле мрака, между двух черных холмов: огни то скрывались, то показывались опять, и потом заиграли совсем в другой стороне, и вдруг исчезли, словно их кто-то накрыл черным платком. Вскоре поезд затормозил и остановился во мраке. Стали доноситься странно бесплотные вагонные звуки, чей-то бубнящий голос, чей-то кашель, потом прошел по коридору голос матери, и, сообразив, что родители возвращаются из вагона-ресторана и по дороге в смежное отделение могут к нему заглянуть, Мартын проворно метнулся в постель. Погодя поезд двинулся, но вскоре стал окончательно, издав длин-

ный, тихо свистящий вздох облегчения, причем по темному купе медленно прошли бледные полосы света. Мартын снова пополз к стеклу, и был за окном освещенный дебаркадер, и с глухим стуком человек катил мимо железную тачку, а на ней был ящик с таинственной надписью «Fragile». Мошки и одна большущая бабочка кружились вокруг газового фонаря; смутно шаркали по платформе, переговариваясь на ходу о неизвестном, какие-то люди; и затем поезд лязгнул буферами и поплыл, — прошли и ушли фонари, появился и тоже прошел ярко озаренный снутри стеклянный домик с рядом рычагов, — качнуло, поезд перебрал рельсы, и все потемнело за окном, — опять бегущая ночь. И снова, откуда ни возьмись, уже не между двух холмов, а как-то гораздо ближе и осязательнее, повысыпали знакомые огни, и паровоз так томительно, так заунывно свистнул, что казалось, и ему жаль расстаться с ними. Тут сильно хлопнуло что-то, и проскочил встречный поезд, проскочил — и как будто его не было вовсе, опять бежала волнистая чернота, и медленно редели неуловимые огни.

Когда они навсегда закатились, Мартын укрепил шторку и лег, а проснулся очень рано, и ему показалось, что поезд идет плавнее, развязнее, словно принаоровился к быстрому бегу. И когда он шторку отстегнул, то почувствовал мгновенное головокружение, ибо в другую сторону, чем накануне, бежала земля, и ранний пепельно-бледный свет ясного неба тоже был неожиданный, и совершенно были вновь террасы олив по склонам.

Со станции поехали в Биарриц в наемном ландо, пыльной дорогой, окаймленной пыльной ежевикой, и, так как ежевику Мартын видел впервые, а станция почему-то звалась Негритянкой, он был

полон вопросов. В пятнадцать лет он сравнивал крымское море с морем в Биаррице: да, бискайские волны были выше, прибой сильнее,— и толстый беньер-баск в черном, всегда мокром трико («...гибельная профессия»,— говорил отец) брал Мартына за руку, вел его в мелкую воду, затем оба поворачивались спиной к прибою, и с грохотом налетала сзади огромная волна, потопляя и опрокидывая весь мир. На первой, зеркальной полосе пляжа буролицая женщина с седыми завитками на подбородке встречала выкупавшихся, накидывала им на плечи мохнатые простыни, а дальше, в пахнувшей смолой кабинке, служитель помогал сдернуть липкий костюм и приносил шайку горячей воды, почти кипятка, куда полагалось погрузить ноги. Затем, одевшись, сидели на пляже,— мать в большой белой шляпе, под белым нарядным зонтиком, отец тоже под зонтиком, но мужским, изабеллового цвета; Мартын же, в завороченных до паха штанишках, полосатой фуфайке и загорелой соломенной шляпе с английской надписью на ленте вокруг тульи («Его Величества «Непобедимый»») строил из песка крепость, окруженную рвами. Проходил вафельник в берете, со скрежетом вертел рукояткой красного жестяного бочонка с товаром, и большие, гнутые куски вафли, смешанные с летучим песком и морской солью, остались одним из живейших воспоминаний той поры. А за пляжем, на каменном променаде, заливаемом в непогоду волной, бойкая, немолодая, нарумяненная цветочница продевала гвоздику в петлицу отцовского белого пиджака, и отец при этом смешно и добродушно смотрел на процедуру продевания, выпятив нижнюю губу и прижав наморщенный подбородок к отвороту. Было жалко покинуть в конце сентября веселое море и

белую виллу с корявой смоковницей в саду, все не хотевшей дать хоть один зрелый плод. На обратном пути остановились месяца на полтора в Берлине, где по асфальтовым мостовым с треском прокатывали мальчишки на роликах, — а иногда даже взрослый с портфелем под мышкой. И были изумительные игрушечные магазины (локомотивы, туннели, виадуки), и теннис за городом, на Курфюрстендаме, и звездная ночь Винтергартена, и поездка в сосновые леса Шарлоттенбурга свежим и ясным днем в белом электрическом таксомотре. На границе Мартын спохватился, что забыл в вагоне вставочку со стеклышком, в котором, ежели приложить глаз, вспыхивал перламутрово-синий пейзаж, а во время обеда на вокзале (рябчики с брусникой) проводник ее принес, и отец дал ему рубль. В Вержболове было снежно, морозно, на тендере вздымалась целая гора дров, багровый русский паровоз был снабжен расчистным веером, обильный белый пар, клубясь, выливался из огромной трубы с широким развалом. Норд-экспресс, обрусев в Вержболове, сохранил коричневую облицовку, но стал по-новому степенным, широкобоким, жарко отопленным и не сразу давал полный ход, а долго раскачивался после остановки. В голубом коридоре было очень приятно примоститься на откидном сидении у окна, и мимоходом погладил Мартына по голове толстый зобатый проводник в шоколадном мундире. За окном тянулись белые поля, кое-где над снегом торчали ветлы; у шлагбаума стояла женщина в валенках, с зеленым флагом в руке; мужик, соскочив с дровней, закрывал рукавицами глаза пятившейся лошаденке. А ночью было нечто особенное: мимо черного зеркального стекла пролетали тысячи искр огненным стрельчатым росчерком.

Вот с того года Мартын страстно полюбил поезда, путешествия, дальние огни и раздирающие вопли паровозов в темноте ночи, и яркие паноптикумы мгновенных полустанков, с людьми, которых не увидишь больше никогда. Медленный отвал, скрежет рулевой цепи, нутряная дрожь канадского грузового парохода, на котором он с матерью весной девятнадцатого года покинул Крым, ненастное море и косо хлещущий дождь — не столь располагали к дорожному волнению, как экспресс, и только очень постепенно Мартын проникся этим новым очарованием. В макинтоше, в черно-белом шарфе вокруг шеи, всюду сопровождаемая, пока его не одолело море, бледным мужем, растрепанная молодая дама, дуя на волосы, щекотавшие ей лицо, расхаживала по палубе, и в ее фигуре, в летающем шарфе Мартын почувствовал все то драгоценное, дорожное, чем некогда его пленяли клетчатая кепка и замшевые перчатки, надеваемые отцом в вагоне, или крокодиловой кожи сумка на ремешке через плечо у девочки-француженки, с которой было так весело рыскать по длинному коридору экспресса, вправленному в летучий ландшафт. Одна только эта молодая дама выглядела примерной путешественницей, — не то что остальные люди, которых согласился взять на борт, чтобы не возвращаться порожняком, капитан этого легкомысленно зафрахтованного судна, не нашедшего в одичалом Крыму товара. Несмотря на обилие багажа, безобразного, спешно собранного, с веревками вместо ремней, было почему-то впечатление, что все эти люди уезжают налегке, случайно; формула дальних странствий не могла вместить их растерянность и уны-



ние, — они словно бежали от смертельной опасности. Мартына как-то мало тревожило, что оно так и есть, что вон тот спекулянт с пепельным лицом и с каратами в нательном поясе, останься он на берегу, был бы и впрямь убит первым же красноармейцем, лакомым до алмазных потрохов. И берег России, отступивший в дождевую муть, так сдержанно, так просто, без единого знака, который бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, Мартын проводил почти равнодушным взглядом, и, только когда все исчезло в тумане, он вдруг с жадностью вспомнил Адреиз, кипарисы, добродушный дом, жители которого отвечали на удивленные вопросы неусидчивых соседей: «Да где ж нам жить, как не в Крыму?» И воспоминание о Лиде окрашено было иначе, чем тогдашние, действительные их отношения; он вспоминал, как однажды, когда она жаловалась на комариный укус и чесала покрасневшее сквозь загар место на икре, он хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутии от укуса, а она его ударила по кисти, ни с того ни с сего. И прощальное посещение он вспомнил, — когда они оба не знали, о чем говорить, почему-то все говорили о Коле, ушедшем в Ялту за покупками, и какое это было облегчение, когда он наконец пришел. Длинное, нежное лицо Лиды, в котором было что-то ланье, теперь являлось Мартыну с некоторой назойливостью. И, лежа на кушетке под тикающими часами в каюте капитана, с которым он очень подружился, или в благоговейном молчании разделяя вахту первого помощника, оспой выщербленного канадца, говорившего редко и с особенным жеваным произношением, но обдавшего сердце Мартына таинственным холодком, когда он однажды ему сообщил, что старые моряки на покое

все равно никогда не садятся, внуки сидят, а дед ходит, море остается в ногах,— привыкая ко всему этому морскому новоселью, к маслянистым запахам, к качке, к разнообразным и странным сортам хлеба, из которых один был вроде просфоры, Мартын все уверял себя, что он пустился в странствие с горя, отпевает несчастную любовь, но что, глядя на его спокойное, уже обветренное лицо, никто не угадает его переживаний. Возникали таинственные, замечательные люди: был канадец, зафрахтовавший судно, угрюмый пуританин, чей макинтош висел в капитанской, безнадежно испорченной уборной, маяча прямо над доской; был второй помощник, по фамилии Паткин, еврей родом из Одессы, смутно вспоминавший сквозь американскую речь очертания русских слов; а среди матросов был один Сильвио, американский испанец, ходивший всегда босиком и носивший при себе кинжал. Капитан однажды появился с ободранной рукой, говорил сперва, что это сделала кошка, но затем Мартыну по дружбе поведал, что рассадил ее о зубы Сильвио, которого ударил за пьянство на борту. Так Мартын приобщался к морю. Сложность, архитектурность корабля, все эти ступени, и закоулки, и откидные дверцы вскоре выдали ему свои тайны, и потом уже было трудно найти закоулок, еще незнакомый. Меж тем дама в полосатом шарфе, как будто разделяя Мартынову любознательность, мелькала в самых неожиданных местах, всегда растрепанная, всегда смотрящая вдаль, и уже на второй день ее муж слег, мотался на клеенчатой лавке в кают-компании, без воротничка, а на другой лавке лежала Софья Дмитриевна, с долькой лимона в губах. По временам и Мартын чувствовал сосущую пустоту под ложечкой и какую-то общую неустойчивость,— дама же

была неугомонна, и Мартын уже наметил ее объектом для спасения в случае беды. Но, несмотря на бурное море, корабль благополучно достиг константинопольского рейда на холодном, молочно пасмурном рассвете, и появился вдруг на палубе мокрый турок, и Паткин, считавший, что карантин должен быть обоюдный, кричал на него: «Я тебя утону!» и даже грозил револьвером. Через день двинулись дальше, в Мраморное море, и ничего от Босфора в памяти у Мартына не осталось, кроме трех-четырех минаретов, похожих в тумане на фабричные трубы, да голоса дамы в макинтоше, которая сама с собой говорила вслух, глядя на пасмурный берег; прислушавшись, Мартын различил слово «аметистовый», но решил, что ошибся.

### VIII

После Константинополя небо прояснилось, хотя море осталось «очень чоппи», как выражался Паткин. Софья Дмитриевна дерзнула выбраться на палубу, но тотчас вернулась в каюткомпанию, говоря, что ничего нет в мире отвратительнее этого рабского падения и восхождения всех внутренностей по мере восхождения и падения корабельного носа. Муж дамы стонал, спрашивал Бога, когда это кончится, и поспешно, дрожащими руками, хватал тазик. Мартын, которого мать держала за кисть, чувствовал, что ежели он сейчас не уйдет, то стошнит и его. В это время вошла, мотнув шарфом, дама, обратилась к мужу с сочувственным вопросом, и муж, молча, не открывая глаз, сделал разрезательный жест ладонью по кадыку, и тогда она задала тот же вопрос Софье Дмитриевне, кото-

рая страдальчески улыбнулась. «И вы тоже, кажется, сдали», — сказала дама, строго взглянула на Мартына и, качнувшись, перебросив через плечо конец шарфа, вышла. Мартын последовал за ней, и ему полегчало, когда пахнул в лицо свежий ветер и открылось ярко-синее, в барашках, море. Она сидела на скрученных канатах и писала в маленькой сафьяновой книжке. Про нее на днях кто-то из пассажиров сказал, что «бабеч невретен», и Мартын, вспыхнув, обернулся, но среди нескольких унылых пожилых господ в поднятых воротниках не разобрал нахала. И теперь, глядя на ее красные губы, которые она все облизывала, быстро виляя карандашиком по странице, он смешался, не знал, о чем говорить, и чувствовал на губах соленый вкус. Она писала и как будто не замечала его. Меж тем чистое, круглое лицо Мартына, его неполных семнадцать лет, известная ладность всего его очерка и движений, — что встречается часто у русских, но сходит почему-то за «что-то английское», — вот этот самый Мартын в желтом мохнатом пальто с пояском произвел на даму некоторое впечатление.

Ей было двадцать пять лет, ее звали Аллой, она писала стихи, — три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщину пленительной. Ее любимыми поэтами были Поль Жеральди и Виктор Гюго; ее же собственные стихи, такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчине на вы и сверкали красными, как кровь, рубинами. Одно из них недавно пользовалось чрезвычайным успехом в петербургском свете. Начиналось оно так:

На пурпуре шелков, под пологом ампирым,  
Он всю меня ласкал, впиваясь ртом вампирным,  
А завтра мы умрем, сгоревшие дотла,  
Смешаются с песком красивые тела.

Дамы списывали его друг у дружки, его заучивали наизусть и декламировали, а один гардемарин даже написал на него музыку. Выйдя замуж в восемнадцать лет, она два года с лишним оставалась мужу верна, но мир кругом был насыщен рубиновым угаром греха, бритые, напористые мужчины назначали собственное самоубийство на семь часов вечера в четверг, на полночь в сочельник, на три часа утра под окнами, — эти даты путались, трудно было повсюду поспеть. По ней томился один из великих князей; в продолжение месяца докучал ей телефонными звонками Распутин. И она иногда говорила, что ее жизнь только легкий дым папиросы Режи, надушенной амброй.

Всего этого Мартын совершенно не понял. Стихами ее он был несколько озадачен. Когда он сказал, что Константинополь не аметистовый, Алла возразила, что он лишен поэтического воображения, и, по приезде в Афины, подарила ему «Песни Билитис», дешевое издание, иллюстрированное фигурами голых подростков, и читала ему вслух, выразительно произнося французские слова, под вечер, на Акрополе, на самом, так сказать, подходящем месте. В ее разговоре Мартыну главным образом нравилась влажная манера произносить букву «р», словно была не одна буква, а целая галерея, да еще с отражением в воде. И вместо всяких французских Билитис, петербургских белых, гитарных ночей, грешных сонетов в пять дактилических строф, он ухитрился найти в этой даме с трудноусваиваемым именем совсем другое, совсем другое. Знакомство, незаметно начавшееся на пароходе, продолжалось в Греции, на берегу моря, в одной из белых фалерских гостиниц. Софье Дмитриевне с сыном достался прескверный крохотный

номер,— единственное окно выходило в пыльный двор, и там, на рассвете, со всякими мучительными приготовлениями, с предварительным похлопыванием крыл и другими звуками, хрипло и бодро начинал кричать молодой алектор. Мартын спал на твердой синей кушетке, кровать же Софьи Дмитриевны была узкая, шаткая, с ухабистым матрацем. Из насекомых в комнате жила только одна блоха, зато очень ловкая, прожорливая и совершенно неуловимая. Алла, которой посчастливилось устроиться в отличном номере с двумя кроватями, предложила взять Софью Дмитриевну к себе, а мужа перекинуть к Мартыну. Софья Дмитриевна, сказав несколько раз сряду: да что вы, да что вы,— охотно согласилась, и в тот же день состоялось перемещение. Черносвитов, большой, долговязый, мрачный, заполнил собой всю комнатку; его кровь, по-видимому, сразу отравила блоху, ибо она больше не появлялась; его вещи,— принадлежности для бритья, зеркальце с трещиной поперек, одеколон, кисточка, которую он всегда забывал сполоснуть и которая стояла весь день, проклеенная серой, остывшей пеной, на подоконнике, на столе, на стуле,— удручали Мартына, и особенно было тяжело по вечерам, когда, ложась спать, он принужден был очищать свою, Мартынову, кушетку от каких-то галстуков и нательных сеток. Раздеваясь, Черносвитов вяло почесывался, во все нёбо зевал; затем, поставив громадную босую ногу на край стула и запустив пятерню в волосы, замирал в этой неудобной позе,— после чего медленно приходил опять в движение, заводил часы, ложился, долго, с кряхтением, уминал телом матрац. Через некоторое время, уже в темноте, раздавался его голос, всегда одна и та же фраза: «Главное, молодой человек, прошу вас не



портить воздух». Бреясь по утрам, он неизменно говорил: «Мазь для лица Прыщемор. В вашем возрасте необходимо». Одеваясь, выбирая из носков предпочтительно те, в коих дырка приходилась не на пятку, а на большой палец — залог невидимости, — он восклицал: «Эх, были когда-то и мы рысаками» и посвистывал сквозь зубы. Все это было очень однообразно и не смешно. Мартын вежливо улыбался.

Некоторым утешением, однако, служило сознание риска. В любую ночь могло случиться, что в предательском сне он отчетливо назовет полногласное имя, в любую ночь доведенный до крайности муж мог подкрасться с наточенной бритвой. Черно-свитов, впрочем, употреблял безопасную бритву: с этим снарядиком он обращался так же неряшливо, как с кисточкой, и в пепельнице всегда лежал ржавый клинок с окаменевшей каемкой пены, черноватой от волосков. Его мрачность, его плоские поговорки мнились Мартыну доказательством глубокой, но сдержанной ревности. На весь день уезжая по делам в Афины, он не мог не подозревать, что его жена проводит время наедине с тем добродушным, спокойным, но выдавшим виды молодым человеком, каким воображал себя Мартын.

## IX

Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день

легким гулом, и все стихало опять. Сонные домишки Афин напоминали баварский городок. Желтые горы вдали были чудесны. На Акрополе, среди мраморного мусора, дрожали на ветру бледные маки. Прямо среди улицы, как будто невзначай, начинались рельсы, стояли вагоны дачных поездов. В садах зрели апельсины. На пустыре великолепно росло несколько колонн; одна из них упала и сломалась в трех местах. Все это желтое, мраморное, разбитое уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын.

И, стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далеком, прекрасном краю, — какая приправа к влюбленности, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Улисса. Однажды, блуждая с Мартыном по неровным пескам, она оступилась, Мартын ее поддержал, она поглядела через плечо на высоко поднятую каблуком вверх подошву, пошла, оступилась снова, и он, наконец решившись, впился в ее полураскрытые губы и во время этого долгого, не очень ловкого объятия, едва не потерял равновесия, она тоже пошатнулась, высвободилась и со смехом сказала, что он целуется слишком мокро, надо подучиться. Мартын ощущал в ногах возмутительную дрожь, сердце колотилось, он злился на себя за это волнение, напоминавшее минуту после школьной потасовки, когда товарищи восклицали: «Фу, как ты побледнел!» Но первый в его жизни поцелуй — зажмуренный, глубокий, с каким-то тонким трепыханием на дне, происхождение которого он не сразу понял, был так хорош, так

щедро отвечал на предчувствия, что недовольство собой вскоре развеялось, и пустынный ветреный день прошел в повторениях и улучшениях поцелуя, а вечером Мартын был совершенно разбит, словно таскал бревна. Когда же Алла в сопровождении мужа вошла в столовую, где он и мать уже чистили апельсины, села за соседний столик, проворно развернула конус салфетки и, с легким взлетом рук, уронила ее к себе на колени, после чего придвинулась со стулом, — Мартын медленно запунцовел и долго не решался встретиться с нею глазами, а когда наконец встретился, то в ее взгляде не нашел ответного смущения.

Жадное, необузданное воображение Мартына не могло бы ладить с целомудрием. Мартын не совсем был чист. Мысли, кои зовутся «дурными», донимали его в течение последних двух-трех лет, и он им не очень противился. Вначале они жили отдельно от его ранней влюбчивости. Когда, в памятную петербургскую зиму, он после домашнего спектакля, накрашенный, с подведенными бровями, в белой кофточке, заперся в чулане вдвоем с однолеткой-кузиной, тоже накрашенной, в платочке до бровей, и смотрел на нее, жал ей сырые ладошки, Мартын живо чувствовал романтичность своего поведения, но возбужден им не был. Майн-Ридов герой, Морис Джеральд, остановив коня бок о бок с конем Луизы, обнял белокурую креолку за гибкий стан, и автор от себя восклицал: «Что может сравниться с таким лобзанием?» Подобные вещи уже куда больше волновали Мартына. И вообще — все несколько отдаленное, заповедное, достаточно расплывчатое, чтобы дать мечте работу по выяснению подробностей, — будь то портрет леди Гамильтон или бормотание пучеглазого однокашника о развратных

домах,— особенно поражало его воображение. Теперь же туман редел, видимость улучшалась. Слишком поглощенный этим, он пренебрегал подлинными словами Аллы: «Я останусь для тебя сказкой. Я безумно чувственная. Ты меня никогда не забудешь, как, знаешь, забывают какой-нибудь прочитанный старый роман. И не надо, не надо рассказывать обо мне твоим будущим любовницам».

Софья же Дмитриевна была довольна и недовольна зараз. Когда ей кто-нибудь из знакомых ужимчиво докладывал: «А мы сегодня утром гуляли и видели, видели... шел с поэтессой под ручку, да-да, очень нежно... Совсем погиб ваш мальчик»,— Софья Дмитриевна отвечала, что все это вполне натурально, такой уж возраст. Она гордилась ранним проявлением у Мартына мужественных страстей, однако скрыть от себя не могла, что Алла хоть милая, приветливая женщина, да уж слишком «скорая», как выражаются англичане, и, прощая сыну его ослепление, она не прощала Алле ее привлекательной вульгарности. К счастью, пребывание в Греции подходило к концу,— на днях должен был прийти из Швейцарии от Генриха Эдельвейса, двоюродного брата мужа, ответ на очень откровенное, с трудом написанное письмо — о смерти мужа, об иссякании средств. В свое время Генрих Эдельвейс посещал их в России, был с нею и с мужем дружен, любил племянника и всегда слыл честным и широким человеком. «Ты не помнишь, Мартын, когда последний раз у нас был дядя Генрих? Во всяком случае, до,— правда?» Это «до», всегда лишенное существительного, значило до размолвки, до разлуки с мужем, и Мартын тоже говорил: «до» или «после», ничего не уточняя. «Кажется, после»,— ответил он, припомнив, как дя-

дя Генрих явился на дачу, долго сидел у Софьи Дмитриевны и потом вышел с красными глазами, так как отличался слезоточивым нравом и плакал даже в кинематографе. «Конечно, какая я дура», — быстро сказала Софья Дмитриевна, вдруг восстановив его приезд, разговор о муже, увещевания, что надо помириться. «И ты его хорошо помнишь, правда? Он тебе всякий раз привозил что-нибудь». «Последний раз комнатный телефон», — сказал Мартын и поморщился: телефон проводить было неинтересно, а когда его кто-то наконец провел из детской к матери в спальню, он действовал плохо, а через день и вовсе сдал, после чего был заброшен — вместе с другими, прежними, дядиными подарками, как, например, «Швейцарский Робинзон», прескучный после Робинзона настоящего, или маленькие товарные вагоны из жести, вызвавшие тайные слезы разочарования, так как Мартын любил только пассажирские. «Чего ты морщишься?» — спросила Софья Дмитриевна. Он объяснил, и она рассмеялась, сказала: «Правда, правда» — и задумалась о детстве Мартына, о вещах невозвратимых, неизъяснимых, в этой думе была щемящая прелесть, — и как все проходит. «Боже мой, — усы растут, ногти чистые, этот сиреневый галстучек, эта женщина...» «Эта женщина очень, конечно, милая, — сказала Софья Дмитриевна, — но ты не думаешь, что она чуть-чуть слишком разбитная? Нельзя так терять голову. Скажи мне, — впрочем, нет, я не хочу ничего спрашивать... Только вот, говорят, что она в Петербурге была страшная flirt. И неужели тебе нравятся ее стихи? Этот дамский демонизм? Она так аффектированно читает. Неужели у вас дошло — ну, я не знаю — до пожимания рук, что ли?» Мартын загадочно улыбнулся. «Наверно, ничего между

вами и нет,— лукаво сказала Софья Дмитриевна, любуясь играющими, тоже лукавыми глазами сына.— Я уверена, что ничего нет. Ты еще не дорос». Мартын рассмеялся, она привлекла его и сочно, жадно поцеловала в щеку. Все это происходило у садового столика, на площадке перед гостиницей, рано утром,— и день обещал быть восхитительным, безоблачное небо было еще подернуто дымкой, как бывает покрыта листом папиросной бумаги необыкновенно яркая, глянцевая картина на заглавной странице дорогого издания сказок. Мартын осторожно этот полупрозрачный лист отворачивал, и вот, по белым ступеням лестницы, чуть играя низкими бедрами, в ярко-синей юбке, по которой шло правильное волнистое колебание, по мере того как с рассчитанною неторопливостью то одна нога, то другая, вытянув лаковый носок, ступала вниз,— мерно раскачивая парчовой сумкой и уже улыбаясь, спускалась, на прямой пробор причесанная, ясноглазая, тонкошеяя женщина с крупными черными серьгами, которые колебались тоже. Он встречал ее, целовал ей руку, отступал, и она, смеясь и музыкально картавя, здоровалась с Софьей Дмитриевной, которая сидела в плетеном кресле и курила толстую английскую папиросу, первую после утреннего кофе. «Вы так красиво спали, Алла Петровна, что я не хотела вас будить»,— говорила Софья Дмитриевна, держа на отлете длинный эмалевый мундштук и почему-то посматривая искоса на Мартына, который уже сидел на балюстраде и качал ногами. Алла, захлебываясь, принималась рассказывать, какие она видела ночью сны,— замечательные мраморные сны с древнегреческими жрецами, в способности сниться которых Софья Дмитриевна сильно сомневалась. И сыро блестел свежеполитый гравий.



Любопытство Мартына росло. Блуждания по пляжу, поцелуи, которые всякий мог подсмотреть, начинали казаться слишком растянутым предисловием; зато и желанная суть вызывала беспокойство: некоторые подробности Мартын представить себе не мог и боялся своей неопытности. Незабвенный день, когда Алла сказала, что она не деревянная, что так к ней прикасаться нельзя и что, после обеда, когда муж будет прочно в городе, а Софья Дмитриевна закейфует у себя в комнате, она зайдет к Мартыну в номер, чтобы показать ему чьи-то стихи, этот день был как раз тот, который открылся разговором о дяде Генрихе и комнатном телефоне. Когда, уже в Швейцарии, дядя Генрих подарил Мартыну на рождение черную статуэтку (футболист, ведущий мяч), Мартын не мог понять, почему в то самое мгновение, как дядя поставил на стол эту ненужную вещь, ему представилось с потрясающей яркостью далекое, нежное фалерское утро и Алла, сходящая по лестнице. Сразу после обеда он пошел к себе и принялся ждать. Мыльную кисточку Черносвитова он спрятал за зеркало, — она почему-то мешала. Со двора доносился звон ведер, плеск воды, гортанная речь. На окне мягко набухала желтая занавеска, и солнечное пятно ширилось на полу. Мухи описывали не круги, а какие-то параллелепипеды и трапеции вокруг штанги лампы, изредка на нее садясь. Мартын волновался нестерпимо. Он снял пиджак и воротник, лег навзничь на кушетке, слушал, как бухает сердце. Когда раздались быстрые шаги и стук в дверь, у него что-то сорвалось под ложечкой. «Видишь, целая пачка», — сказала Алла воровским шепотом, но Мартыну было не до стихов. «Какой дикий, Боже мой, какой дикий», — глухо приговаривала она,

незаметно ему помогая. Мартын торопился, настигал счастье, настиг, и она, покрывая ему рот ладонью, бормотала: «Тише, тише... соседи...»

«Это, по крайней мере, вещь, которая останется у тебя навсегда,— ясным голосом сказал дядя Генрих и слегка откинулся, откровенно любуясь статуэткой.— В семнадцать лет человек уже должен думать об украшении своего будущего кабинета, и, раз ты любишь английские игры...» «Прелесть»,— сказал Мартын, не желая дядю обидеть, и потрогал неподвижный шар у носка футболиста.

Дом был деревянный, кругом росли густые ели, туман скрывал горы; жаркая желтая Греция осталась действительно очень далеко. Но как живо еще было ощущение того гордого, праздничного дня: у меня есть любовница! Какой заговорщический вид был потом вечером у синей кушетки! Ложась спать, Черносвитов все так же скреб лопатки, принимал усталые позы, потом скрипел в темноте, просил не тяжелить воздуха, наконец, храпел, посвистывая носом, и Мартын думал: ах, если б он знал... И вот однажды, когда мужу полагалось быть в городе, а в его и Мартыновой комнате, на кушетке, Алла уже поправляла платье, успев «заглянуть в рай», как она выражалась, меж тем как Мартын, вспотевший и растрепанный, искал запонку, оброненную в том же раю,— вдруг, сильно толкнув дверь, вошел Черносвитов и сказал: «Ишь ты где, матушка. Я, конечно, забыл захватить с собой письмо Спиридонова. Хорошенькое было бы дело». Алла провела ладонью по смятой юбке и спросила, наморщив лоб: «А он уже дал свою подпись?» — «Этот старый скот Бернштейн все воду возит,— сказал Черносвитов, роясь в чемодане.— Если они желают задерживать деньги, то пусть сами, скоты, выкручиваются».—

«Главное,— сказала Алла,— не забудь об отсрочке. Ну что, нашел?» — «На катере, к чертовой матери,— бормотал Черносвитов, перебирая какие-то конверты.— Оно, должно быть. Не могло ж оно запропасться, в самом деле». — «Если оно пропало, тогда вообще все пошло прахом», — сказала она недовольно. «Тянут, тянут,— бормотал Черносвитов,— вот и возись с ними. Отупеть можно. Я буду очень рад, если Спиридонов откажется». — «Да ты не волнуйся так, найдется», — сказала Алла, но, видимо, и сама была встревожена. «Есть, слава Тебе, Господи!» — воскликнул Черносвитов и скользнул глазами по найденному листку, причем от внимания челюсть у него отвисла. «Не забудь сказать об отсрочке», — напомнила ему Алла. «Добже», — сказал Черносвитов и поспешно вышел.

Этот деловой разговор привел Мартына в некоторое недоумение. Ни муж, ни жена не притворялись, — они действительно совершенно забыли о его присутствии, погрузившись в свои заботы. Алла, однако, сразу вернулась к прежнему настроению, посмеялась, что в Греции такие скверные дверные задвижки — сами выскакивают, — а на тревожный вопрос Мартына пожала плечами: «Ах, я уверяю тебя, он ничего не заметил». Ночью Мартын долго не мог уснуть и все с тем же недоумением прислушивался к самодовольному храпу. Когда, через три дня, он с матерью отплывал в Марсель, Черносвитовы приехали провожать в Пирей: они стояли на пристани, держась под руку, и Алла улыбалась и махала мимозовой веткой. Накануне, впрочем, она всплакнула.

На нее, на эту заглавную картинку, оказавшуюся после снятия полупрозрачного листка грубоватой, подчеркнута яркой, Мартын снова опустил дымку, сквозь которую краски приобретали таинственную прелесть.

И на большом трансатлантическом пароходе, где все было чисто, отшлифовано, просторно, где был магазин туалетных вещей, и выставка картин, и аптека, и парикмахерская и где по вечерам танцевали на палубе тустеп и фокстрот,— он с восторженной грустью думал о той милой женщине, о ее нежной, слегка впалой груди и ясных глазах и о том, как непрочной похрустывала она в его объятиях, приговаривая: «Ай, сломаешь». Меж тем близка была Африка, на горизонте с севера появилась лиловая черта Сицилии, а затем пароход скользнул между Корсикой и Сардинией, и все эти узоры знойной суши, которая была где-то кругом, где-то близко, но проходила невидимкой, пленяли Мартына своим бесплотным присутствием. А по пути из Марселя в Швейцарию он как будто узнал любимые ночные огни на холмах,— и хотя это не был уже *train de luxe*, а простой курьерский поезд, тряский, темный, грязный от угольной пыли, волшебство было тут как тут: эти огни и вопли во мраке... По дороге, в автомобиле, между Лозанной и дядиным домом, расположенным повыше в горах, Мартын, сидя рядом с шофером, изредка с улыбкой поворачивался к матери и дяде, которые оба были в больших автомобильных очках и одинаково держали на животах руки. Генрих Эдельвейс остался холост, носил толстые усы, и некоторые его интонации да манера возиться с зубочисткой или ковырялкой для ногтей

напоминали Мартыну отца. При встрече с Софьей Дмитриевной на вокзале в Лозанне дядя Генрих разрыдался, рукой прикрыл лицо, но погодя, в ресторане, успокоился и на своем пышноватом французском языке заговорил о России, о своих прежних поездках туда. «Как хорошо,— сказал он Софье Дмитриевне,— как хорошо, что твои родители не дожили до этой страшной революции. Я помню превосходно старую княгиню, ее белые волосы... Как она любила бедного, бедного Сержа»,— и при воспоминании о двоюродном брате у Генриха Эдельвейса опять налились глаза голубой слезой. «Да, моя мать его любила, это правда,— сказала Софья Дмитриевна,— но она вообще всех и все любила. А ты мне скажи, как ты находишь Мартына»,— быстро продолжала она, пытаясь отвлечь Генриха от печальных тем, принимавших в его пушистых устах оттенок нестерпимой сентиментальности. «Похож, похож,— закивал Генрих.— Тот же большой лоб, прекрасные зубы...» «Но, правда, он возмужал? — поспешно перебила Софья Дмитриевна.— И, знаешь, у него уже были увлечения, страсти». Дядя Генрих перешел на политические темы. «Эта революция,— спросил он риторически,— как долго она может длиться? Да, этого никто не знает. Бедная и прекрасная Россия гибнет. Может быть, твердая рука диктатора положит конец эксцессам. Но многие прекрасные вещи, ваши земли, ваши опустошенные земли, ваш деревенский дом, сожженный сволочью,— всему этому следует сказать прощай». — «Сколько стоят лыжи?» — спросил Мартын. «Не знаю,— со вздохом ответил дядя Генрих.— Я никогда не развлекался этим английским спортом. И у тебя английский акцент. Это дурно. Мы переменим все это». «Он многое перезабыл,—

вступилась за сына Софья Дмитриевна. Последние годы M-lle Planche уже не давала уроков». — «Умерла, — с чувством сказал дядя Генрих. — Еще одна смерть». — «Да нет, — улыбнулась Софья Дмитриевна. — Откуда ты взял? Она вышла замуж за финна и спокойно живет в Выборге». — «Во всяком случае все это очень грустно, — сказал дядя Генрих. — Я так желал, чтобы когда-нибудь Серж с вами приехал сюда. Но никогда не имеешь того, о чем мечтаешь, и Бог один знает судьбу людей. Если вы утолили голод и наверное больше ничего не хотите, можем отправиться в путь».

Дорога была светлая, излучистая; справа поднималась скалистая стена с цветущими колючими кустами, в трещинах, слева был обрыв, долина, где серповидной пеной, уступами, бежала вода; затем появились черные ели, они стояли тесным строем то на одном склоне, то на другом; окрест, незаметно передвигаясь, высились зеленоватые, в снеговых проплешинах, горы, из-за плеч этих гор смотрели другие, посерее, а совсем вдалеке поднимались горы лиловой гуашевой белизны, и эти были совершенно неподвижны, и небо над ними словно выцвело по сравнению с ярко-синими просветами между верхушками черных елей, под которыми катился автомобиль. Вдруг, с непривычным еще чувством, Мартын вспомнил густую еловую опушку русского парка сквозь синее ромбовидное стекло на веранде, — а когда, разминая слегка звенящие ноги, с прозрачным гулом в голове, он вышел из автомобиля, его поразили запах земли и тающего снега, шероховатый свежий запах и еловая красота дядино дома. Стоял он особняком в полуверсте от деревни, и с верхнего балкона был один из тех дивных видов, которые прямо



пугают своим воздушным совершенством, а в чистенькой уборной, где пахло смолой, густо синело в оконце опять это весеннее дачное небо, и кругом, в саду с голыми черными клумбами и цветущими яблонями в глубине, в еловом бору, сразу за садом, и на мягкой дороге, ведущей в деревню, была прохладная, веселая, что-то знающая тишина, и голова слегка кружилась, не то от этой тишины, не то от запахов, не то от новой, блаженной косности после трехчасовой езды.

В этом доме Мартын прожил до поздней осени. Предполагалось, что зимой он поступит в Женевский университет; однако, после живой переписки с друзьями в Англии, Софья Дмитриевна определила его в Кембридж. Дядя Генрих не сразу с этим примирился,— он англичан недолюбливал, холодный, коварный народ. Зато мысль об издержках, которых потребует знаменитый университет, не только его не огорчала, а, напротив, была соблазнительна. Любя экономить по мелочам, в левой руке зажимая грош, он правой охотно выписывал крупные чеки,— особенно когда расход являлся почетным. Иногда он трогательно играл самодура, хряпал ладонью по столу, раздувал усы и кричал: «Если я это делаю, то потому, что мне приятно!» И Софья Дмитриевна со вздохом натягивала на кисть новые часики-браслет из Женевы, а Генрих, размякнув, лез в карман, вытягивал объемистый платок с голубой каемкой, встряхивал его и, скрывая набежавшие слезы, трубил раз, трубил два, затем приглаживал усы — вправо и влево.

С наступлением лета погнало крестами меченых овец еще выше в горы. Неизвестно откуда, с какой стороны, начинал доноситься журчащий металлический звон, плыл, обволакивал, вызывал

у слушателя странную щекотку во рту, и вот, в облаке пыли, серой, курчавой густыней, лились, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчивой и подвижной тесноте, и влажный, полый, улаждающий все чувства звон колокольных все рос, наливался, так таинственно, словно звучала самая пыль, клубящаяся над овцами; порою одна выбивалась из стада, пробегала трусцой, и лохматая собака молча ее оттесняла в стадо, и сзади шел, мягко ступая, пастух,— и звон колокольных чуть менялся в тембре, становился опять глуше, тише, но долго еще стоял в воздухе, вместе с летучей пылью. «Ах, как славно»,— шептал про себя Мартын, дослушав звон до конца, и продолжал путь, любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глуши. Бор внезапно редел, появлялись крутые сочные луга, каменистая стежка спускалась между живых изгородей; иногда навстречу поднималась корова с мокрой розовой мордой, останавливалась, похлестывая хвостом, и, качнув головой вбок, проходила, и следом за ней шла проворная старушка с дубинкой и кидала на Мартына недоброжелательный взгляд. А ниже, за тополями и кленами, белела большая гостиница, хозяин которой был в отдаленном родстве с Эдельвейсом.

За это лето Мартын еще больше окреп, увеличился размах плеч, и голос приобрел ровный и низкий звук. Меж тем на душе у него было сумбурно, и чувство не совсем понятное возбуждали такие вещи, как дачная прохлада в комнатах, столь отчетливая после наружной жары, толстый шмель, с обиженным видом стучащий по потолку, еловые лапы на синеве неба или крепкий коричневый боровик, найденный на опушке. Будущая поездка в Англию

волновала и радовала его. Воспоминание об Алле Черносвитовой достигло окончательного совершенства, и он себе говорил, что недостаточно ценил фалерское счастье. Жажда, которую та, утоляя, только обострила, так мучила его в эти горные летние дни, что по ночам он долго не мог забыться, представляя себе, среди многих приключений, всех тех женщин, которые ждут его в светающих городах, и, случалось, повторял вслух какое-нибудь женское имя — Изабелла, Нина, Маргарита, — еще холодное, нежилое имя, пустой гулкий дом, куда медлит вселиться хозяйка, — и гадал, какое из этих имен станет вдруг живым, столь живым и естественным, что уже никогда нельзя будет произнести его так таинственно, как сейчас. А по утрам приходила из деревни пособлять старой горничной племянница ее Мария, семнадцатилетняя девочка, очень тихая и миловидная, с темно-розовыми щеками и туго закрученными вокруг головы желтыми косами. Бывало так, что Мартын в саду, а она вдруг распахивает верхнее окошко и, отряхнув тряпку, замирает, глядя, быть может, на овальные тени облаков, скользящие по склонам гор; затем проводит тылом руки по виску и медленно отворачивается. Мартын поднимался в комнаты, определял по сквознякам, где происходит уборка, и среди блеска мокрых половиц Мария, задумавшись, стояла на коленях: он видел ее со спины, ее черные шерстяные чулки и зеленое, в горошинку, платье. Она никогда не смотрела на Мартына, только раз — и это было событие — проходя мимо с пустым ведром, неопределенно и нежно улыбнулась, однако не ему, а цыплятам. Он упорно давал себе обет заговорить с ней да потихоньку обнять, но однажды, после ее ухода, Софья Дмитриевна потянула носом, по-

морщилась и поспешно открыла все окна, — и Мартын проникся к Марии досадливым отвращением и только очень постепенно, по мере ее следующих далеких появлений, — в раскрывшемся окне, или в просвете листвы близ колодца, — опять начал поддаваться очарованию, но уже боялся приблизиться. Так что-то счастливое, томное, его издалика заманивало, но было обращено не к нему. Как-то раз, забравшись высоко в горы, он сел с ногами на большой лобатый камень, и снизу, вьющейся тропой, прошло стадо, музыкально и грустно булькая, а затем двое, оборванный, веселый мужчина и девушка, которая, все посмеиваясь, вязала на ходу чулок. Они прошли, не взглянув на Мартына, словно был он бесплотен, и он долго следил за ними: мужчина, не меняя шага, перекинул руку через плечо спутницы, и по ее затылку видно было, что она все вяжет, вяжет, неторопливо спускаясь в другую долину. А не то около теннисной площадки перед гостиницей появлялись, крича, белеясь платьями и отмахиваясь ракетками от оводов, барышни с голыми руками, но, как только они начинали играть — какая топорность, какая беспомощность, — тем более что сам Мартын играл превосходно, разбивал в лоск любого молодого аргентинца из гостиницы, ибо сызмала усвоил лад, необходимый для наслаждения природой шара, согласованность всех членов, так что каждый удар по белому мячу, начинаясь с дугового налета, еще длится после звучной вспышки ракетных струн, проходя по мышцам руки до самого плеча, как бы замыкая плавный круг, из которого так же плавно рождается следующий. В жаркий августовский день возник на площадке профессиональный игрок, Боб Китсон из Ниццы, и предложил Мартыну партию. Знакомая глупая дрожь — от

местка слишком живого воображения. Все же Мартын начал хорошо, то прихлопывая мяч на излете у самой сетки, то с задней черты мощно лупя в отдаленнейший угол. Кругом стояли и смотрели,— это было приятно. Горело лицо, и до безумия хотелось пить. Подавая, обрушиваясь на мяч и сразу превращая наклон тела в быстрый пробег к сетке, Мартын собирался взять решительную игру. Но профессионал, долговязый, хладнокровный юноша в очках, игравший точно с лентой, вдруг проснулся и пятью молниевидными ударами сравнял положение. Мартын почувствовал усталость и беспокойство. Солнце — в глаза. Вылезает из-под пояса рубашка. Если Китсон возьмет этот пункт,— все кончено. Тот, из неудобного угла, дал свечу, и Мартын, отбегая кэк-уоком, приготовился мяч убить. Пока он низвергал ракетку, ему мгновенно помешался проигрыш, злорадство обычных его партнеров. Увы, мяч тупо плюхнул в сетку. «Не повезло»,— бодро сказал Китсон, и Мартын ослабил, героически преодолевая досаду.

## ХІІ<sup>1</sup>

Возвращаясь домой, он переигрывал в уме все удары, обращал поражение в победу и качал головой: трудно, трудно изловить счастье. Скрытые листвой, журчали ручьи, с мокрых мест на дороге вспархивали голубые бабочки, в кустах возились птицы,— все было до грусти солнечно и безопасно. Вечером, после обеда, сидели, как всегда, в гостиной, дверь была широко открыта на террасу и, так

---

<sup>1</sup> В американском издании романа (1974 г.) после главы X идет глава XII. (Прим. ред.)

как испортилось электричество, горели в канделябрах свечи: изредка пламя их наклонялось, и тогда из-под всех кресел вытягивались черные тени. Мартын, копая в носу, читал томик Мопассана со старомодными иллюстрациями: Бель-Ами, усатый, в стоячем воротничке, обнажающий с ловкостью камеристки стыдливую, широкобедрую женщину. Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы теплая, черная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. «Последний раз он у меня вышел в России,— проговорила Софья Дмитриевна.— Он вообще выходит очень редко». Расставя пальцы, она собрала рассыпанные по столу карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул.

Наскуча книгой, Мартын потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью и ночными цветами. Сорвалась звезда и, конечно, как это обычно бывает,— не совсем в поле зрения, а сбоку, так что глаз уловил лишь трепет, мгновенную, беззвучную перемену в небе. Очертания гор были неразборчивы, и в складках мрака дрожало там и сям по два, по три огонька. «Путешествие»,— вполголоса произнес Мартын и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл, и тогда он отложил длинную, пушистую словесную шкурку, и глядь,— через минуту слово было опять живое. «Звезда. Туман. Бархат, бар-хат»,— отчетливо произносил он и все удивлялся, как непрочно смысл держится в слове. И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидал страны, и что он делает тут, ночью, в горах,— и отчего все в мире



так странно, так волнительно. «Волнительно», — повторил громко Мартын и остался словом доволен. Опять покатила звезда. Он уставился глазами в небо, как некогда, когда в коляске, темной лесной дорогой, возвращались восвояси из имения соседа, и совсем маленький, размаятый, готовый вот-вот уснуть, Мартын откидывал голову, смотрел на небесную реку, между древесных клубьев, по которой тихо плыл. Он подумал: где еще в жизни будет так — как тогда, как сейчас, — смотреть на ночное небо, — на какой пристани, на какой станции, на каких площадях? Чувство богатого одиночества, которое он часто испытывал среди толпы, блаженное чувство, когда себе говоришь: вот, никто из этих людей, занятых своим делом, не знает, кто я, откуда, о чем сейчас думаю, — это чувство было необходимо для полного счастья, и Мартын с замиранием, с восторгом себе представлял, как — совершенно один, в чужом городе, в Лондоне, скажем, — будет бродить ночью по неизвестным улицам. Он видел черные кэбы, хлюпающие в тумане, полицейского в черном блестящем плаще, огни на Темзе — и другие образы из английских книг. Оставив багаж на вокзале, он шел мимо бесчисленных освещенных Дрюсов и, волнуясь, искал Изабеллу, Нину, Маргариту, кого-нибудь, чьим именем назвать эту ночь. А она, — за кого она его примет? За художника, за моряка, за джентльмена-взломщика? От денег она откажется, будет нежна, поутру не захочет отпустить. Но как улицы туманны, как многолюдны, как трудно найти... И хотя многое выглядело иначе, хотя кэбы уже повымерли, кое-что он все же узнал, когда осенним вечером вышел налегке с вокзала Виктории, узнал темный, маслянистый воздух, мокрый плащ полицейского, отблески, шлепа-

ющие звуки. На вокзале он отлично вымылся под душем в веселенькой чистой каморке, вытерся теплым, мохнатым полотенцем, которое принес краснощекий служитель, надел чистое белье, лучший костюм, оставил оба чемодана на хранение и теперь был горд, что так толково устроился. Он едва чувствовал дорожную усталость: была только звонкость, волнение. Громадные автобусы яростно и тяжело разбрызгивали озера на асфальте; световые рекламы взбегали и рассыпались по фронтонам багровых домов. Он встречал, обгонял женщин, оборачивался,— но чем красивее было лицо, тем труднее было решиться. Светлых, привлекательных кафе, как в Афинах или в Лозанне, тут не было, а в баре, где он выпил стакан пива, оказались одни мужчины, воспаленные, лупоглазые, с красными жилками на белках. Мало-помалу им овладевало смутное раздражение: русская семья, у которой по письменному сговору он должен был на неделю остановиться, вот сейчас ждет его, беспокоится. Он подумал, не сесть ли спокойно в таксомотор, не отказаться ли от этой ночи. Но тут же ему стало стыдно его недоверчивости к ней,— как напряженно он о ней мечтал нынче на рассвете, глядя в окно поезда на равнины, на розовое холодное небо, на черный силуэт ветряной мельницы. «Малодушие и предательство»,— тихо сказал Мартын. Он заметил, что во второй раз проходит той же улицей, узнал ее по витрине, полцой жемчужных ожерелий. Он стал и мельком проверил давнее свое отвращение к жемчугам: устричные геморроиды, круглявые, с нездоровым отливом. Рядом с ним остановилась женщина под зонтиком. Мартын искоса посмотрел: худенькая, черный костюм, сияющая булавка в шляпе. Она повернула лицо, улыбнулась и, выпучив

губы, издала маленький звук вроде удлинённого «у». Мартын увидел, как в ее глазах бегут огни, переливы, блеск дождя, и хриплым шепотом пожелал ей доброго вечера.

Как только они оказались в темноте таксомотора, он обнял ее, шалея от ощущения ее гибкой худобы. Она закрывалась руками и хохотала. Потом, в номере, когда он неловко вынул бумажник, она сказала: «Нет, нет, если хотите, завтра поведете меня обедать в шикарное место». Она спросила, кто он, не француз ли, и стала по его просьбе гадать: бельгиец? датчанин? голландец? И не поверила, когда он сказал: русский. Далее он намекнул ей, что зарабатывает на жизнь карточной игрой на больших пароходах, поведал ей о своих странствиях, кое-что расцветил, кое-что прибавил и, описывая никогда не виданный им Неаполь, глядел с любовью на ее голые детские плечи, на стриженую русую голову и был совершенно счастлив. Рано утром, пока он мирно спал, она быстро оделась и ушла, выкрыв из его бумажника десять фунтов. «Утро после дебоша», — с улыбкой подумал Мартын, захлопнув бумажник, который поднял с полу. Он облился из кувшина, устроив потоп, и все улыбался, вспоминая прелестную ночь. Было немного жалко, что она так глупо ушла, что больше никогда он ее не встретит. А звали ее Бэсс. Когда же он вышел из гостиницы и пошел по утренним просторным улицам, то ему хотелось прыгать и петь от счастья, и, чтобы как-нибудь облегчить душу, он взобрался на лесенку, прислоненную к фонарю, из-за чего имел долгое и смешное объяснение с пожилым прохожим, грозившим снизу тростью.

Второй нагоняй он получил от Зилановой, Ольги Павловны. Накануне она прождала его до позднего вечера и, так как полагала почему-то, что Мартын моложе и беспомощнее, чем оказался на самом деле, разволновалась, не знала, что предпринять. Он объяснил, что вчера хватился адреса, а нашел его только сегодня в малопосещаемом карманчике и что ночевал в гостинице у вокзала. Ольга Павловна захотела узнать, почему он не позвонил по телефону и как называется гостиница. Мартын придумал хорошее, незаурядное название: Гуд-Найт Отель,— и объяснил, что искал в телефонной книжке номер, но не нашел. «Эх, вы»,— недовольно сказала Зиланова и вдруг улыбнулась изумительно прекрасной улыбкой, совершенно преобразившей ее дряблое, унылое лицо. Мартын помнил эту улыбку еще по Петербургу, и так как он был тогда дитя, а говоря с чужими детьми, женщины обычно улыбаются, его память сохранила Зиланову с сияющим лицом, и он был озадачен, найдя ее такой старой и хмурой.

Ее муж, известный общественный деятель, был временно в отъезде, и Мартына поместили в его кабинет. Кабинет и столовая находились в первом этаже, гостиная во втором, спальни в третьем. Из таких узкофасадных домов, друг от друга неотличимых и с одинаковым расположением комнат по вертикали, состояла вся эта тихая, неторговая улица, оживленная красной почтовой тумбищей на углу. Позади правого ряда домов были палисадники, где летом цвели рододендроны, а за левым рядом желтел и облетал сквер с большими ильмами и с муравчатой площадкой для тенниса.

Старшая дочь Зиланова, Нелли, недавно вышла замуж за русского офицера, попавшего в Англию из немецкого плена. Младшая, Соня, кончала в Лондоне среднюю школу, куда неожиданно перешла из пятого класса Стоюнинской гимназии. Существовала еще сестра Зилановой, Елена Павловна, и ее дочка Ирина, несчастное безобразное существо-полуидиотка.

Неделя, которую Мартын, примериваясь к Англии, прожил в этом доме, показалась ему довольно тягостной. День-деньской он был среди чужих, его не отпускали ни на шаг. Соня донимала его тем, что высмеивала его гардероб, сорочки с крахмальными манжетами и твердоватой грудью, любимые ярко-лиловые носки, оранжевые башмаки с шишковатыми носами, купленные в Афинах. «Это американские», — с нарочитым спокойствием сказал Мартын. «Американцы их специально делают, чтобы продавать неграм да русским», — бойко возразила Соня. Далее оказалось, что Мартын не привез халата, и, когда он по утрам шел в ванную, гордо закутанный в простыню, Соня говорила, что это ей напоминает ее двоюродных братьев и товарищей их, лицеистов, которые, гостя на даче, спали нагишом, ходили по утрам в простынях и гадили в саду. Кончилось тем, что Мартын накупил в Лондоне столько вещей, что десяти фунтов не хватило и пришлось писать дяде, а это было особенно неприятно ввиду туманных объяснений, которых потребовало исчезновение других десяти фунтов. Да, тяжелая, неудачная неделя. Ведь и английское произношение, которым Мартын тихо гордился, тоже послужило поводом для изысканно насмешливых поправок. Так, совершенно неожиданно, Мартын попал в неучи, в недоросли, в маменькины

сынки. Он считал, что это несправедливо, что он в тысячу раз больше перечувствовал и испытал, чем барышня в шестнадцать лет. И с некоторым злорадством он расколошматил на теннисе каких-то ее молодых людей, а вечером накануне отъезда превосходно танцевал под гавайский плач граммофона тустеп, которому научился еще в Средиземном море.

В Кембридже он и подавно почувствовал себя иностранцем. Встречаясь с англичанами-студентами, он, дивясь, отмечал свое несомненное русское нутро. От полуанглийского детства у него остались только такие вещи, которые у коренных англичан, его сверстников, читавших в детстве те же книги, затуманились, уложились в должную перспективу, — а жизнь Мартына в одном месте круто повернула, пошла по другому пути, и тем самым обстановка и навыки детства получили для него привкус некоторой сказочности, и какая-нибудь книга, любимая в те дни, оставалась посеючас в его памяти прелестнее и ярче, чем та же книга в памяти сверстников-англичан. Он помнил и говорил словечки, которые десять лет назад были в ходу среди английских школьников, а ныне считались либо вульгарными, либо до смешного старомодными. Синим пламенем пылающий плампудинг подавался в Петербурге не только на Рождество, как в Англии, а в любой день, и, по мнению многих, у повара Эдельвейсов он выходил лучше, чем покупные. В футбол петербуржцы играли на твердой земле, а не на дерне, и штрафной удар обозначался неизвестным в Англии словом «пендель». Цвета полосатой курточки, купленной когда-то у Дрюса, Мартын бы теперь не смел носить, так как они отвечали спортивной форме определенного училища, воспитанником которого он никогда не состоял. И вообще все это английское,



довольно, в сущности, случайное, процеживалось сквозь настоящее, русское, принимало особые русские оттенки.

#### XIV

На заднем плане первых кембриджских ощущений все время почему-то присутствовала великолепная осень, которую он только что видел в Швейцарии. По утрам нежный туман заволакивал Альпы. Гроздь рябины лежала посреди дороги, где колеи были подернуты слюдяным ледком. Ярко-желтая листва берез скудела с каждым днем, несмотря на безветрие, и с задумчивым весельем глядело сквозь нее бирюзовое небо. Рыжели пышные папоротники; плыли по воздуху радужные паутинки, которые дядя Генрих называл волосами Богородицы. Иногда Мартын поднимал голову, думая, что слышит далекое, далекое курлыканье журавлей, — но их не было. Он много бродил, чего-то искал, ездил на скверном велосипеде одного из работников по шелестящим тропинкам, а Софья Дмитриевна, сидя на скамейке под кленом, задумчиво прокалывала острием трости сырые багровые листья на бурой земле. Такой разнообразной и дикой красоты не было в Англии, природа казалась оранжерейной, ручной; в геометрических садах, под морозящим небом, она умирала без роскошных причуд, но по-своему были прекрасны розовато-серые стены, прямоугольные газоны, покрытые в редкие погожие утра бледным серебром инея, и выгнутый каменный мостик над узкой рекой, образовавший полный круг со своим совершенным отражением.

Ни скверная погода, ни ледяная стужа спальни, где традиция запрещала топить, не могли изменить мечтательную жизнерадостность Мартына. Одиночество веселило его. Свою рабочую комнату, жаркий камин, пыльную пианолу, безобидные литографии по стенам, низкие плетеные кресла и дешевые фарфоровые штучки на полочках,— все это он от души полюбил. Когда, поздно вечером, умирало священное пламя камина, он кочергой сгребал мелкие, еще тлеющие остатки, накладывал сверху щепок, наваливал гору угля, раздувал огонь фукающими мехами или, занавесив пасть очага просторным листом «Таймса», устраивал тягу: напряженный лист приобретал теплую прозрачность, и строки на нем, мешаясь с просвечивающими строками на исподе, казались диковинными знаками тарабарского языка. Затем, когда гул и бушевание огня усиливались, на газетном листе появлялось рыжее, темнеющее пятно и вдруг прорывалось, вспыхивал весь лист, тяга мгновенно его всасывала, он улетал в трубу,— и поздний прохожий, магистр в черном плаще, видел сквозь сумрак готической ночи, как из трубы вырывается в звездную высь огневласая ведьма, и на другой день Мартын платил денежный штраф.

Будучи одарен живым и общительным нравом, Мартын оставался один недолго. Довольно скоро он подружился с нижним жильцом, Дарвином, да познакомился кое с кем на футбольном поле, в клубе, в общей столовой. Он заметил, что всякий считает должным говорить с ним о России, выяснять, что он думает о революции, об интервенции, о Ленине и Троцком, а иные, побывавшие в России, хвалили русское хлебосолье или спрашивали, не знает ли он случайно Иванова из Москвы. Мартыну

такие разговоры претили; небрежно взяв со стола том Пушкина, он начинал переводить вслух стихи: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса». Это возбуждало недоумение, — и только один Дарвин, большой, сонный англичанин в канареечно-желтом джемпере, развалясь в кресле, сопя трубкой и глядя в потолок, одобрительно кивал.

Этот Дарвин, зачастив вечерами к Мартыну, подробно осветил, ему в назидание, некоторые строгие, исконные правила: не полагается студенту ходить по улице в шляпе и в пальто, как бы холодно ни было; нельзя ни здороваться за руку, ни желать доброго утра, и следует всякого знакомого, будь он сам Томпсон, объявивший войну атому, приветствовать широкой улыбкой и развязным междометием. Нехорошо кататься по реке в обыкновенной гребной лодке, — для этого есть роброи, пироги и другие виды шлюпок. Никогда не нужно повторять старые университетские острооты, которыми сразу увлекаются новички. «Но помните, — мудро добавил Дарвин, — и в соблюдении этих традиций не следует заходить слишком далеко, и иногда, чтобы огоршить снобов, бывает полезно выйти на улицу в котелке, с зонтиком под мышкой». У Мартына создалось впечатление, что Дарвин уже давно, несколько лет, в университете, и он пожалел его, как жалел всякого домоседа. Дарвин его поражал своей сонностью, медлительностью движений, какой-то комфортабельностью всего существа. Стремясь в нем возбудить зависть, Мартын нахрапом ему рассказал о своих странствиях, бессознательно прибавив кое-что из присочиненного в угоду Бэсс и едва заметив, как вымысел утвердился. Эти преувеличения были, впрочем, невинного свойства: два-

три пикника на крымской Яйле превратились в постоянное бродяжничество по степям, с палкой и котомкой, Алла Черносвитова — в таинственную спутницу поездок на яхте, прогулки с ней — в долгое пребывание на одном из греческих островов, а лиловая черта Сицилии — в сады и виллы. Дарвин одобрительно кивал, глядя в потолок. Глаза у него были голубоватые, пустые. без всякого выражения; подошвы, которые он всегда казал, так как любил полулежачие позы, с высоко и удобно пристроенными ногами, были снабжены сложной системой резиновых нашлепок. Все в нем, начиная от этих прочно подкованных ног и кончая костистым носом, было добротно, велико и невозможно.

## XV

Раза три в месяц Мартына призывал тот профессор, который следил за посещением лекций, навещал в случае нездоровья, давал разрешение на поездки в Лондон и делал замечания по поводу штрафов, навлекаемых приходом домой за полночь или неношением по вечерам академического плаща. Это был сухонький старичок, с вывернутыми ступнями и острым взглядом, латинист, переводчик Горация, большой любитель устриц. «Вы сделали успехи в языке, — как-то сказал он Мартыну. — Это хорошо. Много ли у вас уже набралось знакомых?» — «О, да», — ответил Мартын. «А с Дарвином, например, вы подружились?» — «О, да», — повторил Мартын. «Я рад. Это великолепный экземпляр. Три года в окопах, Франция и Месопотамия, крест Виктории и ни одного ушиба, ни нравственного, ни физического. Литературная удача могла бы вскружить ему голову, но и этого не случилось».

Кроме того, что Дарвин, прервав университетское учение, ушел восемнадцати лет на войну, а недавно выпустил книгу рассказов, от которых знатоки без ума, Мартын услышал, что он первоклассный боксер, что детство он провел на Мадере и на Гавайских островах и что его отец — известный адмирал. Собственный маленький опыт показался Мартыну ничтожным, жалким, он устыдился некоторых своих рассказней. Когда вечером к нему ввалился Дарвин, было смешно и неловко. Он принялся исподволь выуживать про войну, про книгу, — и Дарвин отшучивался и говорил, что лучшая книга, им написанная, это маленькое пособие для студентов, которое называлось так: «Полное описание шестидесяти семи способов проникнуть в колледж Троицы после закрытия ворот, с подробным планом стен и решеток, первое и последнее издание, множество раз проверенное ни разу не попавшимся автором». Но Мартын настаивал на своем, на важном, на книге рассказов, от которых знатоки без ума, и наконец Дарвин сказал: «Ладно, я дам. Пойдем ко мне в логово».

Свое логово он обставил сам по собственному вкусу: были там какие-то сверхъестественно удобные кожаные кресла, в которых тело таяло, углубляясь в податливую бездну, а на камине стояла большая фотография: разомлевшая, на боку лежащая сука и круглые наливные задки ее шестерых сосунков. Да и вообще студенческих комнат Мартын уже перевидал немало: были такие, как его, — милые, но жильцом не холенные, с чужими, хозяйскими, вещами, — была комната спортсмена с серебряными трофеями на камине и сломанным веслом на стене, была комната, заваленная книгами, засыпанная пеплом, была, наконец, комната, гаже

которой трудно сыскать,— почти пустая, с ярко-желтыми обоями, комната, где всего одна картина, но зато Сезанн (эскиз углем, женообразная загогулина), да стоит раскрашенный деревянный епископ четырнадцатого века с протянутой культишкой. Душевной всех была комната Дарвина, особенно если присмотреться, пошарить: чего стоило, например, собрание номеров газеты, которую Дарвин издавал в траншеях: газета была веселая, бодрая, полная смешных стихов, Бог знает, как и где набиралась, и в ней помещались ради красоты случайные клише, рекламы дамских корсетов, найденные в разгромленных типографиях.

«Вот,— сказал Дарвин, достав книгу.— Бери».

Книга оказалась замечательной; не рассказы, нет, скорее трактаты,— двадцать трактатов одинаковой длины; первый назывался «Штопор», и в нем содержались тысячи занятных вещей о штопорах, об их истории, красоте и добродетелях. Второй был о попугаях, третий об игральных картах, четвертый об адских машинах, пятый об отражениях в воде. А один был о поездах, и в нем Мартын нашел все, что любил,— телеграфные столбы, обрывающие взлет проводов, вагон-ресторан, эти бутылки минеральной воды, с любопытством глядящие в окно на пролетающие деревья, этих лакеев с сумасшедшими глазами, эту карликовую кухню, где потный повар в белом колпаке, шатаясь, панирует рыбу.

Если б когда-нибудь Мартын думал стать писателем и был бы мучим писательской алчностью (столь родственной боязни смерти), постоянной тревогой, которая нудит запечатлеть неповторимый пустяк,— быть может, страницы о мелочах, ему сокровенно знакомых, возбудили бы в нем зависть



и желание написать еще лучше. Вместо этого он почувствовал такое теплое расположение к Дарвину, что даже стало щекотно в глазах. Когда же утром, идя на лекцию, он обогнал его на углу, то, не глядя ему в лицо, сказал, вполне корректно, что многое в книге ему понравилось, и молча пошел с ним рядом, подлаживаясь под его ленивый, но машистый шаг.

Аудитории рассеяны были по всему городу. Ежели одна лекция сразу следовала за другой и они читались в разных залах, то приходилось вскакивать на велосипед или поспешно топотать переулками, пересекать гулко мощенные дворы. Чистыми головами перекликались со всех башен куранты; по узким улицам несли грохот моторов, стрекотание колес, звонки. Во время лекций велосипеды сверкающим роем ластились к воротам, ожидая хозяев. На кафедру всходил лектор в черном плаще и со стуком клал на пюпитр квадратную шапку с кисточкой.

## XVI

Поступая в университет, Мартын долго не мог избрать себе науку. Их было так много, и все — занимательные. Он медлил на их окраинах, всюду находя тот же волшебный источник живой воды. Его волновал какой-нибудь повисший над альпийской бездною мост, одушевленная сталь, божественная точность расчета. Он понимал того впечатлительного археолога, который, расчистив ход к еще неизвестным гробам и сокровищам, постучался в дверь, прежде чем войти, и, войдя, упал в обморок. Прекрасны свет и тишина лабораторий: как хороший ныряльщик скользит сквозь воду с открыты-

ми глазами, так, не напрягая век, глядит физиолог на дно микроскопа, и медленно начинают багроветь его шея и лоб, — и он говорит, оторвавшись от трубки: «Всё найдено». Человеческая мысль, летающая на трапециях звездной вселенной, с протянутой под ней математикой, похожа была на акробата, работающего с сеткой, но вдруг замечающего, что сетки, в сущности, нет, — и Мартын завидовал тем, кто доходит до этого головокружения и новой выкладкой превозмогает страх. Предсказать элемент или создать теорию, открыть горный хребет или назвать нового зверя, — все было равно заманчиво. В науке исторической Мартыну нравилось то, что он мог ясно вообразить, и потому он любил Карлейля. Плохо запоминая даты и пренебрегая обобщениями, он жадно выискивал живое, человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которыми грядущие поколения, пожалуй, пресытятся, глядя на старые, морозящие фильмы наших времен. Он живо себе представлял дрожащий белый день, простоту черной гильотины и неуклюжую возню на помосте, где палачи тискают голоплечего толстяка, меж тем как в толпе добродушный гражданин поднимает под локотки любопытную, но низкорослую гражданку. Наконец, были науки довольно смутные: правовые, государственные, экономические туманы; они устрашали его тем, что искра, которую он во всем любил, была в них слишком далеко запрятана. Не зная; на что решиться, что выбрать, Мартын постепенно отстранил все то, что могло бы слишком ревниво его завлечь. Оставалась еще словесность. Были и в ней для Мартына намеки на блаженство; как пронзала пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом или грусть старого Лира, произносящего жеманные

имена дочерних левреток, лающих на него! Так же как в Новом Завете Мартын любил набрести на «зеленую траву», на «кубовый хитон», он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных, озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть. Читал он чрезвычайно много, но больше перечитывал, а в литературных разговорах бывали с ним несчастные случаи: он раз спутал, например, Плутарха с Петраркой и раз назвал Кальдерона шотландским поэтом. Расшевелить его удавалось не всякому писателю. Он оставался холоден, когда, по дядиному совету, читал Ламартина или когда сам дядя декламировал со всхлипом «Озеро», качая головой и удрученно приговаривая: «Comme c'est beau!» Перспектива изучать многословные, водянистые произведения и влияние их на другие многословные, водянистые произведения была мало прельстительна. Так бы он, пожалуй, ничего не выбрал, если б все время что-то не шептало ему, что выбор его несвободен, что есть одно, чем он заниматься обязан. В великолепную швейцарскую осень он впервые почувствовал, что в конце концов он изгнанник, обречен жить вне родного дома. Это слово «изгнанник» было сладчайшим звуком: Мартын посмотрел на черную еловую ночь, ощутил на своих щеках байронову бледность и увидел себя в плаще. Этот плащ он надел в Кембридже, даром что был он легонький, из прозрачноватой на свет материи, со многими сборками, и с крылатыми полурукавами, которые закидывались за плечи. Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его.

Профессором русской словесности и истории был в ту пору небезызвестный Арчибальд Мун. В России он прожил довольно долго, всюду побывал, всех знал, все перевидал. Теперь: черноволосый, бледный, в пенсне на тонком носу, он бесшумно проезжал на велосипеде с высоким рулем, сидя совсем прямо, а за обедом, в знаменитой столовой с дубовыми столами и огромными цветными окнами, вертел головой, как птица, и быстро, быстро крошил длинными пальцами хлеб. Говорили, единственное, что он в мире любит, это — Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал: «Справьтесь у Робертсона (это был востоковед), почему он не остался в Вавилоне». Возражали вполне резонно, что Вавилона уже нет. Мун кивал, тихо и хитро улыбаясь. Он усматривал в октябрьском перевороте некий отчетливый конец. Охотно допуская, что со временем образуется в Советском Союзе, пройдя через первобытные фазы, известная культура, он вместе с тем утверждал, что Россия завершена и неповторима, — что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло. Печной горшок, который там теперь обжигался, ничего общего с нею не имел. Гражданская война представлялась ему нелепой: одни бьются за призрак прошлого, другие за призрак будущего, — меж тем как Россию потихоньку украл Арчибальд Мун и запер у себя в кабинете. Ему нравилась ее завершенность. Она была расцвечена синевою вод и прозрачным пурпуром пушкинских стихов. Вот уже скоро два года, как он писал на английском языке ее историю, и надеялся всю ее уложить в один толстенький том. Эпиграф из Китса («Создание красоты — радость навеки»), тончайшая бумага,

мягкий сафьяновый переплет. Задача была трудная: найти гармонию между эрудицией и тесной живописной прозой, дать совершенный образ одного округлого тысячелетия.

## ХVII

Арчибалд Мун поразил и очаровал Мартына. Его медленный русский язык, из которого он годами терпения вытравил последний отзвук английской гортанности, был плавен, прост и выразителен. Его знания отличались живостью, точностью и глубиной. Он вслух читал Мартыну таких русских поэтов, коих тот не знал даже и по имени. Придерживая страницу длинными, чуть дрожащими пальцами, Арчибалд Мун источал четырехстопные ямбы. Комната была в полумраке, свет лампы выхватывал только страницу да лицо Муна, с бледным лоском на скулах, тремя тонкими бороздками на лбу и прозрачно-розовыми ушами. Дочитав, он сжимал узкие губы, осторожно, как стрекозу, снимал пенсне и замшей вытирал стекла. Мартын сидел на краешке кресла, держа свою черную квадратную шапку на коленях. «Ради Бога, снимите плащ, отложите куда-нибудь эту шапку,— болезненно морщась, говорил Мун.— Неужели вам нравится мять эту кисточку? Отложите, отложите...» Он подталкивал к Мартыну стеклянную папиросницу с гербом колледжа на серебряной крышке или вынимал из шкапа в стене бутылку виски, сифон, два стакана. «А вот скажите, как называются тамошние телеги, в которых развозят виноград? — спрашивал он, дергая головой, и, выяснив, что Мартын не знает: — Можары, можары, сэр», — говорил он со вкусом, — и неизве-

стно, что доставляло ему больше удовольствия, то ли, что он знает Крым лучше Мартына, или то, что ему удастся произнести с русским экающим выговором словечко «сэр». Он радостно сообщал, что «хулиган» происходит от названия шайки ирландских разбойников, а что остров Голодай не от голода, а от имени англичанина Холидея, построившего там завод. Когда однажды Мартын, говоря о каком-то невежественном журналисте (которому Мун ответил грозным письмом в «Таймс»), сказал, что «журналист, вероятно, сдрейфил», Мун поднял брови, справился в словаре и спросил Мартына, не жил ли он в Поволжье, — а когда, по другому случаю, Мартын употребил слово «угробить», Мун рассердился и крикнул, что такого слова по-русски нет и быть не может. «Я его слышал, его знают все», — робко проговорил Мартын, и его поддержала Соня, которая сидела на кушетке рядом с Ольгой Павловной и смотрела не без любопытства, как Мартын хозяйничает. «Русское словообразование, рождение новых слов, — сказал Мун, обернувшись вдруг к улыбающему Дарвину, — кончилось вместе с Россией, то есть два года тому назад. Все последующее — блатная музыка». «Я по-русски не понимаю, переведите», — ответил Дарвин. «Да, мы все время сбиваемся, — сказала Зиланова. — Это нехорошо. Пожалуйста, господа, по-английски». Мартын меж тем приподнял металлический купол с горячих гренок и пирожков (которые слуга принес из колледжской кантины), проверил, то ли доставили, и придвинул блюдо поближе к пылающему камину. Кроме Дарвина и Муна, он пригласил русского студента, которого все называли просто по имени — Вадим, — и теперь не знал, ждать ли его или приступать к чаепитию. Это было первый



раз, что Зиланова с дочерью приехала навестить его, и он все боялся насмешки со стороны Сони. Она была в темно-синем костюме и в крепких коричневых башмачках, длинный язычок которых, пройдя внутри, под шнуровкой, откидывался и, прикрывая шнуровку сверху, заканчивался кожаной бахромой; стриженные, жестковатые на вид черные волосы ровной челкой находили на лоб; к ее тускло-темным, слегка раскосым глазам странно шли ямки на бледных щеках. Утром, когда Мартын встретил ее и Ольгу Павловну на вокзале, и потом, когда он показывал им старинные дворы, фонтан, аллеи исполинских голых деревьев, из которых с карканьем тяжело и неряшливо вымахивали вороны, Соня была молчалива, чем-то недовольна, говорила, что ей холодно. Глядя через каменные перила на рябую речку, на матово-зеленые берега и серые башни, она прищурилась и осведомилась у Мартына, собирается ли он ехать к Юденичу. Мартын удивленно ответил, что нет. «А вон то, розоватое, что это такое?» «Это здание библиотеки», — объяснил Мартын и спустя несколько минут, идя рядом с Соней и ее матерью под аркадами, загадочно проговорил: «Одни бьются за призрак прошлого, другие — за призрак будущего». «Вот именно, — подхватила Ольга Павловна. — Мне мешает по-настоящему воспринимать Кембридж то, что наряду с этими чудными старыми зданиями масса автомобилей, велосипедов, спортивные магазины, всякие футболы». «В футбол, — сказала Соня, — играли и во времена Шекспира. А мне вот не нравится, что говорят пошлости». «Соня, пожалуйста, сократись,» — сказала Ольга Павловна. «Ах, я не про тебя», — ответила Соня со вздохом. Дальше шли молча. «Кажется, забусило», — проговорил Мартын, вы-

тянув руку. «Вы бы еще сказали пан Дождинский или князь Ливен», — заметила Соня и на ходу переменила шаг, чтоб идти в ногу с матерью. Потом, за завтраком в лучшем городском ресторане, она повеселела. Ее расмешили «обезьянья фамилия» приятеля Мартына и диалоги, которые Дарвин вел с необыкновенно уютным старичком-лакеем. «Вы что изучаете?» — любезно спросила Ольга Павловна. «Я? Ничего», — ответил Дарвин. — Мне просто показалось, что в этой рыбе на одну косточку больше, чем следует». — «Нет-нет, я спрашиваю, что вы изучаете из наук. Какие слушаете лекции.» — «Простите, я вас не понял», — сказал Дарвин. — Но все равно ваш вопрос застает меня врасплох. Память у меня как-то не дотягивает от одной лекции до другой. Еще нынче утром я спрашивал себя, каким предметом я занимаюсь. Мнемоникой? Вряд ли». После обеда была опять прогулка, но куда более приятная, так как, во-первых, вышло солнце, а во-вторых, Дарвин всех повел в галерею, где имелось, по его словам, странное, замечательно прыткое эхо, — топнешь, а оно, как мяч, стукнет в отдаленную стену. И Дарвин топнул, но никакого эха не выскочило, и он сказал, что, очевидно, его купил какой-нибудь американец для своего дома в Массачусете. Затем притекли к Мартыну в комнату, и вскоре явился Арчибалд Мун, и Соня тихо спросила у Дарвина, почему у профессора напудрен нос. Мун плавно заговорил, щеголяя чудесными сочными пословицами. Мартын находил, что Соня ведет себя нехорошо. Она сидела с каменным лицом, но вдруг невпопад смеялась, встретясь глазами с Дарвином, который, закинув ногу на ногу, уминал пальцем табак в трубке. «Что же это Вадим не идет?» — беспокойно сказал Мартын и потрогал полный бо-

чок чайника. «Ну, уж наливайте»,— сказала Соня, и Мартын завозился с чашками. Все умолкли и смотрели на него. Мун курил смугло-желтую папиросу из породы тех, которые в Англии зовутся русскими. «Часто пишет вам ваша матушка?» — спросила Зиланова. «Каждую неделю»,— ответил Мартын. «Она, поди, скучает»,— сказала Ольга Павловна и подула на чай. «А лимона, я как посмотрю, у вас и нет»,— тонко заметил Мун, опять по-русски. Дарвин вполголоса попросил Соню перевести. Мун на него покосился и перешел на английскую речь: нарочито и злобно изображая средний кембриджский тон, он сказал, что был дождь, но теперь прояснилось, и, пожалуй, дождя больше не будет, упомянул о-регате, обстоятельно рассказал всем известный анекдот о студенте, шкапе и кухне,— и Дарвин курил и кивал, приговаривая: «Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Вот он, подлинный, трезвый британец в часы досуга».

## XVIII

Раздался топот на лестнице, и, с размаху открыв дверь, вошел Вадим. Одновременно его велосипед, который он оставил в переулке, приладив опущенную педаль к краю панели, с дребезжанием упал,— этот звон все слышали, ибо второй этаж находился на пустяковой высоте. Руки у Вадима, маленькие, с обгрызанными ногтями, были красны от холода рулевых рогов. Лицо, покрытое необыкновенно нежным и ровным румянцем, выражало оторопелое смущение; он его скрывал, быстро дыша, словно запыхался, да потягивая носом, в котором всегда было сыро. Был он одет в мятые блед-

но-серые фланелевые штаны, в прекрасно сшитый коричневый пиджак и носил всегда, во всякую погоду и во всякое время, старые бальные туфли. Продолжая посапывать и растерянно улыбаться, он со всеми поздоровался и подсел к Дарвину, которого очень любил и почему-то прозвал «мамкой». У Вадима была одна постоянная прибаутка, которую он Дарвину с трудом перевел: «Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку маленькую сучку», — и на последних словах голос у него становился совсем тонким. Вообще же он говорил скоро, отрывисто, издавая при этом всякие добавочные звуки, шипел, трубил, пищал, как дитя, которому не хватает ни мыслей, ни слов, а молчать не вмоготу. Когда же он бывал смущен, то становился еще отрывистее и нелепее, производя смешанное впечатление застенчивого тихони и чудачливого ребенка. Был он, впрочем, милый, привязчивый, привлекательный человек, падкий на смешное и способный живо чувствовать (однажды, гораздо позже, катаясь весенним вечером с Мартыном по реке, он, при случайном, смутном, почему-то миртовом дуновении — Бог весть откуда, — сказал: «пахнет Крымом», что было совершенно верно). Англичане к нему так и льнули, а его колледжский наставник, толстый астматический старик, специалист по моллюскам, с гортанной нежностью произносил его имя и снисходительно относился к его шалопайству. Как-то, в темную ночь, Мартын и Дарвин помогли Вадиму снять с чела табачной лавки вывеску, которая с тех пор красовалась у него в комнате. Он добыл и полицейский шлем, простым и остроумным способом: за полкроны, блеснувшие при луне, попросил добродушного полицейского пособить ему перебраться через стену

и, оказавшись наверху, нагнулся и сдернул с него шлем. Он же был зачинщиком в случае с огненной колесницей, когда, празднуя годовщину порохового заговора, весь город плевался потешными огнями и на площади бушевал костер, а Вадим со товарищи запряглись в старое ландо, которое купили за два фунта, наполнили соломой и подожгли,— с этим ландо они мчались по улицам в метели огня и чуть не спалили ратушу. Кроме всего, он был отличным сквернословом,— одним из тех, которые привяжутся к рифмочке и повторяют ее без конца, любят уютные матюжки, ласкательную физиологию и обрывки каких-то анонимных стихов, приписываемых Лермонтову. Образованием он не блистал, по-английски говорил очень смешно и симпатично, но едва понятно, и была у него одна страсть,— страсть к флоту, к минносцам, к батальной стройности линейных кораблей, и он мог часами играть в солдатики, паля горохом из серебряной пушки. Его прибаутки, бальные туфли, застенчивость и хулиганство, нежный профиль, обведенный на свету золотистым пушком,— все это, в сочетании с великолепием титула, действовало на Арчибальда Муна неотразимо, разымчиво, вроде шампанского с соленым миндалем, которым он некогда упивался,— одинокий бледный англичанин в запотевшем пенсне, слушающий московских цыган. Но сейчас, сидя у камина с чашкой в руке, Мун грыз маслом пропитанный гренок, и Ольга Павловна рассказывала ему о газете, которую собирается выпускать в Париже ее муж. Мартын же с тревогой думал, что напрасно позвал Вадима, который молчал, стесняясь Сони, и все щелкал исподтишка в Дарвина изюминками, заимствованными у кекса. Соня приумолкла тоже и задумчиво смотрела на пианолу. Дарвин с

развальцем подошел к камину, выбил золу из трубки и, став спиной к огню, принялся греться. «Мамка», — тихо сказал Вадим и засмеялся. Ольга Павловна с жаром говорила о делах, которые Муна нимало не трогали. За окном потемнело, где-то далеко кричали мальчишки-газетчики: «Пайпа, пайпа!»

## ХІХ

Затем провожали Зилановых на вокзал. Арчибальд Мун попрощался на первом же углу и, нежно улыбнувшись Вадиму (который за его спиной обычно звал его заборным словом с дополнением «на колесиках»), удалился, держась очень прямо. Некоторое время Вадим тихо ехал вдоль самой панели, положив руку на плечо к Дарвину, шедшему рядом, а потом суетливо простился и быстро отъехал, производя губами звуки испорченного гудка. Пришли на вокзал, Дарвин взял себе и Мартыну перронные билеты. Соня была усталая, раздраженная и все время шурилась. «Ну, вот, — сказала Ольга Павловна. — Спасибо за гостеприимство, за угощение. Кланяйтесь матушке, когда будете писать».

Но Мартын поклона не передал, — такие вещи передаются редко. Вообще письма он писал с трудом: как рассказать, например, о сегодняшнем дне? Он намарал строк десять, воспроизвел анекдот о студенте, шкапе и кухне, уверил мать, что совершенно здоров, хорошо питается и носит на теле фуфайку (что было неправдой). Ему вдруг представилось, как почтальон идет по снегу, снег похрустывает, остаются синие следы, — и он об этом



написал так: «Письмо принесет почтальон. У нас идет дождь.» Подумавши, он почтальона вычеркнул и оставил только дождь. Адрес он выписал крупно и тщательно, в десятый раз вспомнив при этом то, что ему сказал знакомый студент: «Судя по фамилье, я полагал, что вы американец». Он пожалел, что всякий раз забывал это втиснуть в письмо, неизменно уже запечатанное,— вскрывать же было лень. В углу конверта он нечаянно поставил кляксу и долго смотрел на нее сквозь ресницы, и наконец сделал из нее черную кошку, видимую со спины. Софья Дмитриевна этот конверт сохранила вместе с письмами. Она складывала их в пачку, когда кончался биместр, и обвязывала накрест ленточкой. Спустя несколько лет ей довелось их перечесть. Первый биместр был сравнительно богат письмами. Вот Мартын приехал в Кембирдж, вот — первое упоминание о Дарвине, Вадиме, Арчибальде Муне, вот — письмо от девятого ноября, дня его именин: «В этот день,— писал Мартын,— гусь ступает на лед, а лиса меняет нору». А вот и письмо с вычеркнутой, но четкой строкой: «Письмо принесет почтальон»,— и Софья Дмитриевна пронзительно вспомнила, как, бывало, она с Генрихом идет по искрящейся дороге, между елок, отягощенных пирамидами снега, и вдруг — густой звон бубенцов, почтовые сани, письмо,— и поспешно снимаешь перчатки, чтобы вскрыть конверт. Она вспомнила, как в ту пору, и затем в продолжение почти года, безумно боялась, что Мартын, ничего ей не сказав, отправится воевать. Ее немного утешало, что там, в Кембридже, есть какой-то человек-ангел, который влияет на Мартына умиротворительно — прекрасный, здравомыслящий Арчибальд Мун. Но Мартын все-таки мог удрать. Полный покой она знала только

тогда, когда сын бывал при ней, в Швейцарии, на каникулах. Письма, которые она спустя годы так мучительно перечитывала, были, несмотря на их вещественность, более призрачного свойства, нежели перерывы между ними. Эти перерывы память заполняла живым присутствием Мартына, — тут Рождество, там Пасха, а там уже — лето, — и в продолжение трех лет, до окончания Мартыном университета, ее жизнь шла как бы окнами, — да, помнится, помнится, — окнами. Вот — этот первый зимний праздник, лыжи, по ее совету купленные Генрихом, Мартын, надевающий лыжи... «Надо быть храброй, — тихо сказала самой себе Софья Дмитриевна, — надо быть храброй. Ведь бывают чудеса. Надо только верить и ждать. Если Генрих опять появится с этой черной повязкой на рукаве, я от него просто уйду». И дрожащими руками, улыбаясь и обливаясь слезами, она продолжала разворачивать письма.

То первое рождественское возвращение, которое его мать запомнила так живо, оказалось и для Мартына праздником. Ему мерещилось, что он вернулся в Россию, — было все так бело, — но, стесняясь своей чувствительности, он об этом матери тогда не поведал, чем лишил ее еще одного нестерпимого воспоминания. Лыжи ему понравились; на мгновение всплыл занесенный снегом Крестовский остров, но, правда, он тогда вставлял носки валенок в простые пульца, да еще держался за поводок, привязанный ко вздернутым концам легких детских лыж. Эти же были настоящие, солидные, из гибкого ясеня, и сапоги тоже были настоящие, лыжные. Мартын, склонив одно колено, натянул запяточный ремень, отогнув тугой рычажок боковой пряжки. Морозный металл ужалил пальцы. Приладив и другую лыжу, он поднял со снега перчатки, выпрямил-

ся, потопал, проверяя, прочно ли, и размашисто скользнул вперед.

Да, он опять попал в Россию. Вот эти великолепные ковры — из пушкинского стиха, который столь звучно читает Арчибальд Мун, упиваясь пеонами. Над отяжелевшими елками небо было чисто и ярко-лазурно. Иногда от перелета сойки срывался с ветки ком снега и рассыпался в воздухе. Пройдя сквозь бор, Мартын вышел на открытое место, откуда летом спускался к гостинице. Вон она — далеко внизу, прямой розовый дымок стоит над крышей. Чем она манит так, эта гостиница, отчего надо опять стремиться туда, где летом он нашел только несколько крикливых угловатых англичаночек? Но манила она несомненно, подавала тихий знак, солнце вспыхивало в окнах. Мартына даже пугала эта таинственная навязчивость, эта непонятная требовательность, бывшая у какой-нибудь подробности пейзажа. Надо спуститься, — нельзя пренебрегать такими посулами. Крепкий наст сладко засвистел под лыжами, Мартын несясь по скату все быстрее, — и сколько раз потом, во сне, в студеной кембриджской комнате, он вот так несясь и вдруг, в оглушительном взрыве снега, падал и просыпался. Все было как всегда. Из соседней комнаты доносилось тиканье часов. Мышка катала кусок сахара. По панели прошли чьи-то шаги и пропали. Он поворачивался на другой бок и мгновенно засыпал, — и утром, в полусне, слышал уже другие звуки: в соседней комнате возилась госпожа Ньюман, что-то переставляла, накладывала уголь, чиркала спичками, шуршала бумагой и потом уходила, а тишина медленно и сладко наливалась утренним гудом затопленного камина. «Ничего там особенного не оказалось, — подумал Мартын и потянулся

к ночному столику за папиросами.— Все больше пожилые мужчины в свитерах: вот какие бывают обманы. А сегодня суббота, покатам в Лондон. Что это Дарвину все письма от Сони? Надо бы из него выдавить. Хорошо бы сегодня пропустить лекцию Гржезинского. Вот идет стерва будить».

Госпожа Ньюман принесла чай. Была она старая, рыжая, с лисьими глазками. «Вы вчера вечером выходили без плаща,— проговорила она равнодушно.— Мне об этом придется доложить вашему наставнику». Она отдернула шторы, дала короткий, но точный отзыв о погоде и скользнула прочь.

Надев халат, Мартын спустился по скрипучей лестнице и постучался к Дарвину. Дарвин, уже побритый и вымытый, ел яичницу с беконом. Толстый учебник Маршала по политической экономии лежал, раскрытый, около тарелки. «Сегодня опять было письмо?» — строго спросил Мартын. «От моего портного», — ответил Дарвин, вкусно жуя. «У Сони неважный почерк», — заметил Мартын. «Отвратительный», — согласился Дарвин, хлебнув кофе. Мартын подошел сзади и, обеими руками взяв Дарвина за шею, стал давить. Шея была толстая и крепкая. «А бекон прошел», — произнес Дарвин самодовольно натуженным голосом.

## XX

Вечером оба покатали в Лондон. Дарвин ночевал в одной из тех очаровательных двухкомнатных квартир для холостяков, которые сдаются при клубах, — а клуб Дарвина был одним из лучших и степеннейших в Лондоне, с тучными кожаными креслами, с лоснистыми журналами на столах, с

глухонемыми коврами. Мартыну же досталась на этот раз одна из верхних спален в квартире Зилановых, так как Нелли была в Ревеле, а ее муж шел на Петербург. Когда Мартын прибыл, никого не оказалось дома, кроме самого Зиланова, Михаила Платоновича, который писал у себя в кабинете. Был он коренастый крепыш, с татарскими чертами лица и с такими же темно-тусклыми глазами, как у Сони. Он всегда носил круглые пристяжные манжеты и манишку; манишка топорщилась, придавая его груди нечто голубиное. Принадлежал он к числу тех русских людей, которые, проснувшись, первым делом натягивают штаны с болтающимися подтяжками, моют по утрам только лицо, шею да руки, — но зато отменно, — а еженедельную ванну рассматривают как событие, сопряженное с некоторым риском. На своем веку он немало покатался, страстно занимался общественностью, мыслил жизнь в виде чередования съездов в различных городах, чудом спасся от советской смерти и всегда ходил с разбухшим портфелем; когда же кто-нибудь задумчиво говорил: «Как мне быть с этими книжками? — дождь», — он молча, молниеносно и чрезвычайно ловко пеленал книжки в газетный лист, а, порывшись в портфеле, вынимал и веревочку, мгновенно крест-накрест захватывал ею ладный пакет, на который незадачливый знакомый, переминаясь с ноги на ногу, смотрел с суеверным умилением. «На-те», — говорил Зиланов и, поспешно простившись, уезжал — в Орел, в Кострому, в Париж, — и всегда налегке, с тремя чистыми носовыми платками в портфеле, и, сидя в вагоне, совершенно слепой к живописным местам, мимо которых, с доверчивым старанием потрафить, неся курьерский поезд, углублялся в чтение брошюры, изредка делая по-

метки на полях. Дивясь его невнимательности к пейзажам, к удобствам, к чистоте, Мартын вместе с тем уважал Зиланова за его какую-то прущую суховатую смелость и всякий раз, когда видел его, почему-то вспоминал, что этот, по внешности малоспортивный человек, играющий, вероятно, только на бильярде да еще, пожалуй, в рюхи, спасся от большевиков по водосточной трубе и когда-то дрался на дуэли с октябристом Тучковым.

«А, здравствуйте,— сказал Зиланов и протянул смуглую руку.— Присаживайтесь». Мартын сел. Михаил Платонович впился опять в полуисписанный лист, взялся за перо и,— потрепетав им по воздуху над самой бумагой, прежде чем претворить эту дрожь в быстрый бег письма,— одновременно дал перу волю и сказал: «Они, вероятно, сейчас вернутся». Мартын притянул к себе с соседнего стула газету,— она оказалась русской, издаваемой в Париже. «Как занятия?» — спросил Зиланов, не поднимая глаз с ровно бегущего пера. «Ничего, хорошо»,— сказал Мартын и отложил газету. «А давно они ушли?» Михаил Платонович ничего не ответил,— перо разгулялось вовсю. Зато минуты через две он опять заговорил, все еще не глядя на Мартына. «Баклуши бьете. Там ведь главное — спорт». Мартын усмехнулся. Михаил Платонович быстро потопал по строкам пресс-бюваром и сказал: «Софья Дмитриевна все просит у меня дополнительных сведений, но я ничего больше не знаю. Все, что я знал, я ей тогда написал в Крым». Мартын кашлянул. «Что вы?» — спросил Зиланов, усвоивший в Москве это дурное речение. «Я ничего»,— ответил Мартын. «Это о смерти вашего отца, конечно»,— сказал Зиланов и посмотрел тусклыми глазами на Мартына.— Ведь это я известил вас



тогда». «Да-да, я знаю», — поспешно закивал Мартын, всегда чувствовавший неловкость, когда чужие — с самыми лучшими намерениями — говорили ему об его отце. «Как сейчас, помню последнюю встречу, — продолжал Зиланов. — Мы столкнулись на улице. Я тогда уже скрывался. Сперва не хотел подойти. Но у Сергея Робертовича был такой потрясающий вид. Помню, он очень беспокоился, как вы там живете, в Крыму. А через денька три забегаю к нему, и нате вам — несут гроб». Мартын кивал, мучительно ища способ переменить разговор. Все это Михаил Платонович рассказывал ему в третий раз, и рассказ был, в общем, довольно бледный. Зиланов замолчал, перевернул лист, его перо подрожало и тронулось. Мартын, от нечего делать, опять потянулся к газете, но тут щелкнула парадная дверь, раздались в прихожей голоса, шарканье, ужасный кудахтающий смех Ирины.

## XXI

Мартын вышел к ним, и, как обычно при встрече с Соней, мгновенно почувствовал, что потемнел воздух вокруг него. Так было и в ее последний приезд в Кембридж (вместе с Михаилом Платоновичем, который мучил Мартына вопросами, сколько лет различным колледжам и сколько книг в библиотеке, — меж тем как Соня и Дарвин о чем-то тихо смеялись), так было и сейчас: странное отупение. Его голубой галстук, острые концы мягкого отложного воротничка, двубортный костюм, — все было как будто в порядке, однако Мартыну под непроницаемым взглядом Сони показалось, что одет он дурно, что волосы торчат на макушке, что плечи

у него как у ломового извозчика, а лицо — глупо своей круглотой. Отвратительны были и крупные костяшки рук, которые за последнее время покраснели и распухли — от голкиперства, от боксовой учебы. Прочное ощущение счастья, как-то связанное с силой в плечах, со свежей гладкостью щек или недавно запломбированным зубом, распадалось в присутствии Сони мгновенно. И особенно глупым казалось ему то, что, собственно говоря, брови у него кончаются на полпути, густоваты только у переносицы, а дальше, по направлению к вискам, удивленно редеют.

Сели ужинать. Елена Павловна, такая же сырая женщина, как ее сестра, но еще реже улыбавшаяся, привычно и незаметно следила за тем, чтобы Ирина пристойно ела, не слишком ложилась на стол и не лизала ножа. Михаил Платонович явился чуть позже, быстро и энергично заложил угол салфетки за воротник и, 'слегка привстав, цапнул через весь стол булочку, которую мгновенно разрезал и смазал маслом. Его жена читала письмо из Ревеля и, не отрываясь от чтения, говорила Мартыну: «Кушайте, пожалуйста». Слева от него корячилась большеротая Ирина, чесала под мышкой и мычала, объясняясь в любви холодной баранине; справа же сидела Соня: ее манера брать соль на кончик ножа, стриженные черные волосы с жестким лоском и ямка на бледной щеке чем-то несказанно его раздражали. После ужина позвонил по телефону Дарвин, предложил поехать танцевать, и Соня, поломавшись, согласилась. Мартын пошел переодеваться и уже натягивал шелковые носки, когда Соня сказала ему через дверь, что устала и никуда не поедет. Через полчаса приехал Дарвин, очень веселый, большой и нарядный, в цилиндре на-

бекрень, с билетами на дорогой бал в кармане, и Мартын сообщил ему, что Соня раскисла и легла,— и Дарвин, выпив чашку остывшего чаю, почти естественно зевнул и сказал, что в этом мире всё к лучшему. Мартын знал, что он приехал в Лондон с единственной целью повидать Соню, и, когда Дарвин, насвистывая, в ненужном цилиндре и крылатке, стал удаляться по пустой темной улице, Мартыну сделалось очень обидно за него, и, тихо прикрыв входную дверь, он поплелся наверх спать. В коридоре выскочила к нему Соня, одетая в кимоно и совсем низенькая, оттого что была в ночных туфлях. «Ушел?» — спросила она. «Большое свинство», — вполголоса заметил Мартын, не останавливаясь. «Могли бы его задержать», — сказала она вдогонку и скороговоркой добавила: — А вот я возьму и позвоню ему и поеду плясать, вот что». Мартын ничего не ответил, захлопнул дверь, яростно вычистил зубы, раскрыл постель, словно хотел из нее кого-то выкинуть, и, поворотом пальцев прикончив свет лампы, накрылся с головой. Но и сквозь одеяло он услышал спустя некоторое время поспешные шаги Сони по коридору, стук ее двери, — не может быть, чтоб она действительно ходила вниз телефонировать, — однако он прислушался, и снова было затишье, и вдруг опять зазвучали ее шаги, и уже звук был другой, — легкий, даже воздушный. Мартын не выдержал, высунулся в коридор и увидел, как Соня вприпрыжку спускается вниз по лестнице, в бальном платье цвета фламинго, с пушистым веером в руке и с чем-то блестящим вокруг черных волос. Дверь ее комнаты осталась открытой, света она не потушила, и там еще стояло облачко пудры, как дымок после выстрела, лежал наповал убитый чулок, и выпадали на ковер разноцветные внутренности шкапа.

Вместо радости за друга Мартын почувствовал живейшую досаду. Все было тихо. Только из спальни Зилановых исходил томительный храп. «Черт ее побери», — пробормотал он и некоторое время рассуждал сам с собой, не отправиться ли ему тоже на бал, — ведь было три билета. Он увидел себя взлетающим по мягким ступеням, в смокинге, в шелковой рубашке с набористой грудью, как носили франты в тот год, в легких лаковых туфлях с плоскими бантами; вот — из раскрывшихся дверей пахнуло огнем музыки. Упругий и нежный нажим мягкой женской ноги, которая все поддается и все продолжает касаться тебя, душистые волосы у самых губ, щека, оставляющая на шелковом лацкане налет пудры, — все это извечное, нежное, банальное волновало Мартына чрезвычайно. Он любил танцевать с незнакомой дамой, любил пустой, целомудренный разговор, сквозь который прислушиваешься к тому чудному, невнятному, что происходит в тебе и в ней, что будет длиться еще два-три такта и, ничем не разрешившись, пропадет навеки, забудется совершенно. Но, пока слияние еще не расторгнуто, намечается схема возможной любви, и в зачатке тут уже есть все, — внезапное затишье в полутемной комнате, человек, дрожащей рукой прилаживающий к пепельнице только что закуренную, мешающую папиросу; медленно, как в кинематографе, закрывающиеся женские глаза; и блаженный сумрак; и в нем — точка света, блестящий дорожный лимузин, быстро несущийся сквозь дождливую ночь; и вдруг — белая терраса и солнечная рябь моря, — и Мартын, тихо говорящий увезенной им женщине: «Имя? Как твое имя?» На ее светлом платье играют лиственные тени, она встает, уходит; и крупье с хищным лицом загребает лопаткой по-

следнюю ставку Мартына, и остается только засунуть руки в пустые карманы смокинга, да медленно спуститься в сад, да наняться поутру портовым грузчиком, — и вот — она снова... на борту чужой яхты... сияет, смеется, бросает монеты в воду...

«Странная вещь, — сказал Дарвин, выходя как-то вместе с Мартином из маленького кембриджского кинематографа, — странная вещь: ведь все это плохо, и вульгарно, и не очень вероятно, — а все-таки чем-то волнуют эти ветреные виды, роковая дама на яхте, оборванный мужлан, глотающий слезы...»

«Хорошо путешествовать, — проговорил Мартын. — Я хотел бы много путешествовать».

Этот обрывок разговора, случайно уцелевший от одного апрельского вечера, припомнился Мартыну, когда, в начале летних каникул, уже в Швейцарии, он получил письмо от Дарвина с Тенериффы. Тенериффа — Боже мой! — какое дивное зеленое слово! Дело было утром; сильно подурневшая и как-то распухшая Мария стояла в углу на коленях и выжимала половую тряпку в ведро; над горами, цепляясь за вершины, плыли большие белые облака, и порою несколько дымных волокон спускалось по дальнему скату, и там, на этих скатах, все время менялся свет, — приливы и отливы солнца. Мартын вышел в сад, где дядя Генрих в чудовищной соломенной шляпе разговаривал с деревенским аббатом. Когда аббат, маленький человек в очках, которые он все поправлял большим и пятым пальцем левой руки, низко поклонился и, шурша черной рясой, прошел вдоль сияющей белой стены и сел в таратайку, запряженную толстой, розовой лошадью, сплошь в мелкой горчице, Мартын сказал: «Тут прекрасно, я обожаю эти места, но почему бы мне — ну хотя

бы на месяц — не поехать куда-нибудь, — на Канарские острова, например?»

«Безумие, безумие, — ответил дядя Генрих с испугом, и его усы слегка затопорщились. — Твоя мать, которая так тебя ждала, которая так счастлива, что ты остаешься с ней до октября, — и вдруг — ты уезжаешь...»

«Мы бы могли все вместе», — сказал Мартын.

«Безумие, — повторил дядя Генрих. — Потом, когда ты кончишь учиться, я не возражаю. Я всегда считал, что молодой человек должен видеть мир. Помни, что твоя мать только теперь оправляется от потрясений. Нет, нет, нет».

Мартын пожал плечами и, засунув руки в карманы коротких штанов, побрел по тропинке, ведущей к водопаду. Он знал, что мать ждет его там, у грота, полузавешенного еловой хвоей, — так было условлено, — она выходила гулять очень рано и, не желая будить Мартына, оставляла для него записку: «У грота, в десять часов» или «У ключа, по дороге в Сен-Клер»; но, хотя он знал, что она ждет, Мартын вдруг переменял направление и, покинув тропу, пошел по вереску вверх.

## XXII

Склон становился все круче, пекло солнце, мухи норовили сесть на губы и глаза. Дойдя до круглой березовой рощицы, он отдохнул, выкурил папиросу, ту же подтянул завороченные под коленями чулки и, жуя березовый листок, стал подниматься дальше. Вереск был хрустящий и скользкий; иногда колючий кустик утесника цеплялся за ногу. Спереди, наверху, сверкало нагроможде-



ние скал, и между ними пролегал желоб, верная трещина, полная мелких камушков, которые пришли в движение, как только он на них ступил. Этим путем нельзя было добраться до вершины, и Мартын пошел лезть прямо по скалам. Иногда корни или моховые лапки, за которые он хватался, отрывались от скалы, и он лихорадочно искал под ногой опоры, или же, наоборот, что-то поддавалось под ногами, он повисал на руках, и приходилось мучительно подтягиваться вверх. Он уже почти достиг вершины, когда вдруг поскользнулся и начал съезжать, цепляясь за кустики жестких цветов, не удержался, почувствовал жгучую боль оттого, что коленом поскреб по скале, попытался обнять скользящую вверх крутизну, и вдруг что-то спасительное толкнуло его под подошвы. Он оказался на выступе скалы, на каменном карнизе, который справа суживался и сливался со скалой, а с левой стороны тянулся саженой на пять, заворачивал за угол, и что с ним было дальше — неизвестно. Карниз напоминал бутафорию кошмаров. Мартын стоял, плотно прижавшись к отвесной скале, по которой грудью проехался, и не смел отлепиться. С натугой посмотрев через плечо, он увидел чудовищный обрыв, сияющую, солнечную пропасть и в глубине панику отставших елок, бегом догоняющих спустившийся бор, а еще ниже — крутые луга и крохотную, ярко-белую гостиницу. «Ах, вот ее назначение, — суеверно подумал Мартын. — Сорвусь, погибну, вот она и смотрит. Это... Это...» Одинаково ужасно было смотреть туда, в пропасть, и наверх, на отвесную скалу. Полка, шириной с книжную, под ногами и бугристое место на скале, куда вцепились пальцы, было все, что оставалось Мартыну от прочного мира, к которому он привык.

Он почувствовал слабость, мутность, тошный

страх,— но вместе с тем странно-отчетливо видел себя как бы со стороны, в открытой фланелевой рубашке и коротких штанах, неуклюже прильнувшим к скале, отмечал чертополошинку, приставшую к чулку, и совсем черную бабочку, которая с завидной небрежностью пропорхнула тихим чертенком и стала подниматься вдоль скалы,— и хотя никого не было кругом, перед кем стоило бы пофорсить, Мартын стал насвистывать и, дав себе слово никак не отвечать на приглашения пропасти, принялся медленно переставлять ноги, подвигаясь влево. Ах, если б видать, куда заворачивает карниз! Скала как будто надвигалась на него, оттесняла в бездну, нетерпеливо дышавшую ему в спину. Ногти впивались в камень, камень был горяч, синели пучки цветов, неполной восьмеркой пробежала ящерица и застывала, мухи лезли в глаза. Иногда приходилось останавливаться, и он слышал, как самому себе жалуется,— не могу больше, не могу,— и тогда, поймав себя на этом, он начинал издавать губами зачаточный мотив — фокстрот или марсельезу,— после чего облизывался и, опять жалуясь, продолжал продвигаться вбок. Оставалось полсажени до заворота, когда что-то посыпалось из-под подошвы, и, вцепившись в скалу, он невольно повернул голову, и в солнечной пустоте медленно закружилось белое пятнышко гостиницы. Мартын закрыл глаза и замер, но, справившись с тошнотой, опять задвигался. У поворота он быстро сказал: «Пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста»,— и просьба его была тотчас уважена: за поворотом полка расширялась, переходила в площадку, а там уже был знакомый желоб и вересковый скат.

Там он отдышался, ощущая во всем теле ломоту и дрожь. Ногти были темно-красные, словно он

рвал клубнику, и горело ободранное колено. Опасность, которую он только что пережил, казалась ему куда действительно той, на которую он напоролся в Крыму. Теперь он испытывал гордость, но эта гордость вдруг утратила всякий вкус, когда Мартын спросил себя, мог ли бы он снова, уже по собственному почину, проделать то, что он проделал случайно. Через несколько дней он не выдержал, опять поднялся по вересковым кручам, но, добравшись до площадки, откуда начинался карниз, не решился на него ступить. Он сердился, науськивал себя, издевался над своей трусостью, воображал Дарвина, глядящего на него с усмешкой... постоял, постоял, да махнул рукой, да пошел назад, стараясь не обращать внимания на грубияна, буйствовавшего у него в душе. Вновь и вновь, до самого конца каникул, врывался тот и буянил, и Мартын решил, наконец, больше не подниматься в те места, чтобы не мучиться видом каменной полки, по которой не смеет пройти. И с язвительным чувством недовольства собой он в октябре вернулся в Англию и прямо с вокзала поехал к Зилановым. Горничная, которая ему открыла, оказалась новой, и это было неприятно, словно он попал к чужим. В гостиной, вся в черном, стояла Соня и поглаживала виски, а потом, резко и прямо, по привычке своей, протянула ему руку. Мартын с удивлением подумал, что ни разу не вспомнил её за лето, ни разу ей не написал, а что все-таки, — вот ради этой неловкости, которую он чувствует, глядя на ее хмурое, бледное лицо, — стоит проделать немалый путь. «Вы, вероятно, не знаете о нашем несчастье», — сказала Соня и как-то сердито рассказала, что на прошлой неделе, в один и тот же день, пришло известие, что Нелли умерла от родов в Бриндизи, а муж ее убит в Крыму.

«Ах, он поехал от Юденича к Врангелю», — бес-  
помощно сказал Мартын и с редкой ясностью пред-  
ставил себе этого Неллиного мужа, которого видел  
всего раз, и самое Нелли, казавшуюся ему тогда  
скучной, пресной, а теперь почему-то умершей в  
Бриндизи. «Мама в ужасном состоянии», — сказала  
Соня, перелистывая страницы книги, которая валя-  
лась на диване. «А папа Бог знает где побывал,  
чуть ли не в Киеве», — добавила она погодя и, за-  
хватив первым пальцем несколько страниц, быстро  
их процедила. Мартын сел в кресло, потирая руки.  
Соня захлопнула книгу и сказала, подняв лицо:  
«Дарвин был идеален, идеален. Он страшно нам  
помог. Такой трогательный, и так все без лишних  
слов. Вы у нас ночуете?» — «Собственно говоря, —  
ответил Мартын, — я бы мог и нынче поехать в  
Кембридж. Наверно, вам неудобно, и так далее». —  
«Да нет, ерунда какая», — сказала Соня со вздохом.  
Внизу раздался глухой звон гонга, и это не вязалось  
с тем, что в доме траур. Мартын пошел мыть руки,  
и, открыв дверь уборной, столкнулся с Михаилом  
Платоновичем, у которого не в обычае было запи-  
раться на ключ. Он посмотрел на Мартына тусклым  
взглядом, неторопливо вжимая пуговку в петлю.  
«Примите мое глубокое соболезнование», — пробормо-  
тал Мартын и почему-то щелкнул каблуками.  
Зиланов прикрыл глаза в знак признательности, по-  
жал Мартыну руку и то, что все это происходит на  
пороге уборной, подчеркивало нелепость рукопожа-  
тия и готовых слов. Зиланов, подпрыгивая ногами,  
словно утряхивая что-то, медленно удалился; Мар-  
тын увидел в зеркало свой болезненно сморщенный  
нос. «Но я же должен был что-нибудь сказать», —  
проговорил он сквозь зубы.

Обед прошел молчаливо, если не считать шум-

ное присасывание, с которым Михаил Платонович ел суп. Ирина с матерью была в загородной санатории, а Ольга Павловна к обеду не вышла, так что сидели втроем. Позвонил телефон, и Зиланов, жуя на ходу, проворно ушел в кабинет. «Я знаю, вы баранину не любите», — тихо сказала Соня, — и Мартын молча улыбнулся, чуть-чуть приглушая улыбку. «Зайдет Иоголевич, — сказал Михаил Платонович, вновь садясь за стол. — Он только что из Питера. Дай горчицу. Говорят, что перешел границу в саване». «На снегу незаметнее», — через минуту выговорил Мартын, чтобы поддержать беседу, но беседы не вышло.

### XXIII

Иоголевич оказался толстым, бородастым человеком в сером вязаном жилете и в потрепанном черном костюме, с перхотью на плечах. Торчали ушки черных ботинок на лястиках, а сквозь неподтянутые носки брезжили завязки подштанников; его полная невнимательность к вещам, к ручке кресла, по которой он похлопывал, к толстой книжке, на которую он сел и которую без улыбки вынул из-под себя и, не посмотрев на нее, отложил, — все это указывало на его тайное родство с самим Зилановым. Кивая большой, кудреватой головой, он только кратко поцокал языком, узнав о горе Зилановых, и затем, с места в карьер, мазнув ладонью сверху вниз по грубо скроенному лицу, пустился в повествование. Было очевидно, что единственное, чего он полон, единственное, что занимает его и волнует, — это беда России, и Мартын с содроганием представлял себе, что было бы, если б взять

да перебить его бурную, напряженную речь анекдотом о студенте и кузине. Соня сидела поодаль, оперев локти на колени, а лицо на ладони. Зиланов слушал, положив палец вдоль носа, и изредка говорил, снимая палец: «Простите, Александр Наумович, но вот вы упомянули...» Иголевич на мгновение останавливался, моргал и затем продолжал говорить, и его лепное лицо замечательно играло, беспрестанно меняя выражение,— играли косматые брови, ноздри грушеобразного носа, складки волосатых щек, между тем как руки его, с черной шерстью на тыльной стороне, ни одной секунды не оставались в покое, что-то поднимали, подбрасывали, схватывали опять, расшвыривали во все стороны, и жарко, с раскатами, он говорил о казнях, о голоде, о петербургской пустыне, о людской злобе, скудоумии и пошлости. Ушел он за полночь, и уже с порога вдруг обернулся и спросил, сколько стоят в Лондоне галоши. Когда закрылась за ним дверь, Зиланов остался некоторое время стоять в раздумье и, погодя, ушел наверх, к жене. Через три минуты раздался звонок: Иголевич вернулся; оказалось, что он не знает, как дойти до станции подземной дороги. Мартын взялся его проводить и, шагая рядом с ним, мучительно придумывал тему для разговора. «Напомните вашему отцу,— я совсем забыл передать,— что Максимов просит поскорее его статью о добровольческих впечатлениях,— вдруг сказал Иголевич,— он знает, в чем дело,— вы только передайте, Максимов уже вашему отцу писал». «Непременно»,— ответил Мартын, хотел что-то добавить, но осекся.

Он не спеша вернулся в дом,— представляя себе то Иголевича, в белом балахоне, переходящим границу, то Зиланова с портфелем на какой-то разру-



шенной станции, под украинскими звездами. Все было тихо в доме, когда он поднимался по лестнице. Раздеваясь, он позевывал и чувствовал странную тоску. Ярко горела лампочка на ночном столике, пухло белела широкая постель, халат, вынутый горничной из портплекда, отливал синим шелком, уютно растянувшись на кресле. Вдруг Мартын с досадой заметил, что забыл захватить с собой книгу, которую облюбовал в гостиной, тогда же мельком решив взять ее с собою в постель. Он накинул халат и спустился во второй этаж. Книга была потрепанным томом Чехова. Он нашел ее — почему-то на полу — и вернулся к себе в спальню. Но тоска не прошла, хотя Мартын был из тех людей, для которых хорошая книжка перед сном — драгоценное блаженство. Такой человек, вспомнив случайно днем, среди обычных своих дел, что на ночном столике, в полной сохранности, ждет книга, — чувствует прилив неизъяснимого счастья. Мартын начал читать, выбрав рассказ, который он знал, любил, мог перечестъ сто раз подряд, — «Дама с собачкой». Ах, как она хорошо потеряла лорнетку в толпе, на ялтинском молу! И внезапно, без всякой как будто причины, он понял, что именно так беспокоит его. В этой светлой комнате спала год назад Нелли, а теперь ее нет.

«Какие пустяки», — сказал Мартын и попробовал продолжать чтение, но это оказалось невозможным. Он вспомнил давно минувшие ночи, когда ждал, что покойный отец царапнет в углу. У Мартына сильно забилося сердце; в постели стало жарко и неудобно. Он представил себе, как сам будет когда-нибудь умирать, — и было такое ощущение, словно медленно и неумолимо опускается потолок. Что-то мелко застучало в теневой части комнаты, —

и у Мартына екнуло в груди. Но это просто закапала на линолеум вода, пролитая на доску умывальника. А ведь странно: если бродят души покойников, то все хорошо, есть значит, загробные движения души,— почему же это так страшно? «Как же я сам буду умирать?» — подумал Мартын и начал перебирать в уме все разновидности смерти. Он увидел себя стоящим у стенки, вобравшим в грудь побольше воздуха, и ожидающим залпа, и вспоминающим с дикой безнадежностью вот эту, вот эту нынешнюю минуту,— светлую спальню, пухлую ночь, беспечность, безопасность. Могли быть и болезни, ужасные болезни, разрывающие внутренности. Или крушение поезда. Или, наконец, тихое замирание старости, смерть во сне. А еще — темный лес и погоня. «Пустяки,— подумал Мартын.— У меня большой запас. Да и каждый год — целая эпоха. Что же тут тревожиться? А может быть, Нелли здесь и сейчас видит меня? Может быть, вот-вот — подаст мне знак?» Он посмотрел на часы, было около двух. Беспокойство становилось нестерпимым. Тишина как будто ждала,— дальний рожок автомобиля был бы счастьем. Тишина лилась, лилась — и вдруг перелилась через край: кто-то на цыпочках босиком шел по коридору. «Спите?» — раздался вопросительный шепот через дверь, и Мартын не сразу мог ответить, что-то застучало в горле. Соня, войдя, тихо опустилась с пальцев на пятки. На ней была желтая пижама, жесткие черные волосы были слегка растрепаны. Так она постояла несколько мгновений, моргая спутанными ресницами. Мартын, присев на постели, глупо улыбался. «Нет никакой возможности спать,— таинственно проговорила Соня.— Мне неприятно, мне как-то жутко,— и потом эти ужасы,

которые он рассказывал». «Отчего вы, Соня, босиком? — пробормотал Мартын. — Хотите мои ночные туфли?» Она покачала головой, задумчиво пуча губы, и затем опять тряхнула волосами и посмотрела неопределенно на Мартынову постель. «Хоп-хоп», — сказал Мартын, похлопывая по одеялу в ногах постели. Она влезла и встала сперва на колени, а потом медленно задвигалась и свернулась в уголку, на одеяле, между изножьем постели и стеной. Мартын вытащил из-под себя подушку и подложил ей за спину. «Спасибо», — сказала она совершенно беззвучно, — очертание слова можно было только угадать по движениям бледных мягких губ. «Вам удобно?» — нервно спросил Мартын, поджав колени, чтобы ей не мешать, а потом опять наклонился вперед и, взяв с кресла рядом халат, прикрыл ее босые ноги. «Дайте мне папиросу», — попросила она погодя. Мартын дал. От Сони шло нежное тепло, и вокруг прелестной голой шеи была тонкая цепочка. Она затянулась и, щурясь, выпустила дым и отдала папиросу Мартыну. «Крепкая», — сказала она с грустью. «Что вы делали летом?» — спросил Мартын, стараясь побороть что-то глухое, сумасшедшее, совершенно невозможное, от которого даже знобило. «Так. Ничего. Были в Брайтоне». Она вздохнула и добавила: «Летала на гидроплане». — «А я чуть не погиб», — сказал Мартын. — «Да-да, чуть не погиб. Высоко в горах. Сорвался со скалы. Едва спасся». Соня смутно улыбнулась. «Знаете, Мартын, она всегда говорила, что самое главное в жизни — это исполнять свой долг и ни о чем прочем не думать. Это очень глубокая мысль, правда?» — «Да, может быть», — ответил Мартын, неверной рукой суя недокуренную папиросу в пепельницу. — Может быть, но ведь иногда это

скучновато». — «Ах, нет же, нет, — не просто дело, не работу или там службу, а такое, ну такое, — внутреннее». Она замолчала, и Мартын заметил, что она дрожит в легонькой своей пижаме. «Холодно?» — спросил он. «Да, кажется, холодно. И вот, это нужно исполнять, а у меня, например, ничего нет». — «Соня, — сказал Мартын, — может быть, вы?..» Он слегка отвернул одеяло, и она встала на коленки и медленно подвинулась к нему. «И мне кажется, — продолжала она, вползая под одеяло, которое он, ничего не слыша из того, что она говорит, неловко натянул на нее и на себя. — Мне вот кажется, что многие люди этого не знают, и от этого происходит...» Мартын глубоко вздохнул и обнял ее, прильнув губами к ее щеке. Соня схватила его за кисть, приподнялась и мгновенно выкатилась из постели. «Боже мой, — сказала она, — Боже мой!» И ее темные глаза заблестели слезами, и в одно мгновение все лицо стало мокро, длинные светлые полосы поползли по щекам. «Ну, что вы, не надо, я просто, ну, я не знаю, ах, Соня», — бормотал Мартын, не смея ее тронуть и теряясь от мысли, что она может вдруг закричать и поднять на ноги весь дом. «Как вы не понимаете, — сказала она протяжно, — как вы не понимаете... Ведь я же вот так приходила к Нелли, и мы говорили, говорили до света...» Она повернулась и, плача, вышла из комнаты. Мартын, сидя в спутанных простынях, беспомощно ухмылялся. Она прикрыла за собой дверь, но снова ее отворила, просунула голову. «Дурак», — сказала она совершенно спокойно и деловито, после чего засеменила прочь по коридору.

Мартын некоторое время глядел на белую дверь. Когда он потушил свет и попробовал уснуть, последнее оказалось как будто невозможно. Он стал раз-

мышлять о том, что, как только забрезжит утро, нужно будет одеться, сложить вещи и тихо уйти из дому прямо на вокзал,— к сожалению, он на этих мыслях и уснул,— а проснулся в четверть десятого. «Может быть, это все был сон?» — сказал он про себя с некоторой надеждой, но тут же покачал головой и, в приливе мучительного стыда, подумал, как это он теперь встретится с Соней. Утро выдалось неудачное: он опять некстати влетел в ванную комнату, где Зиланов, широко расставив короткие ноги в черных штанах, наклонив корпус в плотной фланелевой фуфайке, мыл над раковиной лицо, до скрипа растирал щеки и лоб, фыркал под бьющей струей, прижимал пальцем то одну ноздрю, то другую, яростно высмаркиваясь и плюясь. «Пожалуйста, пожалуйста, я кончил», — сказал он, и, ослепленный водой, роняя брызги, как крылышки держа руки, понесся к себе в комнату, где предпочитал хранить полотенце.

Затем, спускаясь вниз, в столовую, пить цикуту, Мартын встретился с Ольгой Павловной: лицо у нее было ужасное, лиловатое, все распухшее,— и он страшно смутился, не смея ей сказать готовых слов соболезнования, а других не зная. Она обняла его, почему-то поцеловала в лоб,— и, безнадежно махнув рукой, удалилась, и там, в глубине коридора, муж ей что-то сказал о каких-то бумагах, с совершенно неожиданной надтреснутой нежностью в голосе, на которую он казался вовсе не способен. Соню же Мартын встретил в столовой,— и первое, что она ему сказала, было: «Я вас прощаю, потому что все швейцарцы кретины,— кретин — швейцарское слово,— запишите это». Мартын собирался ей объяснить, что он ничего не хотел дурного,— и это было в общем правдой,— хотел только лежать с ней

рядом и целовать ее в щеку, — но Соня выглядела такой сердитой и унылой в своем черном платье, что он почел за лучшее смолчать. «Папа сегодня уезжает в Бриндизи, — слава Богу, дали, наконец, визу», — проговорила она, недоброжелательно глядя на плохо сдержанную жадность, с которой Мартын, всегда как волк голодный по утрам, пожирал глазунью. Мартын подумал, что нечего тут засиживаться, день будет все равно нелепый, проводы и так далее. «Звонил Дарвин», — сказала Соня.

#### XXIV

Дарвин явился с комедийной точностью, — сразу после этих слов, будто ждал за кулисами. Лицо у него было, от морского солнца, как ростбиф, и одет он был в замечательный, бледный костюм. Соня поздоровалась с ним — слишком томно, как показалось Мартыну. Мартын же был схвачен, огрет по плечу, по бокам и несколько раз спрошен, почему он не позвонил. Вообще говоря, обычно ленивый Дарвин проявил в этот день какую-то невиданную энергию, на вокзале взял у носильщика чужой сундук и понес на затылке, а в пульмановском вагоне, на полпути между Ливерпуль-стрит и Кембриджем, посмотрел на часы, подозвал кондуктора, подал ему ассигнацию и торжественно потянул рукоятку тормоза. Поезд застонал от боли и остановился, а Дарвин, с довольной улыбкой, всем объяснил, что ровно двадцать четыре года тому назад он появился на свет. Через день в одной из газет побойчее была об этом заметка под жирным заголовком: «Молодой автор в день своего рождения останавливает поезд»; сам же Дарвин сидел у



своего университетского наставника и гипнотизировал его подробным рассказом о торговле пиявками, о том, как их разводят и какие сорта лучше.

Та же была стужа в спальне, те же переклички курантов и тот же вваливался Вадим, с тою же на устах рифмованной азбукой, построенной на двустипсиях, каждое из коих начиналось веским утверждением: «Японцы любят харакири» или «Филипп Испанский был пройдоха», — а кончалось строкой на ту же букву, не менее дидактической, но гораздо более непристойной. А вот Арчибальд Мун был как будто и тот же и другой: Мартын никак не мог восстановить прежнее очарование. Мун при встрече сказал, что выработал за лето новых шестнадцать страниц своей Истории России, целых шестнадцать страниц, потому так много, объяснил он, что весь долгий летний день уходил на работу, — и при этом он сделал пальцами движение, обозначавшее перелив и пластичность каждой им выношенной фразы, и в этом движении Мартыну показалось что-то крайне развратное, а слушать густую речь Муна было как жевать толстый, тягучий рахат-лукум, запудренный сахаром. И впервые Мартын почувствовал нечто для себя оскорбительное в том, что Мун относится к России как к мертвому предмету роскоши. Когда он в этом сознался Дарвину, тот с улыбкой кивнул и сказал, что Мун таков оттого, что предан уранизму. Мартын стал внимательнее, — и, после того как однажды Мун, ни с того ни с сего, дрожащими пальцами погладил его по волосам, он перестал его посещать и тихо спускался через окно по трубе в переулок, когда одинокий, томящийся Мун стучался в дверь его комнаты. На лекции Муна он все же продолжал ходить, но, изучая отечественных писателей, старался вытравить из слуха инто-

нации Муна, которые преследовали его, особенно в ритме стихов. И Муну он стал предпочитать другого профессора, — Стивенса, благообразного старика, который преподавал Россию честно, тяжело, обстоятельно, а говорил по-русски с задыхающимся лаем, часто вставляя сербские и польские слова. Все же не так скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна. Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России. В конце концов Мартын от него совсем отделался, взяв кое-что, но претворив это в собственность, и уже в полной чистоте зазвучали русские музы. А Муна иногда видели на улице в сопровождении прекрасного пухлявого юноши, с зачесанными назад бледными, пышными волосами, который играл женщин в шекспировских спектаклях, причем Мун сидел в первом ряду, весь разомлевший, а потом шикал с другими на Дарвина, который, откинувшись в кресле, притворялся, что не в силах сдержать восторг, и неуместно разражался канонадой рукоплесканий.

Но и с Дарвином были у Мартына свои счеты. Дарвин иногда один отлучался в Лондон, и Мартын, в воскресную ночь, до трех часов утра, до полного оскуднения кокса, сидел у камина, из которого дуло как из могилы, и настойчиво, яростно, словно нажимая на больной зуб, представлял себе Соню и Дарвина вдвоем в темном автомобиле. Однажды он не выдержал и покатил в Лондон на вечер, на который не был зван, и ходил по залам, полагая, что выглядит очень бледным и строгим, но вдруг нехотая уловил в зеркале свое круглое розовое лицо с шишкой на лбу, напомнившей ему, как он накануне вырывал футбольный мяч из-под мчавшихся ног.

И вот — явились: Соня, одетая цыганкой и как будто забывшая, что едва четыре месяца минуло со смерти сестры, и Дарвин, одетый англичанином из континентальных романов, — костюм в крупную клетку, тропический шлем с платком сзади для защиты затылка от солнца, Помпей, бэдекер под мышкой и ярко-рыжие баки. Была музыка, был серпантин, была метель конфетти, и на одно упоительное мгновение Мартын почувствовал себя участником тонкой маскарадной драмы. Музыка прекратилась, — и когда, несмотря на явное желание Дарвина остаться с Соней наедине, Мартын влез в тот же таксомотор, он заметил вдруг в темноте автомобиля, прорезанной случайным отблеском, что Дарвин как будто держит Сонину руку в своей, и мучительно принялся себя уверять, что это просто игра света и тени. И невероятно было тяжело, когда Соня приезжала в Кембридж: Мартыну все казалось, что он лишний, что хотят от него отделаться. И потом было опять лето в Швейцарии, отмеченное победой над одним из лучших швейцарских теннисистов, — но что было Соне до его успехов в боксе, теннисе, футболе, — и иногда Мартын представлял себе в живописной мечте, как возвращается к Соне после боев в Крыму, и вот с громом проскакивало слово: кавалерия... — марш-марш, — и свист ветра, комочки черной грязи в лицо, атака, атака, — така-так подков, анапест полного карьера. Но теперь было поздно, бои в Крыму давно кончились, давно прошло время, когда Неллин муж летел на вражеский пулемет, близился, близился и вдруг ненароком проскочил за черту, в еще звеневшую отзвуком земной жизни область, где нет ни пулеметов, ни конных атак. «Спохватился, нечего сказать», — мрачно журил себя Мартын и вновь,

и вновь, с нестерпимым сознанием чего-то упущенного, воображал Георгиевскую ленточку, легкую рану в левое плечо,— непременно в левое,— и Соню, встречающую его на вокзале Виктории. Его раздражала нежная улыбка матери при словах, которыми она как-то обмолвилась: «Видишь, это было все зря, зря, и ты бы зря погиб. Неллин муж — другое дело,— настоящий боевой офицер,— такие не могут жить без войны,— и умер он, как хотел умереть,— а эти мальчики, которых так и косит...» Иностранцам, впрочем, она с жаром говорила о необходимости продления военной борьбы,— особенно теперь, когда все прекратилось и уже не было ничего такого, что могло бы сына залучить. И когда она, несколько лет спустя, вспомнила это свое облегчение и спокойствие, Софья Дмитриевна вслух застонала,— ведь можно же было уберечь его, не отказаться так просто от верных предчувствий, быть наблюдательной, быть всегда начеку,— и кто знает, быть может, лучше б было, если б он и впрямь пошел воевать, ну, был бы ранен, ну, заболел бы тифом, и хотя бы этой ценой раз навсегда отделался от мальчишеской тяги к опасности,— но зачем такие мысли, зачем предаваться унынию? Больше бодрости, больше веры,— пропадают же люди без вести и все-таки возвращаются,— ходит, например, слух, что схватили на границе и расстреляли, как шпиона,— а глядь — человек жив и вот уже посмеивается и басит в прихожей,— и если Генрих опять —<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Так заканчивает главу XXIV автор. (Прим. ред.)

В то каникулярное лето не одна только эта мимолетная довольная улыбка матери вызвала у Мартына досаду,— гораздо неприятнее было кое-что другое. Он заметил во всем странную перемену, точно все кругом таит дыхание, передвигается на цыпочках. Дядя Генрих почему-то теперь звал Софью Дмитриевну не Софи, как прежде, а *chère amie*, и она тоже говорила ему иногда «мой друг». В нем появилась новая мягкость, разнеженность, голос стал тише, движения — осторожнее, и теперь уже достаточно было похвалить суп или жаркое, чтобы увлажнились его глаза. Культ памяти Мартынова отца приобрел оттенок нестерпимой мистики,— Софья Дмитриевна глубже, чем когда-либо, чувствовала свою вину перед покойным, а дядя Генрих как будто намечал для нее трудный, но верный путь искупления, говорил о том, как счастлив Сержев дух видеть ее в доме у кузена, и однажды даже вынул пилочку и начал с такой приятной грустью шмыгать ее по ногтям,— но тут Софья Дмитриевна не выдержала и глухо засмеялась, и совершенно неожиданно смех перешел в истерический припадок, и Мартын второпях так сильно пустил струю из крана на кухне, что облил себе белые штаны.

Нередко ему приходилось видеть, как мать, устало опираясь на руку Генриха, гуляет по саду или как она приносит Генриху на ночь пахучего липового чайку для прояснения желудка,— и все это было тягостно, неловко, странно. Перед его отъездом в Кембридж Софья Дмитриевна, по-видимому, захотела что-то ему сообщить, но ей было так же неловко, как и ему, она смешалась и всего только и

сказала, что, может быть, скоро напишет ему о важном событии, и действительно, Мартын зимой получил письмо, но не от нее, а от дяди, который на шести страницах, плавным почерком, в душещипательных и выпренных выражениях, уведомлял его, что венчается с Софьей Дмитриевной, — очень скромно, в сельской церкви, — и только дойдя до постскриптума, Мартын понял, что свадьба уже состоялась, и мысленно поблагодарил мать за то, что она приурочила к его отсутствию тяжкое это торжество. Вместе с тем он спрашивал себя, как же теперь с нею встретится, о чем будет говорить, удастся ли ему простить ей измену. Ибо, как ни верти, это была, несомненно, измена по отношению к памяти отца, — а тут еще угнетала мысль, что отчимом является пухлоусый и недалекий дядя Генрих, и, когда Мартын на Рождество приехал, мать принялась его обнимать и плакать, словно забыв, в угоду Генриху, обычную сдержанность, и просто некуда было деваться от торжественного покашливания отчима и его добрых растроганных глаз.

Вообще, в этот последний университетский год Мартын то и дело чуял кознодейство неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая легкая, счастливая штука, какой он ее мнит. Существование Сони, постоянное внимание, которого оно вчуже требовало от его души, мучительные ее приезды, издевательский тон, который у них завелся, — все это было крайне изнурительно. Несчастливая любовь, однако, не мешала ему волочиться за всякой миловидной женщиной и холодеть от счастья, когда, например, Роза, богиня кондитерской, соглашалась на поездку вдвоем в автомобиле. В этой кондитерской, очень привлекав-



шей студентов, пирожные были всех цветов, ярко-красные в пупырьках крема, будто мухоморы, лиловые, как фиалковое мыло, и глянцеви́то-черные, негритянские, с белой душой. Нажирались ими до отвала, так как все хотелось добраться до чего-нибудь вкусного, поглощался один сорт за другим, пока не слипались кишки. Роза, смугло-румяная, с бархатными щеками и влажным взором, в черном платье и субреточном передничке, чрезвычайно быстро ходила по залу, ловко разминаясь с несущейся ей навстречу другой прислужницей. Мартын сразу обратил внимание на ее толстопалую, красную руку, которую нисколько не украшала яркая звездочка дешевого перстня, и мудро решил на ее руки больше никогда не глядеть, а сосредоточиться на длинных ресницах, которые она так хорошо опускала, когда записывала счет. Как-то, попивая жирный, сладкий шоколад, он передал ей цедулку и встретился с ней вечером под дождем, а в субботу нанял потрепанный лимузин и провел с нею ночь в старинной харчевне, верстах в пятидесяти от Кембриджа. Его несколько потрясло, но и польстило ему, что, по ее словам, это первый ее роман,— ее любовь оказалась бурной, неловкой, деревенской, и Мартын, представлявший ее себе легкомысленной и опытной сиреной, был так озадачен, что обратился за советом к Дарвину. «Вышибут из университета»,— спокойно сказал Дарвин. «Глупости»,— возразил Мартын, сдвинув брови. Когда же, недели через три, Роза, ставя перед ним чашку шоколада, сообщила ему быстрым шепотом, что беременна, он почувствовал, словно тот метеорит, который обыкновенно падает в пустыню Гоби, прямо угодил в него.

«Поздравляю»,— сказал Дарвин; после чего

очень искусно принялся ему рисовать судьбу грешницы с брюхом. «А тебя тоже вышибут,— добавил он.— Это факт». «Никто не узнает, я все улажу»,— растерянно проговорил Мартын. «Безнадежно»,— ответил Дарвин.

Мартын вдруг рассердился и вышел, хлопнув дверью. Выбежав в переулок, он едва не грохнулся, так как Дарвин очень удачно пустил ему в голову из окна большой подушкой, а дойдя до угла и обернувшись, он увидел, как Дарвин с трубкой в зубах вышел, поднял, отряхнул подушку и вернулся в дом. «Жестокий скот»,— пробормотал Мартын и направился прямо в кондитерскую. Там было полно. Роза, смуглорумяная, с блестящими глазами, мелькала между столиками, семенила с подносом или, нежно слюня карандашик, писала счет. Он тоже написал кое-что на листке из блокнота, а именно: «Прошу вас выйти за меня замуж. Мартын Эдельвейс»,— и листок сунул ей в ужасную руку; затем вышел, с час ходил по улицам, вернулся домой, лег на кушетку и так пролежал до вечера.

## XXVI

Вечером к нему вошел Дарвин, великолепно скинул плащ и, подсев к камину, сразу начал кочергой подбадривать угольки. Мартын лежал и молчал, полный жалости к себе, и воображал вновь и вновь, как он с Розой выходит из церкви, и она — в белых лайковых перчатках, с трудом налезших. «Соня приезжает завтра одна,— беззаботно сказал Дарвин.— У ее матери инфлуэнца, сильная инфлуэнца». Мартын промолчал, но с мгновенным волнением подумал о завтрашнем

футбольном состязании. «Но как ты будешь играть,— сказал Дарвин, словно в ответ на его мысли,— это, конечно, вопрос». Мартын продолжал молчать. «Вероятно, плохо,— заговорил снова Дарвин.— Требуется присутствие духа, а ты — в адском состоянии. Я, знаешь, только что побеседовал с этой женщиной».

Тишина. Над городом заиграли башенные куранты.

«Поэтическая натура, склонная к фантазии,— спустя минуту, продолжал Дарвин.— Она столь же беременна, как, например, я. Хочешь держать со мною пари ровно на пять фунтов, что скручу кочергу в вензель?» (Мартын лежал, как мертвый.) «Твое молчание,— сказал Дарвин,— я принимаю за согласие. Посмотрим».

Он покряхтел, покряхтел... «Нет, сегодня не могу. Деньги твои. Я заплатил как раз пять фунтов за твою дурацкую записку. Мы — квиты,— все в порядке».

«Но если,— сказал Дарвин,— ты когда-нибудь пойдешь опять в эту скверную и дорогую кондитерскую, то знай: ты из университета вылетишь. Эта особа может зачать от простого рукопожатия,— помни это».

Дарвин встал и потянулся. «Ты не очень разговорчив, друг мой. Признаюсь, ты и эта гетера мне как-то испортили завтрашний день».

Он вышел, тихо закрыв за собою дверь, и Мартын подумал зараз три вещи: что страшно голоден, что такого второго друга не сыскать и что этот друг будет завтра делать предложение. В эту минуту он радостно и горячо желал, чтобы Соня согласилась, но эта минута прошла, и уже на другое утро, при встрече с Соней на вокзале, он почувствовал

знакомую, унылую ревность (единственным, довольно жалким преимуществом перед Дарвином был недавний, вином запитый переход с Соней на «ты»; в Англии второе лицо, вместе с луконосцами, вымерло; все же Дарвин выпил тоже на брудершафт и весь вечер обращался к ней на архаическом наречии).

«Здравствуй, цветок», — небрежно сказала она Мартыну, намекая на его ботаническую фамилию, и сразу, отвернувшись, стала рассказывать Дарвину о вещах, которые могли бы также быть и Мартыну интересны.

«Да что же в ней привлекательного? — в тысячный раз думал он. — Ну, ямочки, ну, бледность... Этого мало. И глаза у нее неважные, дикарские, и зубы неправильные. И губы какие-то быстрые, мокрые, вот бы их остановить, залепить поцелуем. И она думает, что похожа на англичанку в этом синем костюме и бескаблучных башмаках. Да она же, господа, совсем низенькая!» Кто были эти «господа», Мартын не знал; выносить свой суд было бы им мудрено, ибо, как только Мартын доводил себя до равнодушия к Соне, он вдруг замечал, какая у нее изящная спина, как она повернула голову, и ее раскосые глаза скользили по нему быстрым холодком, и в ее торопливом говоре проходил подземной струей смех, увлажняя снизу слова, и вдруг проворно вырывался наружу, и она подчеркивала значение слов, тряся туго спеленутым зонтиком, который держала не за ручку, а за шелковое утолщение. И, уныло плетясь, — то следом за ними, то сбоку, по мостовой (идти по панели рядом было невозможно из-за упругого воздуха, окружавшего дородство Дарвина, и мелкого, неверного, всегда виляющего Сониного шага), — Мартын размышлял о том, что,

если сложить все те случайные часы, которые он с ней провел — здесь и в Лондоне, — вышло бы не больше полутора месяцев постоянного общения, а знаком он с нею, слава Богу, уже два года с лишком, — и вот уже третья — последняя — кембриджская зима на исходе, и он, право, не может сказать, что она за человек, и любит ли она Дарвина, и что она подумала бы, Расскажи ей Дарвин вчерашнюю историю, и сказала ли она кому-нибудь про ту беспокойную, чем-то теперь восхитительную, уже совсем нестыдную ночь, когда ее, дрожащую, босую, в желтенькой пижаме, вынесла волна тишины и бережно положила к нему на одеяло.

Пришли. Соня вымыла руки у Дарвина в спальне и, подув на пуховку, напудрилась. Стол к завтраку был накрыт на пятерых. Пригласили, конечно, Вадима, но Арчибальд Мун давно выбыл из круга друзей, и было даже как-то странно вспоминать, что он почитался некогда желанным гостем. Пятым был некрасивый, но очень легко построенный и чуть эксцентрично одетый блондин, с носом пуговкой и с теми прекрасными, удлинненными руками, которыми иной романист наделяет людей артистических. Он, однако, не был ни поэтом, ни художником, а все то легкое, тонкое, порхающее, что привлекало в нем, равно как и его знание французского и итальянского и несколько не английские, но очень нарядные манеры, Кембридж объяснял тем, что его отец был флорентийского происхождения. Тэдди, добрейший, легчайший Тэдди, исповедовал католицизм, любил Альпы и лыжи, прекрасно греб, играл в настоящий, старинный теннис, в который игравали короли, и, хотя умел очень нежно обходиться с дамами, был до смешного чист и только гораздо позже прислал как-то Мартыну письмо из Парижа

с таким извещением: «Я вчера завел себе девку. Вполне чистоплотную», — и, сквозь нарочитую грубость, было что-то грустное и нервное в этой строке, — Мартын вспомнил его неожиданные припадки меланхолии и самобичевания, его любовь к Леопарди и снегу и то, как он со злобой разбил ни в чем не повинную этрусскую вазу, когда с недостаточным блеском выдержал экзамен.

«Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку...»

И Соня dokonчила за Вадима, который уже давно ее не стеснялся: «...маленькую сучку», — а Тэдди, склонив голову набок, спросил, что такое: «Маэкасючику», — и все смеялись, и никто не хотел ему объяснить, и он так и обращался к Соне: «Можно вам положить еще горошку, маэкасючику?» Когда же Мартын впоследствии объяснил ему, что это значит, он со стоном схватился за виски и рухнул в кресло.

«Ты волнуешься, волнуешься?» — спросил Вадим.

«Ерунда, — ответил Мартын. — Но я нынче дурно спал и, пожалуй, буду мазать. У них есть трое с интернациональным стажем, а у нас только двое таких».

«Ненавижу футбол», — сказал с чувством Тэдди. Дарвин его поддержал. Оба были итонцы, а в Итоне своя особая игра в мяч, заменяющая футбол.

## XXVII

Меж тем Мартын действительно волновался, и немало. Он играл голкипером в первой команде своего колледжа, и, после многих схваток,



колледж вышел в финал и сегодня встречался с колледжем святого Иоанна на первенство Кембриджа. Мартын гордился тем, что он, иностранец, попал в такую команду и, за блестящую игру, произведен в звание колледжского «голубого»,— может носить, вместо пиджака, чудесную голубую куртку. С приятным удивлением он вспоминал, как бывало, в России, калачиком свернувшись в мягкой выемке ночи, предаваясь мечтанию, уводившему незаметно в сон, он видел себя изумительным футболистом. Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле или, скажем, длинные, коричневые, гармониками соединенные вагоны экспресса, которым он сам управляет, и постепенно душа улавливала ритм, блаженно успокаивалась, как бы очищалась и, гладкая, умощенная, соскальзывала в забытие. Был это иногда не поезд, пущенный вовсю, скользящий между ярко-желтых березовых лесов и далее, через иностранные города, по мостам над улицами, и затем на юг, сквозь внезапно светящиеся туннели, и пологим берегом вдоль ослепительного моря,— это был иногда самолет, гоночный автомобиль, тобоган, в вихре снега берущий крутой поворот, или просто тропинка, по которой бежишь, бежишь,— и Мартын, вспоминая, подмечал некую особенность своей жизни: свойство мечты незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон: это ему казалось залогом того, что и нынешние его ночные мечты,— о тайной, незаконной экспедиции,— вдруг окрепнут, наполнятся жизнью, как окрепла и оделась плотью греза о футбольных состязаниях, которой он, бывало, так длительно, так искусно наслаждался, когда, боясь дойти слишком поспешно до сладостной сути, останавливался подробно на

приготовлениях к игре: вот натягивает чулки с цветными отворотами, вот надевает черные трусики, вот завязывает шнурки крепких буц.

Он крикнул и разогнулся. Перед камином было тепло переодеваться,— это чуть сбавляло дрожь волнения. На белый, с треугольным вырезом, свитер тесно налезла голубая куртка. Как уже потрепались голкиперские перчатки... Ну вот,— готов. Кругом валялись его вещи, он все это подобрал и понес в спальню. По сравнению с теплом шерстяного свитера, его голоколенным ногам в просторных, легких трусах было удивительно прохладно. «Уф! — произнес он, входя в комнату Дарвина.— Я, кажется, быстро переоделся». «Пошли»,— сказала Соня и встала с дивана. Тэдди посмотрел на нее с мольбой. «Прошу тысячу раз прощения,— взмолился он,— меня ждут, меня ждут».

Он ушел. Ушел и Вадим, обещав прикатить на поле попозже. «Может быть, это и действительно не так уж интересно,— сказала Соня, обращаясь к Дарвину.— Может быть, не стоит?» «О, нет, непременно»,— с улыбкой ответил Дарвин и потрепал Мартына по плечу. Они пошли втроем по улице, Мартын заметил, что Соня совершенно не смотрит на него, меж тем он впервые показывался ей в футбольном наряде. «Прибавим шагу,— сказал он.— Мы еще опоздаем». «Не беда»,— проговорила Соня и стала перед витриной. «Ладно, я пойду вперед»,— сказал Мартын и, твердо стуча резиновыми шипами буц, свернул в переулок и зашагал по направлению к полю.

Народу навалило уйма,— благо, и день выдался отличный, с бледно-голубым зимним небом и бодрым воздухом. Мартын прошел в павильон, и там уже все были в сборе, и Армстронг, капитан

команды, долговязый человек с подстриженными усами, застенчиво улыбнувшись, в сотый раз заметил Мартыну, что тот напрасно не носит наколенников. Погодя, все одиннадцать человек гуськом выбежали из павильона, и Мартын разом воспринял то, что так любил: острый запах сыроватого дерна, упругость его под ногой, тысячу людей на скамейках, черную проплешину в дерне у ворот и гулкий звук, — это покрикивала противная команда. Судья принес и положил на самый пуп поля (обведенный меловой чертой) новенький, светло-желтый мяч. Игроки встали по местам, раздался свисток. И вдруг волнение Мартына совершенно исчезло, и, спокойно прислонившись к штанге своих ворот, он поглядел по сторонам, пытаясь найти Дарвина и Соню. Игра повелась далеко, в том конце поля, и можно было наслаждаться холодом, матовой зеленью, говором людей, стоявших тотчас за сеткой ворот, и гордым чувством, что отроческая мечта сбылась, что вот рыжий, главарь противников, так восхитительно точно принимающий и передающий мяч, недавно играл против Шотландии и что среди толпы есть кое-кто, для кого стоит постараться. В детские годы сон обычно наступал как раз в эти минуты начала игры, ибо Мартын так увлекался подробностями предисловия, что до главного не успевал дойти и забывался. Так он длил наслаждение, откладывая на другую, менее сонную, ночь самую игру, — быструю, яркую, — вот топот ног близится, вот уже слышно храпящее дыхание бегущих, вот выбился рыжий и несется, вздрагивая коком, и вот — и от удара его баснословного носка мяч со свистом низко метнулся в уголок ворот, — голкипер, упав, как подкошенный, успел задержать эту молнию, и вот уже мяч в его руках,

и, увильнув от противников, Мартын всей силою ляжки и икры послал мяч звучной параболой вдаль, под раскат рукоплесканий. Во время короткого перерыва игроки валялись на траве, сося лимоны, и, когда затем стороны переменялись воротами, Мартын с нового места опять высматривал Соню. Впрочем, нельзя было особенно глазеть,— игра сразу пошла жаркая, и ему все время приходилось делать стойку в ожидании атаки. Несколько раз он ловил, согнувшись вдвое, пушечное ядро, несколько раз взлетал, отражая его кулаком, и сохранил девственность своих ворот до конца игры, счастливо улыбнувшись, когда, за секунду до свистка, голкипер противников выронил скользкий мяч, который Армстронг тотчас и залепил в ворота.

Все кончилось, публика затопила поле, никак нельзя было найти Соню и Дарвина. Уже за трибунами он нагнал Вадима, который в тесноте пешеходов тихо ехал на велосипеде, осторожно повиливая и дудя губами. «Давно драпу дали,— ответил он на вопрос Мартына,— сразу после хафтайма, и, знаешь, у мамки...» — тут следовало что-то смешное, чего, впрочем, Мартын не дослушал, так как, густо тарахтя, протиснулся один из игроков, Фильпот, на красной мотоциклетке и предложил его подвезти. Мартын сел сзади, и Фильпот нажал акселератор. «Вот и я напрасно удержал тот, последний, под самую перекладину,— она все равно не видела», — думал Мартын, морщась от пестрого ветра. Ему сделалось тяжело и горько, и, когда он на перекрестке слез и направился к себе, он с отвращением проживал вчерашний день, коварство Розы, и стало еще обиднее. «Вероятно, где-нибудь чай пьют», — пробормотал он, но на всякий случай заглянул в комнату Дарвина. На кушетке лежала

Соня, и в то мгновение, как Мартын вошел, она сделала быстрый жест, ловя в горсть пролетающую моль. «А Дарвин?» — спросил Мартын. «Жив, пошел за пирожными», — ответила она, недоброжелательно следя глазами за непойманной, белесой точкой. «Вы напрасно не дождались конца, — проговорил Мартын и опустился в бездонное кресло. — Мы выиграли. Один на ноль». — «Тебе хорошо бы вымыться, — заметила она. — Посмотри на свои колени. Ужас. И наследил чем-то черненьким». — «Ладно. Дай отдохнуть». Он несколько раз глубоко вздохнул и, охая, встал. «Постой, — сказала Соня. — Это ты должен послушать, — просто уморительно. Он только что мне предложил руку и сердце. Вот я чувствовала, что это должно произойти: зрел, зрел и лопнул». Она потянулась и томно взглянула на Мартына, который сидел, высоко подняв брови. «Умное у тебя личико», — сказала она и, отвернувшись, продолжала: «Просто не понимаю, на что он рассчитывал. Милейший и все такое, — но ведь это дуб, английский дуб, — я бы через неделю померла бы с тоски. Вот она опять летает, голубушка». Мартын прочистил горло и сказал: «Я тебе не верю. Я знаю, что ты согласилась». — «С ума сошел! — крикнула Соня, подскочив на месте и хлопнув обеими ладонями по кушетке. — Ну как ты себе можешь это представить?» — «Дарвин — умный, тонкий, — вовсе не дуб», — напряженно сказал Мартын. Она опять хлопнула. «Но ведь это не настоящий человек — как ты не понимаешь, балда! Ну, право же, это даже оскорбительно. Он не человек, а нарочно. Никакого нутра и масса юмора, — и это очень хорошо для бала, — но так, надолго, — от юмора на стенку полезешь». — «Он писатель, от него знатоки без ума», — тихо, с трудом проговорил

Мартын и подумал, что теперь его долг исполнен, довольно ее уговаривать, есть предел и благородству. «Да-да, вот именно,— только для знатоков. Очень мило, очень хорошо, но все так поверхностно, так благополучно, так...» Тут Мартын почувствовал, как, прорвав шлюзы, хлынула сияющая волна, он вспомнил, как превосходно играл только что, вспомнил, что с Розой все улажено, что вечером банкет в клубе, что он здоров, силен, что завтра, послезавтра и еще много, много дней — жизнь, битком набитая всяким счастьем, и все это налетело сразу, закружило его, и он, рассмеявшись, схватил Соню в охапку, вместе с подушкой, за которую она уцепилась, и стал ее целовать в мокрые зубы, в глаза, в холодный нос, и она брыкалась, и ее черные, пахнувшие фиалкой, волосы лезли ему в рот, и, наконец, он уронил ее с громким смехом на диван, и дверь открылась, показалась сперва нога, нагруженный свертками, вошел Дарвин, попытался ногой же дверь закрыть, но уронил бумажный мешок, из которого высыпались меренги. «Мартын швыряется подушками,— жалобным, запыхавшимся голосом сказала Соня.— Подумаешь,— один: ноль,— нечего уж так беситься».

### XXVIII

А на другой день и у Мартына и у Дарвина было с утра тридцать восемь подмышечной температуры,— ломота, сухость в горле, звон в ушах,— все признаки сильнейшей инфлуэнцы. И, как ни было приятно думать, что передаточной инстанцией послужила, вероятно, Соня,— оба чувствовали себя отвратительно, и Дарвин, который ни за что не хотел оставаться в постели, выглядел в своем цветистом халате тяжеловесом-боксером, красным и встрепанным после долгого боя,



и Вадим, героически презирая заразу, носил лекарства, а Мартын, накрывшись поверх одеяла пледом и зимним пальто, мало, впрочем, сбавляющими озноб, лежал в постели с сердитым выражением на лице и во всяком узоре, во всяком соотношении между любыми предметами в комнате, тенями, пятнами видел человеческий профиль,— тут были кувшинные рыла, и бурбонские носы, и толстогубые негры,— неизвестно, почему лихорадка всегда так усердно занимается рисованием довольно плоских карикатур. Он засыпал,— и сразу танцевал фокстрот со скелетом, который во время танца начинал развинчиваться, терять кости, их следовало подхватить, попридержать, хотя бы до конца танца; а не то — начинался безобразный экзамен, вовсе не похожий на тот, который, спустя несколько месяцев, в мае, действительно пришлось Мартыну держать. Там, во сне, предлагались чудовищные задачи с большими железными иксами, завернутыми в вату, а тут, наяву, в просторном зале, косо пересеченном пыльным лучом, студенты-филологи в черных плащах отмахивали по три сочинения в час, и Мартын, посматривая на стенные часы, крупным, круглым своим почерком писал об опричниках, о Баратынском, о Петровских реформах, о Лорис-Меликове...

Кембриджское житье подходило к концу, и каким-то сияющим апофеозом показались последние дни, когда, в ожидании результатов экзаменов, можно было с утра до вечера валандаться, греться на солнце, томно плыть, лежа на подушках, вниз по реке, под величавым покровительством розовых каштанов. Весной Соня с семьей переселилась в Берлин, где Зиланов затеял еженедельную газету, и теперь Мартын, лежа навзничь под тихо прохо-

дившими ветвями, вспоминал последнюю свою поездку в Лондон. Дарвин поехать не пожелал, лениво попросил передать Соне привет и, помахав в воздухе пальцами, погрузился опять в книгу. Когда Мартын прибыл, в доме у Зилановых был тот печальный кавардак, который так ненавидят пожилые, домовитые собаки, толстые таксы, например. Горничная и вихрастый малый с папироской за ухом несли вниз по лестнице сундук. Заплаканная Ирина сидела в гостиной, кусая ногти и неизвестно о чем думая. В одной из спален разбили что-то стеклянное, и сразу в ответ зазвонил в кабинете телефон, но никто не подошел. В столовой покорно ждала тарелка, прикрытая другой, а что там была за пища — неизвестно. Откуда-то приехал Зиланов, в черном пальто, несмотря на теплынь, и как ни в чем не бывало сел в кабинете писать. Ему, кочевнику, было, вероятно, совершенно все равно, что через час надобно ехать на вокзал и что в углу торчит еще не заколоченный ящик с книгами, — так сидел он и ровно писал, на сквозняке, среди каких-то стружек и смятых газетных листов. Соня стояла посреди своей комнаты и, прижимая ладони к вискам, сердито переводила взгляд с большого пакета на уже вполне сытый чемодан. Мартын сидел на низком подоконнике и курил. Несколько раз входили то Ольга Павловна, то ее сестра, искали чего-то и, не найдя, уходили. «Ты рада ехать в Берлин?» — уныло спросил Мартын, глядя на свою папиросу, на пепельный нарост, схожий с седой хвоей, в которой сквозит зловещий закат. «Без. Раз. Лично», — сказала Соня, прикидывая в уме, закроется ли чемодан. «Соня», — сказал Мартын через минуту. «А? Что?» — очнулась она и вдруг быстро завозилась, рассчитывая взять чемодан врасплох, натиском.

«Соня,— сказал Мартын,— неужели...» Вошла Ольга Павловна, посмотрела в угол и, кому-то в коридоре отвечая отрицательно, торопливо ушла, не прикрыв дверь. «Неужели,— сказал Мартын,— мы больше никогда не увидимся?» — «Все под Богом ходим»,— ответила Соня рассеянно. «Соня»,— начал опять Мартын. Она посмотрела на него и не то поморщилась, не то улыбнулась. «Знаешь, он мне отослал все письма, все фотографии,— все. Комик. Мог бы эти письма оставить. Я их полчаса рвала и спускала, теперь там испорчено». — «Ты с ним поступила дурно,— хмуро проговорил Мартын.— Нельзя было подавать надежду и потом отказать». — «Что за тон, что за тон! — с легким визгом крикнула Соня.— На что надежду? Как ты смеешь говорить о надежде? Ведь это пошлость, мерзость. Ах, вообще — отстань от меня! Лучше-ка сядь на этот чемодан»,— добавила она нотой ниже. Мартын сел и напыжился. «Не закроется,— сказал он хрипло.— И я не знаю, почему ты приходишь в такой раж. Я просто хочу сказать». Тут что-то неохотно щелкнуло, и, не дав чемодану опомниться, Соня повернула в замке ключик. «Теперь все хорошо,— сказала она.— Поди сюда, Мартын. Поговорим по душам». В комнату заглянул Зиланов. «Где мама? — спросил он.— Я ведь просил оставить мой стол в покое. Теперь исчезла пепельница, там было две почтовые марки». Когда он ушел, Мартын взял Сонину руку в свои, сжал ее между ладонями, тяжело вздохнул. «Ты все-таки очень хороший,— сказала Соня.— Мы будем переписываться, и ты, может быть, когда-нибудь приедешь в Берлин, а не то — в России встретимся, будет очень весело». Мартын качал головой и чувствовал, как накапливаются слезы. Соня выдернула руку: «Ну, если хочешь кукситься-

ся,— сказала она недовольно,— пожалуйста, сколько угодно». «Ах, Соня»,— проговорил он сокрушенно. «Да чего же ты от меня, собственно, хочешь?— спросила она, щурясь.— Скажи мне, пожалуйста, чего ты от меня хочешь?» Мартын, отвернув голову, пожал плечами.

«Слушай,— сказала она,— надо идти вниз, надо ехать, меня злит, что ты такой надутый. Неужели нельзя все просто?» «Ты в Берлине выйдешь замуж»,— безнадежно пробормотал Мартын. Влетела горничная, забрала чемодан. За ней появилась Ольга Павловна, уже в шляпе. «Пора, пора,— сказала она.— Ты все здесь взяла, ничего не оставила? Это ужас,— обратилась она к Мартыну,— мы думали спокойно завтра ехать...» Она исчезла, но ее голос в коридоре некоторое время еще объяснял кому-то о неотложных делах мужа, и Мартыну стало так пронзительно, так невыразимо грустно от всей этой кутерьмы, безалаберности, что захотелось скорее же спровадить, сбить Соню и вернуться в Кембридж, к ленивому солнцу.

Соня улыбнулась, взяла его за щеки и поцеловала в переносицу. «Не знаю, может быть»,— прошептала она и, быстро вывернувшись из метнувшихся Мартыновых рук, подняла палец. «Тубо»,— сказала она, а потом сделала круглые глаза, так как снизу вдруг донеслись ужасные, невозможные, потрясшие весь дом рыдания. «Пойдем, пойдем,— заторопилась Соня.— Я не понимаю, почему этой бедняжке так не хочется отсюда уезжать. Перестань, черт возьми, оставь мою руку!»

Внизу у лестницы билась, рыдая, Ирина, цепляясь за балюстраду. Елена Павловна тихо ее уговаривала: «Ира, Ирочка»,— а Михаил Платонович, употребляя уже не раз испытанное средство, вынул

платок, быстро сделал толстый узел с длинным ушком, надел платок на руку и, вертя ею, показал человечка в ночной рубашке и колпаке, уютно укладывающегося спать.

На вокзале она расплакалась опять, но уже тише, безнадежнее. Мартын сунул ей коробку конфет, предназначенную, собственно говоря, Соне. Зиланов, как только уселся, развернул газету. Ольга и Елена Павловны считали глазами чемоданы. С грохотом стали захлопываться дверцы; поезд тронулся. Соня высунулась в окно, облокотясь на спущенную раму, и Мартын несколько мгновений шел рядом с вагоном, а потом отстал, и уже сильно уменьшившаяся Соня послала ему воздушный поцелуй, и Мартын споткнулся о какой-то ящик.

«Ну вот — уехали», — сказал он со вздохом и почувствовал облегчение. Он перебрался на другой вокзал, купил свежий номер юмористического журнала с носатым, крутогорбым Петрушкой на обложке, а когда все было высосано из журнала, засмотрелся на нежные луга, проплывавшие мимо. «Моя прелесть, моя прелесть», — произнес он несколько раз и, глядя сквозь горячую слезу на зелень, вообразил, как, после многих приключений, попадет в Берлин, явится к Соне, будет, как Отелло, рассказывать, рассказывать... «Да, так дальше нельзя, — сказал он, пальцем потирая веко и напрягая надгубье, — нельзя, нельзя. Больше активности». Прикрыв глаза, удобно вдвинувшись в угол, он принялся готовиться к опасной экспедиции, изучал карту, никто не знал, что собирается сделать, знал, пожалуй, только Дарвин, прощай, прощай, ни пуха ни пера, отходит поезд на север, — и на этих приготовлениях он заснул, как прежде засыпал, надевая в мечте футбольные доспехи. Было

темно, когда он прибыл в Кембридж. Дарвин читал все ту же книгу и, как лев, зевнул, когда он к нему вошел. И тут Мартын поддался маленькому озорному соблазну,— за что впоследствии поплатился. Он с нарочитой задумчивой улыбкой уставился в угол, и Дарвин, неторопливо доканчивая зевок, посмотрел на него с любопытством. «Я счастливейший человек в мире,— тихо и проникновенно сказал Мартын.— Ах, если б можно было все рассказать». Он, впрочем, не лгал: давеча в вагоне, когда он заснул, ему привиделся сон, выросший из двух-трех Сониных слов,— она прижимала его голову к своему гладкому плечу, наклонялась, щекоча губами, говорила что-то придушенно-тепло и нежно, и теперь было трудно отделить сон от яви. «Что ж, очень рад за тебя»,— сказал Дарвин. Мартыну вдруг сделалось неловко, и он, посвистывая, пошел спать. Через неделю он получил открытку с видом Бранденбургских ворот и долго разбирал паукообразный Сонин почерк, тщетно пытаясь найти скрытый смысл в незначительных словах.

И вот плывя по реке под низкими цветущими ветвями, Мартын вспоминал, проверял, испытывал разными кислотами последнюю встречу с ней,— приятная, хотя не очень плодотворная работа. Было жарко, сквозь закрытые веки солнце проникало томным клубничным румянцем, слышен был сдержанный плеск воды и далекая нежная музыка плывущих граммофонов. Погодя Мартын открыл глаза и в потоке солнца увидел Дарвина, лежащего в подушках напротив, в таких же белых фланелевых штанах и открытой рубашке, как и он. На юте этой плотоподобной шлюпки с плоским, неглубоким днищем и тупым носом стоял Вадим и налегал на упорный шест. Потрескавшиеся бальные туфли сверкали



от брызг, на остром лице было внимательное выражение,— он любил воду, он священнодействовал, искусно, плавно орудуя шестом, вынимая его из воды ритмическими перехватами и снова на него налегая. Шлюпка скользила между цветущих берегов; в прозрачно-зеленоватой воде отражались то каштаны, то млечные кусты ежевики; иногда падал лепесток, и было видно в воде, как из глубины спешит к нему навстречу отражение, и вот — сошлись. Мимо, лениво и безмолвно, если не считать воркотни граммофонов, проплывали такие же плоские шлюпки, а изредка байдарка или пирога со вздернутым носом. Мартын заметил впереди открытый цветной зонтик, который колесом вращался то вправо, то влево, но от женщины, тихо вращавшей его, ничего не было видно, кроме руки — почему-то в белой перчатке. На корме стоял молодой человек в очках и очень неумело действовал шестом, так что шлюпка виляла, и Вадим кипел презрением и не знал, с какой стороны ее перегнуть. На первой же излуине она неуклонно пошла на берег, причем выпуклый зонтик обернулся в профиль, и Мартын узнал Розу. «Посмотри, как забавно»,— сказал он, и Дарвин, не меняя положения толстых заломленных рук, посмотрел по направлению его взгляда. «Запрещаю с ней здороваться»,— сказал он спокойно. Мартын улыбнулся: «Нет, нет, непременно». «Если ты это сделаешь,— протяжно проговорил Дарвин,— я отшибу тебе голову». Было что-то странное в его глазах, и Мартыну сделалось не по себе: но именно потому, что он расслышал в словах Дарвина нешуточную угрозу и испугался ее, Мартын, проплывая мимо застрявшей в кустах шлюпки, крикнул: «Алло, алло, Роза!» И она молча улыбнулась, сияя глазами и вертя зонтиком, и моло-

дой человек в очках уронил со шлепком шест в воду, и в следующее мгновение поворот их закрыл, и Мартын опять закинул голову и стал смотреть в небо. Через несколько минут молчаливого скольжения вдруг раздался голос Дарвина: «Здорово, Джон,— рывкнул он.— Подплывай сюда!»

Джон ослабился и затабанил. Этот чернобрый, ежом остриженный толстяк был даровитым математиком и недавно получил за одну из своих работ стипендию. Он глубоко сидел в пироге, двигая вдоль самого борта блестящим гребком. «Вот что, Джон,— сказал Дарвин.— Тут меня вызвали на драку, так что будь свидетелем. Мы выберем место потише и пристанем». «Ладно»,— ответил Джон, не выказав никакого удивления, и, плывя рядом, стал длинно рассказывать о студенте, недавно купившем гидроплан и немедленно разбившем его при попытке подняться вот с этой узкой реки. Мартын лежал в подушках не шевелясь. Знакомая дрожь и слабость в ногах. Быть может, Дарвин все-таки шутит. С чего бы ему так взъерепениться?

Вадим, поглощенный навигаторским таинством, ничего, по-видимому, не слышал. После трех-четырех поворотов Дарвин попросил его пристать. Уже близился вечер. Река в этом месте была пустынна. Вадим направил шлюпку на зеленый мысок, выдававшийся из-под навеса листвы. Мягко стукнулись.

## XXIX

Дарвин первый выскочил на берег и помог Вадиму причалиться. Мартын потянулся, неторопливо встал, вышел тоже. «Я вчера начал

читать Чехова,— сказал ему Джон, шевеля бровями.— Очень благодарю вас за совет. Милый, человеческий писатель». «О, еще бы»,— ответил Мартын и быстро подумал: «Неужто и впрямь будет драка?»

«Ну вот,— сказал Дарвин, подойдя.— Теперь можно приступить; если пройти сквозь эти кусты, мы выйдем на поляну. С реки ничего не будет видно».

Вадим только теперь понял, что затевается. «Мамка тебя убьет»,— сказал он по-русски Мартыну. «Пустяки,— ответил Мартын.— Я боксую не хуже его». «Не надо бокса,— лихорадочно шепнул Вадим.— Дай ему сразу ногой»,— и он определил, куда именно. Стоял он за Мартына только из любви к отечеству.

Полянка, окруженная орешником, оказалась ровной, бархатной. Дарвин засучил рукава, но, подумавши, развернул их опять и снял рубашку: осветилось крупное розовое тело с мускулистым лоском на плечах и с дорожкой золотистых волос посредине широкой груди. Он покрепче затянул ремень пояса и вдруг заулыбался. «Все это шутка»,— радостно подумал Мартын, но, на всякий случай, тоже обнажил торс: кожа у него была более кремового оттенка с многочисленными родинками, как часто бывает у русских. По сравнению с Дарвином он казался более поджарым, хотя был плотен и плечист. Он снял через голову крест, загреб в ладонь цепочку и эту горсточку текучего золота сунул в карман. Вечернее солнце обдавало теплом лопатки.

«Вы как хотите,— с перерывами?» — спросил Джон, удобно растянувшись на траве. Дарвин вопросительно взглянул на Мартына, который стоял, сложив руки на груди и расставя ноги. «Мне все

равно», — заметил Мартын, а в мыслях пронеслось: «Нет, по-видимому, драка будет, — это ужасно...» Кругом да около беспокойно слонялся Вадим, заложив руки в карманы, посапывал, смущенно ухмылялся, а потом сел по-турецки рядом с Джоном. Джон вынул часы. «Им все-таки не следует давать больше пяти минут, — правда, Вадим?» Вадим растерянно закивал. «Ну-с, можете начать», — сказал Джон.

Дарвин и Мартын, мгновенно сжав кулаки, подняли согнутые в локтях руки (правая заслоняет живот, левая ходит поршнем) и принялись упруго и живо переступать на напряженных ногах, словно потанцовывая. В эту минуту Мартыну еще казалось невозможным ударить Дарвина в лицо, в это большое, гладко выбритое, доброе лицо с мягкими морщинками у рта; но, когда кулак Дарвина вдруг вылетел и Мартина треснул по челюсти, все изменилось: пропал страх, стало на душе хорошо, светло, а звон в голове от встряски пел о Соне, — настоящей виновнице поединка. Увильнувшись от нового выпада, он хватил Дарвина по его доброму лицу, вовремя нырнул (стремительная рука Дарвина метеором пронеслась над самым теменем) и хотел двинуть еще раз снизу вверх, но промахнулся и получил сам в глаз такой черный и звездный удар, что пошатнулся и уже не смог отклониться от пяти-шести кулаков, летавших вокруг его головы, но самый опасный из них ему все же удалось пропустить через плечо: нагнувшись, он обманул Дарвина проворным маневром и со всей силы хряпнул его по мокрому, твердому от зубов рту, — и тут же сам екнул, почувствовав, словно налетел животом на торчащий конец железного бруса. Оба отскочили друг от друга и пошли опять кружить, и у Дарвина

из угла рта текла красная струйка, и он дважды сплюнул. Схватились снова. Джон, задумчиво покуривая трубку, мысленно противопоставлял опытность Дарвина быстроте Мартына и думал, что, пожалуй, в ринге он, выбирая между этими двумя тяжеловесами, отдал бы предпочтение старшему. У Мартына левый глаз закрылся и уже распух, и оба бойца были мокрые и лоснящиеся, в красноватых пятнах. Вадим меж тем разошелся, что-то азартно кричал, Джон на него шикал. Бабах в ухо: Мартын не удержался на ногах, и, пока он валился, Дарвин успел его еще раз хватить, и Мартын сильно сел на траву, ушибив копчик, но тотчас вспрянул и налетел. Несмотря на боль в голове, на глухоту, на багровый туман в глазах, Мартыну казалось, что он причиняет Дарвину больше увечий, чем тот ему, но Джон, знаток бокса, уже ясно видел, что Дарвин только входит во вкус, еще немножко, и младший будет уложен. Мартын, однако, чудом выдержал решительный напор Дарвина, состоявшийся из звучных заушин, кои зовутся раскатихами, и успел еще раз брякнуть его по рту, а случайно коснувшись своих белых штанов, оставил на них красный отпечаток. Он дышал с присвистом, мало уже соображал, и то, что было перед ним, называлось уже не Дарвин,— и вообще не носило человеческого имени,— а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой следовало шмякать из последних сил. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то,— куда — он не видел,— но тотчас множество кулаков, справа, слева, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать, он упрямо искал в этом вихре брешь, нашел, забарабанил по какой-то чмокающей мякине, почувствовал вдруг, что у самого отлетает голова, и, поскользнувшись,

повис на Дарвине, зажимая сдвинутыми локтями его мокрые, горячие руки. «Время!» — донесся вдруг из отдаленных пространств голос Джона, и бойцы расцепились, Мартын рухнул на мураву; Дарвин, улыбаясь окровавленным ртом, присел рядом, нежно перекинул руку через его плечо, и оба замерли, склонив головы и тяжело дыша.

«Надо вам обмыться», — сказал Джон, а Вадим, с опаской подойдя, стал разглядывать их разбитые лица. «Ты можешь встать?» — с участием спросил Дарвин; Мартын кивнул и, опираясь на него, выпрямился, и они в обнимку направились к реке; Джон похлопал их по холодным голым спинам; Вадим пошел вперед, отыскал укромный затончик; Дарвин помог Мартыну хорошенько обмыть лицо и торс, а потом Мартын сделал для него то же, — и оба тихо и участливо спрашивали друг у друга, где болит, не жжет ли вода.

### XXX

Сумерки уже переходили в ночь, щелкали соловьи, дымные луга и темный прибрежный кустарник дышали сыростью. Джон в своей черной пироге исчез в тумане реки. Вадим, опять стоя на юте, призрачно белея во мраке, безмолвно, с лунатической плавностью, погружал свой призрачный шест. Мартын и Дарвин лежали рядом на подушках, размаянные, томные, опухшие, и глядели тремя глазами на небо, по которому изредка проходила темная ветвь. И это небо, и ветвь, и едва плещущая вода, и фигура Вадима, таинственно облагороженного любовью к плаванию, и цветные огни бумажных фонарей на носах встречных шлюпок, и мысль, что на днях конец Кембриджу, что в последний



раз, быть может, они втроем скользят по узкой туманной реке,— все это для Мартына сливалось во что-то удивительное, очаровательное, а свинцовая боль в голове и ломота в плечах тоже казались ему возвышенного, романтического свойства: ибо так плыл раненый Тристан сам-друг с арфой.

Еще одна последняя излучина, и вот — берег. Берег, к которому Мартын пристал, был очень хорош, ярок, разнообразен. Он знал, однако, что, например, дядя Генрих твердо уверен, что эти три года плавания по кембриджским водам пропали даром, оттого что Мартын побаловался филологической прогулкой, не Бог весть какой дальней, вместо того чтобы изучить плодоносную профессию. Мартын же, по совести, не понимал, чем знаток русской словесности хуже инженера путей сообщения или купца. Оказалось, что в зверинце у дяди Генриха,— а зверинец есть у каждого,— имелся, между прочим, и тот зверек, который по-французски зовется «черным», и этим черным зверьком был для дяди Генриха двадцатый век. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшего времени, чем то, в которое он живет, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках,— страсть к исследованию неведомых земель, дерзкие опыты, подвиги любознательных людей, которые слепли или разлетались на мелкие части, героические заговоры, борьба одного против многих,— все это проявлялось теперь с небывалой силой. То, что человек, проигравший на бирже миллион, хладнокровно кончал с собой, столь же поражало воображение Мартына, как, скажем, вольная смерть полководца, павшего грудью на меч. Автомобильная реклама,

ярко алеющая в диком и живописном ущелье, на совершенно недоступном месте альпийской скалы, восхищала его до слез. Услужливость, ласковость очень сложных и очень простых машин, как, например, трактор или линотип, приводила его к мысли, что добро в человечестве так заразительно, что передается металлу. Когда над городом, изумительно высоко в голубом небе, аэроплан величиной с комарика выпускал нежные, молочно-белые буквы во сто крат больше него самого, повторяя в божественных размерах росчерк фирмы, Мартын проникался ощущением чуда. А дядя Генрих, подкармливая своего черного зверька, с ужасом и отвращением говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин; в его представлении была какая-то дьявольская связь между фокстротом, небоскребами, дамскими модами и коктейлями. Кроме того, дяде Генриху казалось, что он живет в эпоху страшной спешки, и было особенно смешно, когда он об этой спешке беседовал в летний день, на краю горной дороги, с аббатом, — меж тем как тихо плыли облака, и старая розовая аббатова лошадь, со звоном отряхиваясь от мух, моргая белыми ресницами, опускала голову полным невыразимой прелести движением и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изредка копыто, и, если разговор о безумной спешке наших дней, о власти доллара, об аргентинцах, соблазнивших всех девушек в Швейцарии, слишком затягивался, а наиболее нежные стебли уже оказывались в данном месте съеденными, она слегка подвигалась вперед, причем со скрипом поворачивались высокие колеса таратайки, и Мартын не мог оторвать взгляд от добрых

седых лошадиных губ, от травинки, застрявшей в удилах. «Вот, например, этот юноша,— говорил дядя Генрих, указывая палкой на Мартына,— вот он кончил университет, один из самых дорогих в мире университетов, а спросите его, чему он научился, на что он способен. Я совершенно не знаю, что он будет дальше делать. В мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами, а вот он, вероятно, мечтает быть летчиком или платным танцором». Мартыну было невдомек, чего именно он служил примером, но аббат, по-видимому, понимал парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына так раздражали подобные разговоры, что он был готов сказать дяде — и, увы, отчиму,— грубость, но вовремя останавливался, заметив особое выражение, которое появлялось на лице у Софьи Дмитриевны всякий раз, как Генрих впадал в красноречие. Тут была и едва проступавшая ласковая насмешка, и какая-то грусть, и бессловесная просьба простить чудаку,— и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И Мартын молчал, втайне отвечая дяде Генриху примерно так: «Неправда, что я в Кембридже занимался пустяками. Неправда, что я ничему не научился. Колумб, прежде чем взяться через западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для получения кое-каких справок в Исландию, зная, что тамошние моряки — народ дошлый и дальнеходный. Я тоже собираюсь исследовать далекую землю».

### XXXI

Софья Дмитриевна не докучала сыну нудными разговорами, до которых был падок Ген-

рих; она не спрашивала его, чем он собирается заниматься, считая, что это все как-то само собой устроится, и была только счастлива, что он сейчас при ней, здоров, плечист, темен от загара, лупит в теннис, говорит низким голосом, ежедневно бреется и вгоняет в мак молодую, яркоглазую мадам Гишар, местную купчиху. Порою она думала о том, что Россия вдруг стряхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся, займут прежние свои места,— и, Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля... По утрам она так же страстно ждала почтальона, как и во дни пребывания сына в Кембридже, и, когда теперь приходило,— а приходило оно нечасто,— письмо на имя Мартына, в конторском конверте, с паукообразным почерком и берлинской маркой, она испытывала живейшую радость и, схватив письмо, спешила к нему в комнату. Мартын еще лежал в постели, очень взлохмаченный, посасывал папиросу, держа руку у подбородка. Он видел в зеркале, как солнечной раной раскрывалась дверь, и видел особое выражение на розовом, веснушчатом лице матери: по ее плотно сжатым, но уже готовым расплыться в улыбку губам он знал, что есть письмо. «Сегодня ничего для тебя нет»,— небрежно говорила Софья Дмитриевна, держа руку за спиной, но сын уже протягивал нетерпеливые пальцы, и оба смеялись, и затем, не желая мешать его удовольствию, она отходила к окну, облокачивалась, захватив ладонями щеки, и с чувством совершенного счастья глядела на горы, на одну далекую, розовато-снежную вершину, которая была видна только из этого окна. Мартын, залпом проглотив письмо, притворялся значительно более довольным, чем на самом деле, так что

Софья Дмитриевна представляла себе эти письма от маленькой Зилановой полными нежности и, вероятно, почувствовала бы печальную обиду за сына, если бы ей довелось их прочесть. Она помнила маленькую Зиланову со странной ясностью: черно-волосая, бледная девочка, всегда с ангиной или после ангины, с шеей, забинтованной или пожелтевшей от йода; она помнила, как однажды повела десятилетнего Мартына к Зилановым на елку, и маленькая Соня была в белом платье с кружевцами и с широким шелковым кушаком на бедрах. Мартын же этого не помнит вовсе, елок было много, они мешались, только одно было очень живо, ибо повторялось всегда: мать говорила, что пора домой, и засовывала пальцы за воротник его матроски, проверяя, не очень ли он потен от беготни, а он еще рвался куда-то с огромной золотой хлопушкой в руке, но хватка матери была ревнива, и вот уже натягивались шерстяные рейтузики, почти до подмышек, надевались ботинки, полушубок, с туго застегивавшимся на душке крючком, отвратительно щекотный башлык, — и вот — морозная радуга фонарей проходит по стеклам кареты. Мартына волновало, что тогда и теперь выражение материнских глаз было то же, — что и теперь, — она легко трогала его за шею, когда он возвращался с тенниса, и приносила Сонино письмо с тою же нежностью, как некогда — выписанное из Англии духовое ружье в длинной картонной коробке.

Ружье оказывалось не совсем таким, как он ожидал, не совпадало с мечтой о нем, как и теперь письма Сони были не такими, каких ему хотелось. Она писала редко, писала как-то судорожно, ни одного не попадалось таинственного слова, и ему приходилось удовлетворяться такими выражения-

ми, как: «часто вспоминаю добрый, старый Кембридж» или «всех благ, мой миленький цветочек, жму лапу». Она сообщала, что служит, машинка да стенография, что с Ириной очень трудно, — сплошная истерия, — что у отца ничего путного не вышло с газетой и он теперь налаживает издательское дело, что в доме иногда не бывает ни копейки, и очень грустно, что масса знакомых, и очень весело, что трамваи в Берлине зеленые и что в теннис берлинцы играют в крахмальных воротничках и подтяжках. Мартын терпел, терпел, протерпел лето, осень и зиму и как-то, в апрельский день, объявил дяде Генриху, что едет в Берлин. Тот надулся и сказал недовольно: «Мне кажется, дружок, что это лишено здравого смысла. Ты всегда успеешь увидеть Европу, — я сам думал осенью взять вас, тебя и твою мать, в Италию. Но ведь нельзя без конца валандаться. Короче, — я хотел тебе предложить попробовать твои молодые силы в Женеве...» (Мартын хорошо знал, о чем речь, — уже несколько раз выползал крадучись этот жалкий разговор о каком-то коммерческом доме братьев Пти, с которыми дядя Генрих был в деловых сношениях), — попробовать твои молодые силы, — повторил дядя Генрих. — В этот жестокий век, в этот век очень практический, юноша должен научиться зарабатывать свой хлеб и пробивать себе дорогу. Ты основательно знаешь английский язык. Иностранная корреспонденция — вещь крайне интересная. Что же касается Берлина... Ты ведь не очень силен в немецком, — не так ли? Не вижу, что ты будешь там делать». «Предположим, что ничего», — угрюмо сказал Мартын. Дядя Генрих посмотрел на него с удивлением. «Станный ответ. Не знаю, что твой отец подумал бы о подобном ответе. Мне кажется, что



он, как и я, был бы удивлен, что юноша, полный здоровья и сил, гнушается всякой работы. Пойми, пойми,— спешно добавил дядя Генрих, заметив, что Мартын неприятно побагровел,— я вовсе не мелочен. Я достаточно богат, слава Богу, чтобы тебя обеспечить,— я себе делаю из этого долг и счастье,— но с твоей стороны было бы безумием не работать. Европа проходит через неслыханный кризис, человек теряет состояние в мгновение ока. Это так, ничего не поделаешь, надо быть ко всему готовым». «Мне твоих денег не нужно»,— тихо и грубо сказал Мартын. Дядя Генрих сделал вид, будто не расслышал, но его глаза налились слезами. «Неужели,— спросил он,— у тебя нет честолюбия? Неужели ты не думаешь о карьере? Мы, Эдельвейсы, всегда умели работать. Твой дед был сначала бедным домашним учителем. Когда он сделал предложение твоей бабушке, ее родители прогнали его из дому. И вот — через год он возвращается директором экспортной фирмы, и тогда, разумеется, все препятствия были сметены...» — «Мне твоих денег не нужно,— еще тише повторил Мартын,— а насчет дедушки — это все глупая семейная легенда,— и ты это знаешь». — «Что с ним, что с ним,— с испугом забормотал дядя Генрих.— Какое ты имеешь право меня так оскорблять? Что я тебе сделал худого? Я, который всегда...» — «Одним словом, я еду в Берлин»,— перебил Мартын и, дрожа, вышел из комнаты.

### XXXII

Вечером было примирение, объятия, сморкание, разнеженный кашель,— но Мартын настоял на своем. Софья Дмитриевна, чувствуя

его тоску по Соне, оказалась его сообщницей и бодро улыбалась, когда он садился в автомобиль.

Как только дом скрылся из виду, Мартын переменялся местами с шофером и, легко, почти нежно держа руль, словно нечто живое и ценное, и глядя, как мощная машина глотает дорогу, испытывал почти то же, что в детстве, когда, сев на пол, так, чтобы педали рояля пришлись под подошвы, держал между ног табурет с круглым вращающимся сидением, орудовал им, как рулем, брал на полном ходу восхитительные повороты, еще и еще нажимал педаль (рояль при этом гукал) и шурился от воображаемого ветра. Затем в поезде, в немецком вагоне, где в простенках были небольшие карты, как раз тех областей, по которым данный поезд не проходил, — Мартын наслаждался путешествием, ел шоколад, курил, совал окурок под железную крышку пепельницы, полной сигарного праха. К Берлину он подъезжал вечером и, глядя прямо из вагона на уже освещенные улицы, пережил снова давнишнее детское впечатление Берлина, счастливые жители которого могут хоть каждый день смотреть на поезд баснословного следования, плывущий по черному мосту над ежедневной улицей, и вот этим отличался Берлин от Петербурга, где железнодорожное движение скрывалось, как некое таинство. Но через неделю, когда он к городу присмотрелся, Мартын был уже бессилен восстановить тот угол зрения, при котором черты показались знакомы, — как при встрече с человеком, годами не виденным, признаешь сперва его облик и голос, а присмотришься — и тут же наглядно проделывается все то, что незаметно проделало время, меняются черты, разрушается сходство, и сидит чужой че-

ловек, самодовольный поглотитель небольшого и хрупкого своего двойника, которого отныне уже будет трудно вообразить, — если только не поможет случай. Когда Мартын нарочно посещал те улицы в Берлине, тот перекресток, ту площадь, которые он видел в детстве, ничто, ничто не волновало его душу, но зато, при случайном запахе угля или бензинного перегара, при особом бледном оттенке неба сквозь кисею занавески, при дрожи оконных стекол, разбуженных грузовиком, он мгновенно проникался тем городским, отельным, бледно-утренним, чем некогда пахнул на него Берлин. Игрушечные магазины на когда-то нарядной улице поределели, осунулись, локомотивы в них были теперь поменьше, поплоше. Мостовая на этой улице была разворочена, рабочие в жилетках сверлили, дымили, рыли глубокие ямы, так что приходилось пробираться по мосткам, а иногда даже по рыхлому песку. В пассажном паноптикуме потеряли свою страшную прелесть человек в саване, энергично выходящий из могилы, и железная женщина для чрезвычайной пытки. Когда Мартын пошел искать на Курфюрстендаме тот огромный скетинг-ринк, от которого остались в памяти: гремучий раскат колесиков, красная форма инструкторов, раковина оркестра, соленый торт-мокко, подававшийся в круговых ложах, и па-де-патинер, которое он танцевал под всякую музыку, подгибая то правый, то левый ролик, и, Бог ты мой, как он раз шлепнулся, — оказалось, что все это исчезло бесследно. Курфюрстендам изменился тоже, возмужал, вытянулся, и где-то — не то под новым домом, не то на пустыре, — была могила большого тенниса в двадцать площадок, где раза два Мартын играл с матерью, которая, подавая снизу мяч, говорила ясным голо-

сом «плэй» и, бегая, шуршала юбкой. Теперь, не выходя из города, он добирался до Грюневальда, где жили Зилановы, и от Сони узнавал, что бессмысленно ездить за покупками к Вертхайму и что вовсе не обязательно посещать Винтергартен, — где некогда высокий потолок был как дивное звездное небо и в ложах, у священных столиков, сидели прусские офицеры, затянутые в корсеты, а на сцене двенадцать голоногих девиц пели гортанными голосами и, держась под руки, переливались справа налево и обратно и вскидывали двенадцать белых ног, и маленький Мартын тихо охнул, узнав в них тех миловидных, скромных англичанок, которые, как и он, бывали по утрам на деревянном катке.

Но, пожалуй, самым неожиданным в этом новом, широко расползавшемся Берлине, таком тихом, деревенском, растяпистом по сравнению с гремящим, тесным и нарядным городом Мартынова детства, — самым неожиданным в нем была та развязная, громкоголосая Россия, которая тараторила повсюду — в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов. Лет десять тому назад, в одной из своих пророческих грез (а у всякого человека с большим воображением бывают грезы пророческие, — такова математика грез), петербургский отрок Мартын снился себе самому изгнанником, и подступали слезы, когда, на воображаемом дебаркадере, освещенном причудливо тускло, он невзначай знакомился — с кем?.. — с земляком, сидящим на сундуке, в ночь озноба и запозданий, и какие были дивные разговоры! Для роли этих земляков он просто брал русских, замеченных им во время заграничной поездки, — семью в Биаррице, с гувернанткой, гувернером, бритым лакеем и рыжей таксой, замечательную белокурую даму в берлин-

ском Кайзергофе, или в коридоре Норд-экспресса старого господина в черной мурмолке, которого отец шепотом называл «писатель Боборыкин», — и, выбрав им подходящие костюмы и реплики, посылал их для встреч с собой в отдаленнейшие места света. Ныне эта случайная мечта — следствие Бог весь какой детской книги — воплотилась полностью и, пожалуй,хватила через край. Когда, в трамвае, толстая расписная дама уныло повисала на ремне и, гремя роскошными русскими звуками, говорила через плечо своему спутнику, старику в седых усах: «Поразительно, прямо поразительно, — ни один из этих невежд не уступит место», — Мартын вскакивал и, с сияющей улыбкой повторяя то, что некогда в отроческих мечтах случайно прорепетировал, восклицал: «Пожалуйста!» — и, сразу побледнев от волнения, повисал в свою очередь на ремне. Мирные немцы, которых дама звала невежами, были все усталые, голодные, работающие, и серые бутерброды, которые они жевали в трамвае, пускай раздражали русских, но были необходимы: настоящие обеды обходились дорого в тот год, и, когда Мартын менял в трамвае доллар, — вместо того, чтобы на этот доллар купить доходный дом, — у кондуктора от счастья и удивления тряслись руки. Доллары Мартын зарабатывал особым способом, которым очень гордился. Труд был, правда, каторжный. С мая, когда он на этот труд набрел (благодаря милейшему русскому немцу Киндерману, уже второй год преподававшему теннис случайным богачам), и до середины октября, когда он вернулся на зиму к матери, и потом опять целую весну, — Мартын работал почти ежедневно с раннего утра до заката, — держа в левой руке пять мячей (Киндерман умел держать шесть), посылал

их по одному через сетку все тем же гладким ударом ракетки, меж тем как напряженный пожилой ученик (или ученица) по ту сторону сетки старательно размахивался и обыкновенно никуда не попадал. Первое время Мартын так уставал, так ныло правое плечо, так горели ноги, что, придя домой, он сразу ложился в постель. От солнца волосы посветлели, лицо потемнело, — он казался негативом самого себя. Майорская вдова, его квартирная хозяйка, от которой он для пущей таинственности скрывал свою профессию, полагала, что бедняга принужден, как, увь, многие интеллигентные люди, заниматься черным трудом, таскать камни, например (отсюда загар), и стесняется этого, как всякий деликатный человек. Она деликатно вздыхала и угощала его по вечерам колбасой, присланной дочерью из померанского имения. Была она саженного роста, краснолицая, по воскресеньям душилась одеколоном, держала у себя в комнате попугая и черепаху. Мартына она считала жильцом идеальным: он редко бывал дома, гостей не принимал и не пользовался ванной (последнюю заменяли сполна душ в клубе и Грюневальдское озеро). Эта ванна была вся снутри облеплена хозяйскими волосами, сверху на веревке зловонно сохли безымянные тряпки, а рядом у стены стоял старый, пыльный, поржавевший велосипед. Впрочем, добраться до ванны было мудрено: туда вел длинный, темный, необыкновенно угластый коридор, заставленный всяким хламом. Комната же Мартына была вовсе не плохая, очень забавная, с такими предметами роскоши, как пианино, испокон века запертое на ключ, или громоздкий, сложный барометр, испортившийся года за два до последней войны, — а над диваном, на зеленой стене, как постоянное, благо-



желательное напоминание, вставал из беклиновских волн тот же голый старик с трезубцем, который — в раме попроще — оживлял гостиную Зилановых.

### XXXIII

Когда в первый раз он к ним пришел, увидел их дешевую, темную квартиру, состоящую из четырех комнат и кухни, где на столе сидела по-новому причесанная, совсем чужая Соня и, качая ножками в заштопанных чулках, тянула носом и чистила картофель, Мартын понял, что нечего ждать от Сони, кроме огорчений, и что напрасно он махнул в Берлин. Чужое в ней было все: и бронзового оттенка джемпер, и открытые уши, и простуженный голос, — ее донимал сильный насморк, вокруг ноздрей и под носом было розово, она чистила картофель, сморкалась и, высморкавшись, уныло крякала и опять срезала ножом спирали бурой шелухи. К ужину была гречневая каша, маргарин вместо масла; Ирина пришла к столу, держа на руках котенка, с которым не расставалась, и встретила Мартына радостным и страшным смехом. И Ольга Павловна, и Елена Павловна постарели за этот год, еще больше стали похожи друг на дружку, и только один Зиланов был все тот же и с прежнею мощью резал хлеб. «Я слышал, — (хряк, хряк), — что Грузинов в Лозанне, вы его, — (хряк), — не встречали? Мой большой приятель и замечательная волевая личность». Мартын не имел ни малейшего представления, кто такой Грузинов, но ничего не спросил, боясь попасть впросак. После ужина Соня мыла тарелки, а он их вытирал и одну разбил. «С ума сойти, все заложено, — сказала она и пояснила:—

Да нет, не вещи, а у меня в носу. Вещи, впрочем, тоже». Затем она спустилась вместе с ним, чтобы отпереть ему дверь, — и очень забавно при нажиме кнопки стучало что-то, и вспыхивал на лестнице свет, — и Мартын покашливал и не мог выговорить ни одного слова из всех тех, которые он собирался Соне сказать. Далее последовали вечера совсем другие — множество гостей, танцы под граммофон, танцы в ближнем кафе, темнота маленького кинематографа за углом. Со всех сторон возникали возле Мартына новые люди, туманности рождали миры, и вот получало определенные имена и облики все русское, рассыпанное по Берлину, все, что так волновало Мартына, — будь это просто обрывок житейского разговора среди прущей панельной толпы, хамелеонное словцо — дóллары, доллáры, долларá, — или схваченная на лету речитативная ссора четы, «а я тебе говорю...» — для женского голоса, — «ну, и пожалуйста» — для мужского, — или, наконец, человек, летней ночью с задранной головой бьющий в ладони под освещенным окном, выкликающий звучное имя и отчество, от которого сотрясается вся улица, и шарахается, нервно хрюкнув, таксомотор, чуть не налетевший на голосистого гостя, который уже отступил на середку мостовой, чтобы лучше видеть, не появился ли Петрушкой в окне нужный ему человек. Через Зиланова Мартын узнал людей, среди которых сначала почувствовал себя невеждой и чужаком. В некотором смысле с ним повторилось то же, что было, когда он приехал в Лондон. И теперь, когда на квартире у писателя Бубнова большими волнами шел разговор, полный имен, и Соня, все знавшая, смотрела искоса на него с насмешливым сожалением, Мартын краснел, терялся, собирался пустить свое утлое словцо на

волны чужих речей, да так, чтобы оно не опрокинулось сразу, и все не мог решиться, и потому молчал; зато, устыдясь отсталости своих познаний, он много читал по ночам и в дождливые дни и очень скоро принялся к тому особому запаху — запаху тюремных библиотек, — который исходил от советской словесности.

#### XXXIV

Писатель Бубнов, — всегда с удовольствием отмечавший, сколь много выдающихся литературных имен двадцатого века начинается на букву «б», — был плотный, тридцатилетний, уже лысый мужчина с огромным лбом, глубокими глазницами и квадратным подбородком. Он курил трубку, — сильно вбирая щеки при каждой затяжке, — носил старый черный галстук бантиком и считал Мартына франтом и европейцем. Мартына же пленяла его напористая круглая речь и вполне заслуженная писательская слава. Начав писать уже за границей, Бубнов за три года выпустил три прекрасные книги, писал четвертую, героем был Христофор Колумб — или, точнее, русский дьяк, чудесно попавший матросом на одну из Колумбовых каравелл, — а так как Бубнов не знал ни одного языка, кроме русского, то для собирания некоторых материалов, имевшихся в Государственной библиотеке, охотно брал с собою Мартына, когда тот бывал свободен. Немецким Мартын владел плоховато и потому радовался, если текст попадался французский, английский или — еще лучше — итальянский: этот язык он знал, правда, еще хуже немецкого, но небольшое свое знание особенно ценил, памятуя, как с меланхолическим Тэдди переводил Данте. У Бубнова бы-

вали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты,— все это были люди, по мнению Бубнова, среднего таланта, и он праведно царил среди них, выслушивал, прикрыв ладонью глаза, очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременно присутствием Медного всадника) и затем говорил, тиская бритый подбородок: «Да, хорошо»; и повторял, уставившись бледно-карими, немного собачьими, глазами в одну точку: «Хорошо», с менее убедительным оттенком; и, снова переменяв направление взгляда, говорил: «Не плохо»; а затем: «Только, знаете, слишком у вас Петербург портативный»; и, постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо, со вздохом, бормотал: «Все это не то, все это не нужно», и удрученно мотал головой, и вдруг с блеском, с восторгом, разрешался стихом из Пушкина,— и, когда однажды молодой поэт, обидевшись, возразил: «То Пушкин, а это я»,— Бубнов подумал и сказал: «А все-таки у вас хуже». Случалось, впрочем, что чья-нибудь вещь была действительно хороша, и Бубнов,— особенно если вещь была написана прозой,— делался необыкновенно мрачным и несколько дней пребывал не в духах. С Мартыном, который, кроме писем к матери, ничего не писал (и был за это прозван одним острословом «наша мадам де Севинье»), Бубнов дружил искренно и безбоязненно, и раз даже, после третьей кружки пильзнера, весь налитой светлым пивом, весь тугой и прозрачный, мечтательно заговорил (и это напомнило Яйлу, костер) о девушке, у которой поет душа, поют глаза и кожа бледна, как дорогой фарфор,— и затем свирепо глянул на Мартына и сказал: «Да, это пошло, сладко, отвратительно, фу... презирай меня, пускай я бездарь, но я ее люблю. Ее имя как купол, как

свист голубиных крыльев, я вижу свет в ее имени, особый свет «кана-инум» старых хадирских мудрецов,— свет оттуда с востока,— о, это большая тайна, страшная тайна»; и уже истошным шепотом: «Женская прелесть страшна,— ты понимаешь меня,— страшна. И туфельки у нее стоптаны, стоптаны...»

Мартын стеснялся и молча кивал. С Бубновым он всегда чувствовал себя странно, немного как во сне,— и как-то не совсем доверял ни ему, ни хадирским старцам. Другие Сонины знакомые, как, например, веселый, зубастый Каллистратов, бывший офицер, теперь занимавшийся автомобильным извозом, или милая, белая, полногрудая Веретенникова, игравшая на гитаре и певшая звучным контральто «Есть на Волге утес», или молодой Иоголевич, умный, ехидный, малоразговорчивый юноша в роговых очках, читавший Пруста и Джойса, были куда проще Бубнова. К этим Сониным друзьям примешивались и пожилые знакомые ее родителей,— все люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущего некролога в сто кристальных строк. Но когда, в июльский день, от разрыва сердца умер на улице, охнув и грузно упав ничком, старый Иоголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате и подлинном труженике, и Михаил Платонович, с портфелем под мышкой шел один из первых за гробом, среди роз и черного мрамора еврейских могил, Мартыну казалось, что слова некролога «пламенел любовью к России» или «всегда держал высоко перо» как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова, могли быть применены и к Зиланову, и к самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразие покойного, действительно

незаменимого,— его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде чем ее наклеить на конверте да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик,— и со странным перескоком мысли Мартын поклялся себе, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности. И часто Мартын дивился, почему никак не может заговорить о сокровенных своих замыслах с Зилановым, с его друзьями, со всеми этими деятельными, почтенными, бескорыстно любящими родину русскими людьми.

### XXXV

Но Соня, Соня... От ночных мыслей об экспедиции, от литературных бесед с Бубновым, от ежедневных трудов на теннисе он снова и снова к ней возвращался, подносил для нее спичку к газовой плите, где сразу, с сильным пыхом, выпускал все когти голубой огонь. Говорить с ней о любви было бесполезно, но однажды, провожая ее домой из кафе, где они тянули сквозь соломинки шведский пунш под скрипичный вой румына, он почувствовал такую нежность от теплоты ночи, и от того, что в каждом подъезде стояла неподвижная чета,— так подействовали на него их смех и шепот, и внезапное молчание,— и сумрачное колыхание сирени в палисадниках, и диковинные тени, которыми



свет фонаря оживлял леса обновлявшегося дома, — что внезапно он забыл обычную выдержку, обычную боязнь быть поднятым Соней на зубки, — и чудом заговорил — и о чем? — о Горации. Да, Гораций жил в Риме, а Рим походил на большую деревню, где, впрочем, немало было мраморных зданий, но тут же гнались за бешеной собакой, тут же хлупала в грязи свинья с черными своими поросятами, — и всюду строили, стучали плотники, громыхая, проезжала телега с лигурийским мрамором или огромной сосной, — но к вечеру стук затихал, как затихал в сумерки Берлин, и напоследок гремели железные цепи запираемых на ночь лавок, совсем как гремели, спускаясь, ставни лавок берлинских, и Гораций шел на Марсово поле, тщедушный, но с брюшком, лысый и ушастый, в неряшливой тоге, и слушал нежный шепот бесед под портиками, прелестный смех в темных углах.

«Ты такой милый, — вдруг сказала Соня, — что я должна тебя поцеловать, — только постой, отойдем сюда». У решетки, через которую свисала листва, Мартын привлек к себе Соню и, чтобы не потерять ничего из этой минуты, не зажмурился, медленно целуя ее холодные мягкие губы, а следил за бледным отсветом на ее щеке, за дрожью ее опущенных век: веки поднялись на мгновение, обнажив влажный слепой блеск, и прикрылись опять, и она вздрагивала и вытягивала губы, и вдруг ладонью отодвинула его лицо и, стуча зубами, вполголоса сказала, что больше не надо, пожалуйста, больше не надо.

«А если я другого люблю?» — спросила Соня с неожиданной живостью, когда они снова побрели по улице. «Это ужасно», — сказал Мартын и почувствовал, что было какое-то мгновение, когда он мог Со-

ню удержать, — а теперь она опять выскользнула. «Убери руку, мне неудобно идти, что за манера, как воскресный приказчик», — вдруг проговорила она, и последняя надежда, блаженно теплое ощущение ее голого плеча, предплечья под его рукой, — исчезло тоже. «У него есть по крайней мере талант, — сказала она, — а ты — ничто, просто путешествующий барчук». «У кого — у него?» Она ничего не ответила и молчала до самого дома; но на прощанье поцеловала еще раз, закинув ему за шею обнаженную руку, и, с серьезным лицом, потупясь, заперла снутри дверь, и он проследил сквозь дверное стекло, как она поднялась по лестнице, поглаживая балюстраду, — и вот — исчезла за поворотом, и вот — потух свет.

«С Дарвином, вероятно, было то же самое», — подумал Мартын, и ему страшно захотелось его повидать, — но Дарвин был далеко, в Америке, посланный туда лондонской газетой. И на другой день простыл след этого вечера, точно его не было вовсе, и Соня уехала с друзьями за город, на Павлиний остров, там был пикник, и купание, Мартын об этом даже не знал, — и когда вечером подходил к ее дому, неся под мышкой большую плюшевую собаку с малиновым бантом, купленную за пять минут до закрытия магазина, то встретил на улице всю возвращавшуюся компанию, и у Сони на плечах был пиджак Каллистратова, и какая-то вспыхивала между ней и Каллистратовым шутка, смысл которой никто Мартыну не потрудился открыть.

Тогда он ей написал письмо и несколько дней отсутствовал; она ему ответила дней через десять цветной фотографической открыткой: смазливый молодой мужчина наклоняется сзади над зеленой скамейкой, на которой сидит смазливая молодая

женщина, любуясь букетом роз, а внизу золотыми буквами немецкий стишок: «Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят». «Какие миленькие,— написала на обороте Соня,— знай наших! А ты — вот что: приходи, у меня три струны лопнули на ракетке». И ни слова о письме. Но зато при одной из ближайших встреч она сказала: «Послушай, это глупо, можешь, наконец, пропустить один день, тебя заменит Киндерман». «У него свои уроки»,— нерешительно ответил Мартын,— но все же с Киндерманом поговорил, и вот в удивительный день, совершенно безоблачный, Мартын и Соня поехали в озерные, камышовые, сосновые окрестности города, и Мартын героически держал данное ей слово, не делал мармеладных глаз — ее выражение — и не пытался к ней прикоснуться. С этого дня началась между ними по случайному поводу серия особенных разговоров. Мартын, решив поразить Сонино воображение, очень туманно намекнул на то, что вступил в тайный союз, налаживающий кое-какие операции разведочного свойства. Правда, союзы такие существовали, правда, общий знакомый, подручик Мелких, по слухам, пробирался дважды кое-куда, правда и то, что Мартын все искал случая поближе с ним сойтись (раз даже угощал его ужином) и все жалел, что не встретился в Швейцарии с Грузиновым, о котором упомянул Зиланов и который, по наведенным справкам, оказался человеком больших авантур, террористом, заговорщиком, руководителем недавних крестьянских восстаний. «Я не знала, что ты о таких вещах думаешь. Но только, знаешь, если ты правда вступил в организацию, очень глупо об этом сразу болтать». «Ах, я пошутил»,— сказал Мартын и загадочно прищурился для того, чтобы Соня подумала, что он нарочно

обратил это в шутку. Но она этой тонкости не заметила; валяясь на сухой, хвойными иглами устланной земле, под соснами, стволы которых были испещрены солнцем, она закинула голые руки за голову, показывая прелестные впадины подмышек, недавно выбритые и теперь словно заштрихованные карандашом,— и сказала, что это странно,— она тоже об этом часто думает: вот есть на свете страна, куда вход простым смертным запрещен: «Как мы ее назовем?» — спросил Мартын, вдруг вспомнив игры с Лидой на крымском лукоморье. «Что-нибудь такое — северное,— ответила Соня.— Смотри, белка». Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. «Например,— Зоорландия,— сказал Мартын.— О ней упоминают норманны».— «Ну, конечно,— Зоорландия»,— подхватила Соня, и он широко улыбнулся, несколько потрясенный неожиданно открывшейся в ней способностью мечтать. «Можно снять муравья?» — спросил он в скобках. «Зависит откуда».— «С чулка».— «Убирайся, милый,— обратилась она к муравью, смахнула его сама и продолжала:— Там холодные зимы и сосулищи с крыш,— целая система, как, что ли, органые трубы,— а потом все тает и все очень водянисто, и на снегу — точки вроде копоты, вообще знаешь, я все могу тебе рассказать, вот, например, вышел там закон, что всем жителям надо брить головы, и потому теперь самые важные, самые такие влиятельные люди — парикмахеры». «Равенство голов»,— сказал Мартын. «Да. И, конечно, лучше всего лысым». «И, знаешь — Бубнов был бы счастлив»,— в шутку вставил Мартын. На это Соня почему-то обиделась и вдруг иссякла. Все же с того дня она изредка соизволяла играть с ним в Зоорландию, и Мартын терзался мыслью, что она,

быть может, изощренно глумится над ним и вот-вот заставит его оступиться, доведя его незаметно до черты, за которой бредни становятся безвкусны, и внезапным хохотом разбудив босого лунатика, который видит вдруг и карниз, на котором висит, и свою задравшуюся рубашку, и толпу на панели, глядящую вверх, и каски пожарных. Но если это был со стороны Сони обман, — все равно, все равно, его прельщала возможность пускать перед ней душу свою налегке. Они изучили зоорландский быт и законы, страна была скалистая, ветреная, и ветер признан был благой силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. И, конечно, искусства и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея и его слишком толстые книги. Бритоголовые, в бурых рясах, зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали о том, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно. Иногда среди общей беседы, за столом, например, — Соня вдруг поворачивалась к нему и быстро шептала: «Ты слышал, вышел закон, запретили гусеницам окуклиться», — или «Я забыла тебе сказать, что Саван-на-рыло (кличка одного из вождей) приказал врачам лечить все болезни одним способом, а не разбрасываться».

Вернувшись на зиму в Швейцарию, Мартын предвкушал занятную корреспонденцию, но Соня в нечастых своих письмах не упоминала больше о Зоорландии; зато в одном из них просила от имени отца передать Грузинову привет. Оказалось, что Грузинов жил как раз в гостинице, столь привлекшей Мартына, но когда он на лыжах спустился туда, то узнал, что Грузинов на время уехал. Привет он передал жене Грузинова, Валентине Львовне, свежей, ярко одетой сорокалетней даме с иссиня-черными волосами, улыбавшейся очень осторожно, так как передние зубы (всегда запачканные кармином) чересчур выдавались и она спешила натянуть на них верхнюю губу. Таких очаровательных рук, как у нее, Мартын никогда не видал: маленьких, мягких, в жарких перстнях. Но, хотя ее все считали привлекательной и восхищались ее плавными телосложениями, звучным, ласковым голосом, Мартын остался холоден, и ему было неприятно, что она, чего доброго, старается ему нравиться. Боялся он, впрочем, зря. Валентина Львовна была к нему так же равнодушна, как к высокому, носатому англичанину с седой щетиной на узкой голове и с пестрым шарфом вокруг шеи, который катал ее на салазках.

«Муж вернется только в июле», — сказала она и принялась расспрашивать про Зилановых. «...Да-да, я слышала, — несчастная мать, —» (Мартын упомянул об Ирине). — «Вы ведь знаете, с чего это началось?» Мартын знал: четырнадцатилетняя Ирина, тогда тихая, полная девочка, склонная к меланхолии, оказалась с матерью в теплушке, среди всякого сброда. Они ехали бесконечно, — и двое за-



бияк, несмотря на уговоры товарищей, то и дело щупали, щипали, щекотали ее и говорили чудовищные сальности, и мать, улыбаясь от ужаса, беспомощно старалась ее защитить и все повторяла: «Ничего, Ирочка, ничего, ах, пожалуйста, оставьте девочку, как вам не совестно, ничего, Ирочка...» — и совершенно так же вскрикивала и причитала, и совершенно так же держала дочь за голову, когда, уже в другом вагоне, поближе к Москве, солдаты — на полном ходу — вытискивали в окно ее толстого мужа, который чудом подобрал семью на засыпанной снегом станции. Да, он был очень толст и истерически смеялся, так как застрял в окне, но наконец напиравшие густо ухнули, и он исчез, и мимо пустого окна мчался слепой снег. Затем был у Ирины тиф, и она непонятно как выжила, но перестала владеть человеческой речью и только в Лондоне научилась по-разному мычать и довольно сносно произносить «ма-ма».

Мартын никогда как-то с Ириной не занимался, давно привыкнув к ее дурости, но теперь что-то его потрясло, когда Валентина Львовна сказала: «Вот у них в доме есть постоянный живой символ». Зоорландская ночь показалась еще темнее, дебри ее лесов еще глубже, и Мартын уже знал, что никто и ничто не может ему помешать вольным странником пробраться в эти леса, где в сумраке мучат толстых детей и пахнет гарью и тленом. И, когда он по весне впопыхах вернулся в Берлин, к Соне, ему мерещилось (так полны приключений были его зимние ночи), что он уже побывал в той одинокой, отважной экспедиции и вот будет рассказывать, рассказывать. Войдя к ней в комнату, он сказал, торопясь это выговорить, покамест еще не подпал под знакомое опустошительное влияние ее

тусклых глаз: «Так-так, я когда-нибудь вернусь и тогда, вот тогда...» — «Ничего никогда не будет», — воскликнула она тоном пушкинской Наины. Была она еще бледнее обыкновенного, очень уставала на службе; дома ходила в старом черном бархатном платье с ремешком вокруг бедер и в шлепанцах с потрепанными помпонами. Часто по вечерам, надев макинтош, она уходила куда-то, и Мартын, послонявшись по комнатам, медленно направлялся к трамвайной остановке, глубоко засунув руки в карманы штанов, а перебравшись на другой конец Берлина, нежно посвистывал под окном танцовщицы из «Эреба», с которой познакомился в теннисном клубе. Она вылетала на балкончик, и на миг замирала у перил, и затем исчезала, и, вылетев опять, бросала ему завернутый в бумагу ключ. У нее Мартын пил зеленый мятный ликер и целовал ее в золотую голую спину, и она сильно сдвигала лопатки и трясла головой. Он любил смотреть, как она, быстро и тесно переставляя мускулистые загорелые ноги, ходит по комнате, ругмя ругая все того же антрепренера, любил ее странное лицо с неестественно тонкими бровями, оранжеватым румянцем и гладко зачесанными назад волосами, — и тщетно старался не думать о Соне. Как-то, в майский вечер, когда он с улицы переливчато и тихо свистнул, на балкончике, вместо танцовщицы, появился пожилой господин в подтяжках; Мартын вздохнул и ушел, вернулся к дому Зилановых и ходил взад и вперед, от фонаря к фонарю. Соня появилась за полночь, одна, и, пока она рылась в сумке, ища связку ключей, Мартын к ней подошел и робко спросил, куда она ходила. «Ты меня оставишь когда-нибудь в покое?» — воскликнула Соня и, не дождавшись ответа, хрустнула дважды ключом, и тяже-

лая дверь открылась, замерла, бухнула. А затем Мартыну стало казаться, что не только Соня, но и все общие знакомые как-то его сторонятся, что никому он не нужен и никем не любим. Он заходил к Бубнову, и тот смотрел на него странным взглядом, просил извинения и продолжал писать. И наконец, чувствуя, что еще немного, и он превратится в Сонину тень и будет до конца жизни скользить по берлинским панелям, израсходовав на тщетную страсть то важное, торжественное, что зрело в нем, Мартын решил развязаться с Берлином и где-нибудь, все равно где, в очистительном одиночестве спокойно обдумать план экспедиции. В середине мая, уже с билетом на Страсбург в бумажнике, он зашел попрощаться с Соней, и, конечно, ее не оказалось дома; в сумерках комнаты сидела, вся в белом, Ирина, плавала в сумерках, как призрачная черепаха, и не сводила с него глаз, и тогда он написал на конверте: «В Зоорландии вводится полярная ночь», — и, оставив конверт на Сониной подушке, сел в ожидавший таксомотор и, без пальто, без шляпы, с одним чемоданом, — уехал.

### XXXVII

Как только тронулся поезд, Мартын ожил, повеселел, исполнился дорожного волнения, в котором он теперь усматривал необходимую тренировку. Пересев во французский поезд, идущий через Лион на юг, он как будто окончательно высвободился из Сониных туманов. И вот, уже за Лионом, развернулась южная ночь, отражения окон бежали бледными квадратами по черному скату, и в грязном, до ужаса жарком отделении вто-

рого класса единственным спутником Мартына был пожилой француз, бритый, бровастый, с лоснящимися маслами. Француз скинул пиджак и быстрым перебором пальцев сверху вниз расстегнул жилет; стянул манжеты, словно отвинтил руки, и бережно положил эти два крахмальные цилиндра в сетку. Затем, сидя на краю лавки, покачиваясь,— поезд шел вовсю, подняв подбородок, он отцепил воротник и галстук, и так как галстук был готовый, пристяжной, то опять было впечатление, что человек разбирается по частям и сейчас снимет голову. Обнажив дряблую, как у индюка, шею, француз облегченно ею повертел и, согнувшись, крякая, сменил ботинки на старые ночные туфли. Теперь в открытой на курчавой груди рубашке он производил впечатление доброго малого, слегка подвыпившего,— ибо эти ночные спутники, с блестящими бледными лицами и осоловелыми глазами, всегда кажутся захмелевшими от вагонной качки и жары. Порывшись в корзине, он вынул бутылку красного вина и большой апельсин, сперва глотнул из горлышка, чмокнул губами, крепко, со скрипом, вдавил пробку обратно и принялся большим пальцем оголять апельсин, предварительно укусив его темя. И тут, встретившись глазами с Мартином, который, положив на колено [книгу] Таухница, только что приготовился зевнуть, француз заговорил: «Это уже Прованс»,— сказал он с улыбкой, шевельнув усатой бровью по направлению окна, в зеркально-черном стекле которого чистил апельсин его тусклый двойник. «Да, чувствуется юг»,— ответил Мартин. «Вы англичанин?» — осведомился тот и разорвал на две части очищенный, в клочьях седины, апельсин. «Правильно,— ответил Мартин.— Как вы угадали?» Француз, сочно жуя, повел

плечом. «Не так уж мудрено», — сказал он и, глотнув, указал волосатым пальцем на Таухница. Мартын снисходительно улыбнулся. «А я лионец, — продолжал тот, — и состою в винной торговле. Мне приходится много разъезжать, но я люблю движение. Видишь новые места, новых людей, мир, наконец. У меня жена и маленькая дочь», — добавил он, вытирая бумажкой концы растопыренных пальцев. Затем, посмотрев на Мартына, на его единственный чемодан, на мятые штаны и сообразив, что англичанин-турист вряд ли поехал бы вторым классом, он сказал, заранее кивая: «Вы путешественник?» Мартын понял, что это просто сокращение — вояжер вместо коммивояжер. «Да, именно путешественник, — ответил он, старательно придавая французской речи британскую густоту, — но путешественник в более широком смысле. Я еду очень далеко». — «Но вы в коммерции?» Мартын замотал головой. «Вы это, значит, делаете для вашего удовольствия?» — «Пожалуй», — согласился Мартын. Француз помолчал и затем спросил: «Вы едете пока что в Марсель?» — «Да, вероятно, в Марсель. У меня, видите ли, не все еще приготовления закончены». Француз кивнул, но явно был озадачен. «Приготовления, — продолжал Мартын, — должны быть в таких вещах очень тщательны. Я около года провёл в Берлине, где думал найти нужные мне сведения, и что же вы думаете?..» — «У меня племянник инженер», — вкрадчиво вставил француз. «О, нет, я не занимаюсь техническими науками, не для этого я посещал Германию. Но вот — я говорю: вы не можете себе представить, как было трудно выуживать справки. Дело в том, что я предполагаю исследовать одну далекую, почти недоступную область. Кое-кто туда пробирался, но как этих людей найти,

как их заставить рассказать? Что у меня есть? Только карта», — и Мартын указал на чемодан, где действительно находилась одноверстка, которую он добыл в Берлине в бывшем Генеральном штабе. Последовало молчание. Поезд гремел и трясся. «Я всегда утверждаю, — сказал француз, — что у наших колоний большая будущность. У ваших, разумеется, тоже, — и у вас их так много. Один лионец из моих знакомых провел десять лет в тропиках и говорит, что охотно бы туда вернулся. Он мне однажды рассказывал, как обезьяны, держа друг дружку за хвосты, переходят по стволу через реку, — это было дьявольски смешно, — за хвосты, за хвосты...» — «Колонии это особая статья, — сказал Мартын. — Я собираюсь не в колонии. Мой путь будет пролегать через дикие опасные места, и — кто знает? — может быть, мне не удастся вернуться». — «Это экспедиция научная, что ли?» — спросил француз, раздавливая задними зубами зевок. «Отчасти. Но — как вам объяснить? Это не главное. Главное, главное... Нет, право, не знаю, как объяснить». — «Понятно, понятно, — устало сказал француз. — Вы, англичане, любите пари и рекорды, — слово «рекорды» прозвучало у него сонным рычанием. — На что миру голая скала в облаках? Или — ох, как хочется спать в поезде! — айсберги, как их зовут, полюс — наконец? Или болота, гдедохнут от лихорадки?» — «Да, вы, пожалуй, попали в точку, но это не все, не только спорт. Да, это далеко не все. Ведь есть еще — как бы сказать? — любовь, нежность к земле, тысячи чувств, довольно таинственных». Француз сделал круглые глаза и вдруг, подавшись вперед, легонько хлопнул Мартына по колену. «Смеяться изволите надо мной?» — сказал он благодушно. «Ах, ничуть, ничуть». —



«Полно,— сказал он, откинувшись в свой угол.— Вы еще слишком молоды, чтобы бегать по Сахарам. Если разрешите, мы сейчас притушим свет и соснем».

### XXXVIII

Тьма. Француз почти тотчас захрапел. «А все-таки он поверил, что я англичанин. И вот так я буду ехать на север, вот так,— в вагоне, который нельзя остановить,— а потом, потом...» Он побрел по лесной тропинке, тропинка разматывалась, разматывалась, но сон к нему навстречу не шел. Мартын открыл глаза. Хорошо бы спустить оконную раму. Теплый ночной ветер хлынул в лицо, и, напрягая зрение, Мартын высунулся, но в глаза летела незримая пыль, быстрая ночь ослепляла, он втянул голову. В темноте отделения раздался кашель. «Нет уж, пожалуйста,— проговорил недовольный голос.— Я не желаю спать под звездами. Закройте, закройте». — «Закройте сами», — сказал Мартын и, выйдя в освещенный коридор, пошел мимо отделений, где угадывалась сонная машина беспомощных, полураздетых тел, сопение и вздохи, по-рыбьи открытые рты, клонящаяся и вдруг поднимающаяся голова, а прямо ей в нос — чужая пятка. Перебираясь из тамбура в тамбур по скрежещущим железным площадкам, Мартын прошел через два вагона третьего класса. Двери некоторых отделений были открыты, в одном голубые солдаты шумно играли в карты. Дальше, в коридоре спального вагона, он остановился у полуспущенного окна и так живо вспомнил вдруг детское свое путешествие по Югу Франции, и вот это откидное сидение у окна, и матерчатый ремень, при помощи которого

можно было управлять поездом, и дивную мелодию на трех языках,— особенно: периколоза... Он подумал,— какая странная, странная выдалась жизнь,— ему показалось, что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой, и в одном были молодые англичане, Дарвин, торжественно берущийся за рукоять тормоза, в другом — Алла с мужем, а не то — крымские друзья, или храпящий дядя Генрих, или Зилановы, Михаил Платонович, с газетой, Соня, тусклым взглядом уставившаяся в окно. «А потом пешечком, пешечком»,— взволнованно проговорил Мартын,— лес и выющаяся в нем тропинка... какие большие деревья! А тут, в этом спальном вагоне, тут ехало, должно быть, детство его; дрожа, освобождало кожаную шторку, а если пройти дальше, там — вагон-ресторан, и отец с матерью обедают — на столике болванка шоколада в фиолетовой обертке, а над раскидными дверцами мреет винтовой вентилятор среди цветущих реклам. И вдруг Мартын увидел в окне то, что видел и в детстве,— огни, далеко, среди темных холмов; вот кто-то их пересыпал из ладони в ладонь и положил в карман. И пока он глядел, поезд начал тормозить,— и тогда Мартын сказал себе, что, если будет сейчас станция, он выйдет, и уже оттуда пойдет к огням. Так и случилось. Подплыла платформа, лунный диск часов, и поезд остановился, выдохнув: «Уш-ш-ш-ш...» Мартын опрометью бросился к своему вагону, не сразу мог найти отделение, дважды внедрялся в чужую сопящую темноту и наконец нашел, бесцеремонно зажег свет, и француз на лавке медленно приподнялся, протирая кулаком глаза. Мартын сдернул чемодан, сунул в карман книгу,— все это страшно спеша. Он не заметил, что уже

поезд тихо поплыл, и потому едва не упал, спрыгнув на скользящую платформу. Прошли окна, окна, окна, и вот — уже поезда нет, пустые рельсы, поблескивание угольной пыли между шпал.

Мартын, глубоко дыша, пошел по платформе, и носильщик, везущий на тачке ящик с надписью «Fragile», весело сказал, с особой южной металлической интонацией: «Вы проснулись вовремя». «Скажите, — полюбопытствовал Мартын, — что в этом ящике?» Тот взглянул на ящик, точно впервые его заметил. «Музей естественных наук», — прочел он адрес. «Вот оно что, вероятно коллекция», — произнес Мартын и направился туда, где стояло несколько столиков у входа в тускло освещенный буфет.

Воздух был бархатный, теплый; белым светом горел газовый фонарь, и вокруг — металась бледная мошкара, и одна широкая, темная бабочка на седой подкладке. Стену украшало саженное объявление военного ведомства, старающееся соблазнить молодых людей прелестями военной службы: на переднем плане — бравый французский солдат, на заднем — финиковая пальма, дромадер, араб в бурнусе, а с краю — две пышные женщины в чарчафах.

Платформа была безлюдна. Поодаль стояли клетки со спящими курами. По ту сторону рельс смутно чернели растрепанные кусты. Пахло в воздухе углем, можжевельником и мочой. Из буфета вышла смуглая старуха, и Мартын спросил себе аперитив, прекрасное название коего прочел на одной из реклам. Погодя рабочий, весь в синем, сел за соседний столик и, уронив голову на руки, уснул.

«Я хочу кое-что узнать, — сказал Мартын стару-

хе.— Подъезжая сюда, я видел огни». — «Где? Вон там?» — переспросила она, протянув руку в том направлении, откуда пришел поезд. Мартын кивнул. «Это может быть только Молиньяк, — сказала она. — Да, Молиньяк. Маленькая деревня». Мартын расплатился и пошел к выходу. Темная площадь, платаны, дальше — синеватые дома, узкая улица. Он уже шел по ней, когда спохватился, что забыл посмотреть с платформы на вокзальную вывеску, и теперь не знает названия города, в который попал. Это приятно взволновало его. Как знать, — быть может, он уже за пограничной чертой... ночь, неизвестность... сейчас окликнут...

### XXXIX

Проснувшись на другое утро, Мартын не сразу мог восстановить вчерашнее, — а проснулся он оттого, что лицо щекотали мухи. Замечательно мягкая постель; аскетический умывальник, а рядом туалетное орудие скрипичной формы; жаркий голубой свет, дышащий в светлую занавеску. Он давно так славно не высыпался, давно не был так голоден. Откинув занавеску, он увидел напротив ослепительно белую стену в пестрых афишах, а несколько левее полосатые маркизы лавок, пегую собаку, которая задней лапой чесала себе за ухом, и блеск воды, струящейся между панелью и мостовой.

...Звонок громко побежал по всей двухэтажной гостинице, и, бойко топая, пришла яркоглазая грязная горничная. Он потребовал много хлеба, много масла, много кофе и, когда она все это принесла, спросил, как ему добраться до Молиньяка.

Она оказалась разговорчивой и любознательной. Мартын мельком упомянул о том, что он немец,— приехал сюда по поручению музея собирать насекомых, и при этом горничная задумчиво посмотрела на стену, где виднелись подозрительные точки. Постепенно выяснилось, что через месяц, может быть, даже раньше, между городом и Молиньяком установится автобусное сообщение. «Значит, надо пешком?» — спросил Мартын. «Пятнадцать километров,— с ужасом воскликнула горничная,— что вы! Да еще по такой жаре...»

Купив карту местности в табачной лавке, над вывеской которой торчала трехцветная трубка, Мартын зашагал по солнечной стороне улочки и сразу заметил, что его открытый ворот и отсутствие головного убора возбуждают всеобщее внимание. Городок был яркий, белый, резко разделенный на свет и на тень, с многочисленными кондитерскими. Дома, налезая друг на друга, отошли в сторону, и шоссейная дорога, обсаженная огромными платанами с телесного цвета разводами на зеленых стволах, потекла мимо виноградников. Редкие встречные, каменщики, дети, бабы в черных соломенных шляпах,— съедали глазами. Мартыну внезапно явилась мысль проделать полезный для будущего опыт: он пошел, хоронясь,— перескакивая через канаву и скрываясь за ежевику, если вдали показывалась повозка, запряженная осликом в черных шорах, или пыльный, расхлябанный автомобиль. Версты через две он и вовсе покинул дорогу и стал пробираться параллельно с ней по кособоку, где дубки, блестящий мирт и каркасные деревца заслоняли его. Солнце так пекло, так тресали цикады, так прямо и жарко пахло, что он вконец разомлел и сел в тени, вытирая платком холодную, липкую шею. Посмот-

рев на карту, он убедился в том, что на пятом километре дорога делает петлю, и потому, если пойти на восток через вон тот желтый от дрока холм, можно, вероятно, попасть на ее продолжение. Перевалив на ту сторону, он действительно увидел белую змею дороги и опять пошел вдоль нее, среди благоуханных зарослей и все радовался своей способности опознавать местность.

Вдруг он услышал прохладный звук воды и подумал, что в мире нет лучше музыки. В туннеле листвы дрожал на плоских камнях ручей. Мартын опустился на колени, утолил жажду, глубоко вздохнул. Затем он закурил: от серной спички передался в рот сладковатый вкус, и огонек спички был почти незрим в знойном воздухе. И, сидя на камне и слушая журчание воды, Мартын наслаждался сполна чувством путевой беспечности,— он, потерянный странник, был один в чудном мире, совершенно к нему равнодушном,— играли в воздухе бабочки, юркали ящерицы по камням и блестяли листья, как блестят они и в русском лесу, и в лесу африканском.

Было уже далеко за полдень, когда Мартын вошел в Молиньяк. Вот, значит, где горели огни, звавшие его еще в детстве. Тишина, зной. В бегущей вдоль узкой панели узловатой воде сквозило разноцветное дно,— черепки битой посуды. На булыжниках и на теплой панели дремали робкие, белые, страшно худые собаки. Посреди небольшой площади стоял памятник: лицо женского пола, с крыльями, поднявшее знамя.

Мартын прежде всего зашел на почтамт, где было прохладно, темновато, сонно. Там он написал матери открытку под пронзительное зудение мухи, одной лапкой приклеившейся к медово-желтому



листу на подоконнике. С этой открытки начался новый пакетик в комоде у Софьи Дмитриевны,— предпоследний.

## XL

Хозяйке единственной в Молиньяке гостиницы и затем брату хозяйки, лиловому от вина и полнокровия фермеру, к которому, ввиду полного обнищания, ему пришлось через неделю наняться в батраки, Мартын сказал, что — швейцарец (это подтверждал паспорт), и дал понять, что давно шатается по свету, работая где попало. Третий раз таким образом он менял отечество, пытая доверчивость чужих людей и учась жить инкогнито. То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по басурманским базарам,— все было очень занимательно и пестро, но где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение избранности. Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах,— и часто он доходил до косноязычия, до нервного смеха, пытаясь объяснить иноземцу, что такое «оскоми́на» или «пошлость». Ему льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он нашел в номере местного журнала шестидесятих годов стихотворение, хладнокровно подписанное «А. Джемсон»: «Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается далеко, тиха ночь и холоден камень, и ведется разговор между звездой и звездой». На него находила поволока странной задумчивости, когда, бывало, доносились из пропасти берлинского

двора звуки переимчивой шарманки, не ведающей, что ее песня жалобила томных пьяниц в русских кабаках. Музыка... Мартыну было жаль, что какой-то страж не пускает ему на язык звуков, живущих в слухе. Все же, когда, повисая на ветвях провансальских черешен, горланили молодые итальянцы-рабочие, Мартын — хрипло и бодро, и феноменально фальшиво — затягивал что-нибудь свое, и это был звук той поры, когда на крымских ночных пикниках баритон Зарянского, потопляемый хором, пел о чарочке, о семиструнной подруге, об иностранном-странном-странном офицере.

Глубоко внизу бежала под ветром люцерна, сверху наваливалась жаркая синева, у самой щеки шелестели листья в серебристых прожилках, и клеенчатая корзинка, нацепленная на сук, постепенно тяжела, наполняясь крупными, глянцевито-черными черешнями, которые Мартын срывал за тугие хвосты. Когда черешни были собраны, поспело другое: абрикосы, пропитанные солнцем, и персики, которые следовало нежно подхватывать ладонью, а то получались на них синяки. Были и еще работы: по пояс голый, с уже терракотовой спиной, Мартын, в угоду молодой кукурузе, разрыхлял, подкучивал землю, выбивал углом цапки лукавый, упорный пырей или часами нагибался над ростками яблонь и груш, щелкал секатором, — и как же весело было, когда из дворового бассейна проводилась вода к питомнику, где киркой проложенные борозды соединялись между собой и с чашками, расцапанными вокруг деревьев; блистая на солнце, растекалась по всему питомнику напущенная вода, пробиралась, как живая, вот остановилась, вот побежала дальше, словно нащупывая пути, и Мартын, изредка морщась от уколов крохотных

репейников, чавкал по щиколотки в жирной, лиловой грязи, — тут втыкал с размаху железный щит в виде преграды, — и, хлюпая, шел к чашке вокруг деревца: чашка наполнялась пузырячатой, коричневой водой, и он шарил в ней лопатой, сердобольно размягчая почву, и что-то изумительно легчало, вода просачивалась, благодатно омывала корни. Он был счастлив, что умеет утолить жажду растения, счастлив, что случай помог ему найти труд, на котором он может проверить и сметливость свою, и выносливость. Он жил, вместе с другими рабочими, в сарае, выпивал, как они, полтора литра вина в сутки и находил спортивную отраду в том, что от них не отличается ничем, — разве только светлой бородкой, незаметно им отпущенной.

По вечерам, перед тем как завалиться спать, он шел покурить и погрезить к пробковой роще за фермой. Где-то недалеко прерывисто и сочно свистали соловьи, а с бассейна уже доносился гуттаперчевый, давящийся квох лягушек. Воздух был нежен и тускловат, это были не совсем сумерки, но уже не день, и террасы олив, и мифологические холмы вдалеке, и отдельно стоящая на бугре сосна — все было немножко плоско и обморочно, а ровное, потухшее небо теснило, дурманило, и хотелось поскорее, чтобы в нем просквозили живительные звезды. Темнело, темнело, на почерневших холмах уже вздрагивали огоньки, зажигались окна в хозяйском доме, еще минута — и окрест был сумрак, и, когда, далече-далече, в неведомой темноте, горящими члениками проползал рокочущий поезд и внезапно исчезал, Мартын с удовольствием говорил себе, что оттуда, из этого поезда, видны ферма и Молиньяк, как соблазнительная пригоршня огней. Он радовался, что послушался

их, раскрыл их прекрасную, тихую сущность,— и однажды, в воскресный вечер, он набрел в Молиньяке на небольшой белый дом, окруженный крутыми виноградниками, и увидел покосившийся столб с надписью: «продается». В самом деле,— не лучше ли отбросить опасную и озорную затею, не лучше ли отказаться от желания заглянуть в беспощадную зоорландскую ночь, и не поселиться ли с молодой женой вот здесь, на клине тучной земли, ждущей трудолюбивого хозяина? Да, надо было решить: время шло, близилась черная осенняя ночь, им намеченная для перехода, и он уже чувствовал себя отдохнувшим, спокойным, уверенным в своей способности прикидываться чем угодно, нигде не теряться, всегда и везде уметь жить так, как требуют обстоятельства...

И вот, пытая судьбу, он написал Соне. Ответ пришел скоро, и, прочтя его, Мартын облегченно вздохнул. «Да не мучь ты меня,— писала Соня.— Ради Бога, довольно. Я не буду твоей женой никогда. И я ненавижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, удружи, миленький».

В тот же день он на автобусе покатыл в город, сбрил светлую бородку, взял в гостинице чемодан и пошел на станцию. Там, у того же столика, положив голову на руку, дремал тот же рабочий. Зажглись фонари, реяли летучие мыши, выцвело зеленоватое небо. «Прощай, прощай»,— на какой-то песенный лад подумал Мартын, глядя на растрепанный можжевельник по ту сторону уже дрожавших рельс, на семафор, на черный силуэт человека, подвигавшего черный силуэт тачки.

Влетел ночной экспресс, через минуту тронулся опять, и Мартына пронзило мгновенное желание

выскочить, вернуться на благополучную, на сказочную ферму. Но станция уже сгинула. Глядя в окно, он ждал появления Молиньякских огней, чтобы проститься с ними. Вот эти рассыпались вдалеке, — они были так хороши, даже как-то не верилось... «Скажите, — обратился Мартын к кондуктору, — вон эти огни, это — Молиньяк?» — «Какие огни?» — спросил тот и взглянул в окно, — но тут все заслонила вдруг поднявшийся скат. «Во всяком случае, это не Молиньяк, — сказал кондуктор. — Молиньяк не виден отсюда».

## XLI

На швейцарской границе Мартын купил «Зарубежное слово» и едва поверил глазам, заметив внизу крупный заголовок фельетона: «Зоорландия». Подписано было «С. Бубнов». Это оказался короткий, чудесным языком написанный рассказ «с налетом фантастики», как выражаются критики, и в нем Мартын со смущением и ужасом узнал (словно произошла страшная непристойность) многое из того, о чем он говорил с Соней, — но все это было странно освещено чужим, бубновским воображением. «Какая она все-таки предательница», — подумал Мартын и в порыве острой и безнадежной ревности вспомнил, как видел однажды Бубнова и Соню, идущих по темной улице под руку, и как уверил себя, что обознался, когда Соня на другой день сказала, что была с Веретенниковой в кинематографе.

Моросило, горы были видны только до половины, когда, в шарабане, среди тюков, корзин и тучных женщин, он приехал в деревню, от которой было

десять минут ходьбы до дядиного дома. Софья Дмитриевна знала, что сын скоро должен приехать, — третий день ждала телеграммы, с волнением думая, как поедет его встречать на станцию в автомобиле. Она сидела в гостиной и вышивала, когда услышала из сада басок сына и тот его круглый, глуховатый смех, которым он смеялся, когда возвращался после долгой разлуки. Мартын шел рядом с раскрасневшейся Марией, которая старалась выхватить у него чемодан, а он его на ходу все перемещал из одной руки в другую. Сын был с лица медно-темен, глаза посветлели, от него дивно пахло табачным перегаром, мокрой шерстью пиджака, поездом. «Ты теперь надолго, надолго», — повторяла она счастливым, лающим голосом. «Вообще, — да, — солидно ответил Мартын. — Только вот недели через две мне нужно будет съездить по делу в Берлин, — а потом я вернусь». «Ах, какие там дела, успеется!» — воскликнула она, — и дядя Генрих, который почивал у себя после завтрака, проснулся, прислушался, поспешно обулся и спустился вниз.

«Блудный сын, — сказал он, входя, — я очень рад тебя видеть опять». Мартын щекой коснулся его щеки, и оба одновременно чмокнули пустоту, как было между ними принято. «Надеюсь — на некоторое время?» — спросил дядя, не спуская с него глаз, и ошупью взялся за спинку стула, и сел, растопылив ноги. «Вообще — да, — ответил Мартын, пожирая ветчину, — только вот недели через две мне придется съездить в Берлин, — но потом я вернусь». — «Не вернешься, — сказала со смехом Софья Дмитриевна, — знаю тебя. Ну, расскажи, как это все было. Неужели ты правда пахал, и косил, и доил?» — «Доить очень весело», — сказал



Мартын и показал двумя расставленными пальцами, как это делается (как раз доить коров ему в Молиньяке не приходилось,— был для этого тезка, Мартэн Рок,— и неизвестно, почему он сначала рассказал именно об этом, когда было так много другого, подлинного).

Утром, взглянув на горы, Мартын снова, на тот несколько всхлипывающий мотив, подумал: «Прощай, прощай»,— но сразу пожурил себя за недостойное малодушие, и тут вошла Софья Дмитриевна с письмом и, уже с порога — так, чтобы не дать времени сыну напрасно подумать, что это от Сони,— бодро сказала: «От твоего Дарвина. Забыла тебе вчера дать». Мартын с первых же строк начал тихо смеяться. Дарвин писал, что женится на удивительной девушке, англичанке, встреченной в гостинице над Ниагарой, что ему приходится много разъезжать и что он будет через неделю в Берлине. «Да пригласи его сюда,— живо сказала Софья Дмитриевна,— чего же проще?» — «Нет-нет, я тебе говорю, что я должен там быть, выходит вполне удачно...»

«Скажи, Мартын»,— начала Софья Дмитриевна и замаялась. «В чем дело?» — спросил он со смехом. «Как у тебя там все,— ну, ты знаешь, о чем я спрашиваю... Ты, может быть, уже обручен?» Мартын щурился, и смеялся, и ничего не отвечал. «Я буду ее очень любить»,— тихо, святым голосом, произнесла Софья Дмитриевна. «Пойдем гулять, чудная погода»,— сказал Мартын, делая вид, что меняет разговор. «Ты пойдешь»,— ответила она. — Я, дура, как раз на сегодня пригласила старичков Друэ, и они умрут от разрыва сердца, если им протелефонировать».

В саду дядя Генрих прилаживал лесенку к ство-

лу яблони и потом, с величайшей осторожностью, поднялся на третью ступеньку. У колодца, позабыв о ведре, переполнявшемся блестящей водой, стояла, подбоченясь, Мария и глядела куда-то в сторону. Она очень раздобрела за последние годы, но в эту минуту, с солнечными бликами на голой шее, на платье, на туго скрученных косах, она Мартыну напоминала его мимолетную влюбленность. Мария быстро повернула к нему лицо. Толстое и тупое.

## XLII

Упруго идя по тропе в черной еловой чаще, где, там и сям, сияла желтизной тонкая берега, он с восторгом предвкушал вот такую же прохваченную солнцем глушь, с паутинами, растянутыми на лучах, с зарослями царского чая в сырых ложбинках, — и вдруг просвет, и дальше — простор, пустые осенние поля, на пригорке плотную белую церковь, пасущую несколько бревенчатых изб, готовых вот-вот разбрестись, и вокруг пригорка ясную излучину реки с кудрявыми отражениями. Он был почти удивлен, когда, сквозь черноту хвой, глянул альпийский склон.

Это напомнило ему, что до отъезда следовало рассчитаться с совестью. Деловито и неторопливо он поднялся по склону, достиг серых изломанных скал, вскарабкался по каменистой крутизне и оказался на той площадке, откуда вел за угол знакомый карниз. Не задумываясь, исполняя приказ, коего послушаться было немыслимо, он принялся боком переступать по узкой полке и, когда дошел до конца, посмотрел через плечо и увидел тотчас за каблуками солнечную бездну, и в самой

глубине — фарфоровую гостиницу. «На, выкуси», — сказал ей Мартын и, не поддаваясь головокружению, двинулся налево, откуда пришел, — и еще раз остановился, и, проверяя свою выдержку, попробовал извлечь из заднего кармана штанов портсигар и закурить. Было одно мгновение, когда, грудью касаясь скалы, он руками за нее не держался и чувствовал, как пропасть за ним напрягается, тянет его за икры и плечи. Он не закурил только потому, что выронил спичечный коробок, и было очень страшно, что звука падения не последовало, и, когда он опять двинулся по карнизу, ему казалось, что коробок все еще летит. Благополучно добравшись до площадки, Мартын крикнул от радости и опять деловито, со строгим сознанием выполненного долга, пошел вниз по склону и, найдя нужную тропинку, спустился к белой гостинице — посмотреть, что она на все это скажет. Там — в саду, около тенниса, — он увидел Валентину Львовну, сидевшую на скамейке рядом с господином в белых штанах, и понадеялся, что она не заметит его, — было жаль так скоро растрясти то драгоценное, что принес он с вершины. «Мартын Сергеич, а Мартын Сергеич», — крикнула она, и Мартын ослабилась и подошел. «Это сын доктора Эдельвейса», — сказала Валентина Львовна господину в белых штанах. Тот привстал и, не снимая канотье, отодвинул локоть, нацелился и, резко выехав вперед ладонью, крепко пожал Мартыну руку. «Грузинов», — сказал он вполголоса, как будто сообщая тайну.

«Надолго приехали?» — спросила Валентина Львовна с улыбкой и быстро натянула яркую, с пушком, губу на большие розовые зубы. «Вообще — да, — сказал Мартын. — Только вот съезжу по делам в Берлин, а потом вернусь». «Мартын... Сер-

геевич?» — тихо справился Грузинов и, на утвердительный ответ Мартына, прикрыл веки и повторил его имя-отчество еще раз про себя. «А знаете, вы...» — проговорила Валентина Львовна и сделала вазообразный жест своими дивными руками. «Еще бы,— ответил Мартын.— Я батрачил на юге Франции. Там так спокойно живется, что нельзя не поправиться». Грузинов двумя пальцами потрогал себя за углы рта, и при этом его доброе, чистое, моложавое лицо со сливочным оттенком на щеках, из которых, казалось, можно было сделать тянучки, приняло немного бабье выражение. «Да, вспомнил,— сказал он.— Его зовут Круглов, и он женат на турчанке («ах, садитесь»,— вскользь произнесла Валентина Львовна и двумя толчками отодвинула вбок свое мягкое, очень надушенное тело,— чтобы дать Мартыну место на скамейке),— у него как раз заимка на юге Франции,— развил свою мысль Грузинов,— и, кажется, он поставляет в город жасмин. Вы в каких же местах были,— тоже в духовельных?» Мартын сказал. «Во-во,— подхватил Грузинов,— где-то там поблизости. А может быть, и не там. Вы что, учитесь в берлинском университете?» — «Нет, я кончил в Кембридже». — «Весьма любопытно,— веско сказал Грузинов.— Там еще сохранились римские водопроводы,— продолжал он, обратившись к жене.— Представь себе, голубка, этих римлян, которые вдалеке от родины устраиваются на чужой земле,— и заметь: хорошо, удобно, по-барски».

Мартын никаких особенных водопроводов в Кембридже не видал, но все же счел нужным закивать. Как всегда в присутствии людей замечательных, с необыкновенным прошлым, он испытывал приятное волнение и уже решал про себя, как лучше

всего воспользоваться новым знакомством. Оказалось, однако, что Юрия Тимофеевича Грузинова не так-то легко привести в благое состояние духа, когда человек вылезает из себя, как из норы, и усаживается нагишом на солнце. Юрий Тимофеевич не желал вылезать. Он был в совершенстве добродушен и вместе с тем непроницаем, он охотно говорил на любую тему, обсуждал явления природы и человеческие дела, но всегда было что-то такое в этих речах, отчего слушатель вдруг спрашивал себя, не измывается ли над ним потихоньку этот сдобный, плотный, опрятный господин с холодными глазами, как бы не участвующими в разговоре. Когда прежде, бывало, рассказывали о нем, о страсти его к опасности, о переходах через границу, о таинственных восстаниях, Мартын представлял себе что-то властное, орлиное. Теперь же, глядя, как Юрий Тимофеевич открывает черный, из двух частей, футляр и нацепляет для чтения очки, — очень почему-то простые очки, в металлической оправе, какие под стать было бы носить пожилому рабочему, мастеру со складным аршином в кармане, — Мартын чувствовал, что Грузинов другим и не мог быть. Его простоватость, даже некоторая рыхлость, старомодная изысканность в платье (фланелевый жилет в полоску), его шутки, его обстоятельность, — все это было прочной оболочкой, коконом, который Мартын никак не мог разорвать. Однако самый факт, что встретился он с ним почти накануне экспедиции, казался Мартыну залогом успеха. Это тем более было удачно, что, вернись Мартын в Швейцарию на месяц позже, он бы Грузинова не застал: Грузинов был бы уже в Бессарабии.

Прогулки. До водопада, до Сен-Клера, до пещеры, где некогда жил отшельник. И обратно. Сентябрь был жаркий, погожий. Утром, бывало, моросит, а уже к полудню весь мир нежно вспыхивает на солнце, блестят стволы деревьев, горят синие лужи на дороге, и горы, разогревшись, освобождаются от туманного облачения. Впереди — Софья Дмитриевна и Валентина Львовна, сзади — Грузинов и Мартын. Грузинов шагал с удовольствием, крепко опираясь на самодельную трость, и не любил, когда останавливались, чтобы поглазеть на вид: он говорил, что это портит ритм прогулки. Раз с какой-то фермы метнулась овчарка и стала посреди дороги, урча. Валентина Львовна сказала: «ой, я боюсь», — зашла за спину мужа, а Мартын взял палку из руки матери, которая, обращаясь к собаке, издавала тот звук, каким у нас подгоняют лошадей. Один Грузинов поступил правильно: он сделал вид, что поднимает с земли камень, и собака сразу отскочила. Пустяк, конечно, — но Мартын любил такие пустяки. В другой раз, видя, что Мартыну трудно идти без трости по очень крутой тропинке, Грузинов извлек из кармана финский нож, выбрал деревцо и, молча, очень точными ударами ножа, смастерил ему палку, гладкую, белую, еще живую, еще свежую на ощупь. Тоже пустяк, — но эта палка почему-то пахла Россией. Софья Дмитриевна находила Грузинова милейшим и как-то за завтраком сказала мужу, что он непременно должен поближе с ним познакомиться, что о нем уже сложили легенды. «Не спорю, не спорю, — ответил дядя Генрих, поливая салат уксусом, — но ведь это авантюрист, человек не



совсем нашего общества, впрочем, если хочешь, зови». Мартын пожалел, что не услышит, как Юрий Тимофеевич разговорится с дядей Генрихом, — о деспотизме машин, о вещественности нашего века. После завтрака Мартын последовал за дядей в кабинет и сказал: «Я во вторник еду в Берлин. Мне нужно с тобой поговорить». — «Куда тебя несет?» — недовольно спросил дядя Генрих и добавил, тараща глаза и качая головой: «Твоя мать будет крайне огорчена, — сам знаешь». — «Я обязан поехать, — продолжал Мартын. — У меня есть дело». — «Амурное?» — любопытствовал дядя Генрих. Мартын без улыбки покачал головой. «Так что же?» — пробормотал дядя Генрих и поглядел на кончик зубочистки, которой он уже некоторое время производил раскопки. «Это о деньгах, — довольно твердо сказал Мартын, — я хочу попросить тебя дать мне в долг. Ты знаешь, что я летом хорошо зарабатываю. Я тебе летом отдам». — «Сколько?» — спросил дядя Генрих, и лицо его приняло довольное выражение, глаза подернулись влагой, — он чрезвычайно любил показывать Мартыну свою щедрость. «Пятьсот франков». Дядя Генрих поднял брови. «Это, значит, карточный долг, что ли?» — «Если ты не хочешь...» — начал Мартын, с ненавистью глядя, как дядя обсасывает зубочистку. Тот сразу испугался. «У меня есть правило, — проговорил он примирительно, — никогда не следует требовать от молодого человека откровенности. Я сам был молод и знаю, как иногда молодой человек бывает опрометчив, это только естественно. Но следует избегать азартных... ах, постой же, постой, куда ты, — я же тебе дам, я дам, — мне не жалко, — а насчет того, чтобы вернуть...» — «Значит, ровно пятьсот, — сказал Мартын, — и я уезжаю во вторник».

Дверь приоткрылась. «Мне можно?» — спросила Софья Дмитриевна тонким голосом. — Какие у вас тут секреты? — немного жеманно продолжала она, беспокойно перебегая глазами с сына на мужа. — Мне разве нельзя знать?» «Да нет, все о том же, — о братьях Пти», — ответил Мартын. «А он, между прочим, во вторник отбывает», — произнес дядя Генрих и сунул зубочистку в жилетный карман. «Как, уже?» — протянула Софья Дмитриевна. «Да, уже, уже, уже, уже», — с не свойственным ему раздражением сказал сын и вышел из комнаты. «Он без дела свихнется», — заметил дядя Генрих, комментируя грохот двери.

#### XLIV

Когда Мартын вошел в надоевший сад гостиницы, он увидел Юрия Тимофеевича, стоящего у теннисной площадки, на которой шла довольно живая игра между двумя юношами. «Смотрите, — козлами скачут, — сказал Грузинов, — а вот у нас был кузнец, вот он действительно здорово жарил в лапту, — за каланчу лупнет, или за речку, — очень просто. Пустить бы его сюда, как бы он разбил этих молодчиков». «В теннисе другие правила», — заметил Мартын. «Он бы им без всяких правил наклал», — спокойно возразил Грузинов. Последовало молчание. Хлопали мячи. Мартын прищурился. «У блондина довольно классный драйв». «Комик», — сказал Грузинов и потрепал его по плечу. Меж тем подошла Валентина Львовна, плавно покачивая бедрами, а потом завидела двух знакомых барышень англичанок и поплыла к ним, осторожно улыбаясь. «Юрий Тимофеевич, — сказал

Мартын, — у меня к вам разговор. — Это важно и секретно». «Сделайте одолжение. Я — гроб-могила». Мартын нерешительно огляделся. «Я не знаю...» — начал он. «Дык пойдёмте ко мне», — предложил Грузинов.

В номере было тесно, темновато, и сильно пахло духами Валентины Львовны. Грузинов растворил окно, на один миг он был как большая темная птица, раскинутая на золотом фоне, и затем все вспыхнуло, солнце, разбежавшись по полу, остановилось у двери, которую бесшумно затворил за собой Мартын. «Кажется, беспорядок, — не взыщите, — сказал Грузинов, косясь на двуспальную постель, смятую полуденной сиестой. — Садитесь в кресло, голубчик. Очень сладкие яблочки. Угощайтесь». «Я, собственно говоря, — приступил Мартын, — вот о чем хотел с вами поговорить: у меня есть приятель, этот приятель собирается нелегально перейти из Латвии в Россию...» «Вот это возьмите, с румянцем», — вставил Грузинов. «Я все думаю, — продолжал Мартын, — удастся ли ему это? Предположим — он отлично знает местность по карте, — но ведь этого недостаточно, — ведь повсюду пограничники, разведка, шпионы. Я хотел попросить вас — ну, что ли, разъяснить». Грузинов, облокотясь на стол, ел яблоко, вертел его, отхватывая то тут, то там хрустящий кусок и опять вертел, выбирая новое место для нападения. «А зачем вашему приятелю туда захаживать?» — осведомился он, бегло взглянув на Мартына. «Не знаю, он это скрывает. Кажется, хочет повидать родных в Острове или в Пскове». — «Какой паспорт?» — спросил Грузинов. «Иностранный, он иностранный подданный, — литовец, что ли». — «Так что же, — визы ему не дают?» — «Этого я

не знаю,— он, кажется, не хочет визы, ему нравится сделать это по-своему. А может быть, действительно не дают...» Грузинов доел яблоко и сказал: «Я все ищу антоновского вкуса,— иногда кажется, как будто нашел,— а присмакуюсь,— нет, все-таки не то. А насчет виз вообще — сложно. Я вам никогда не рассказывал историю, как мой шурин перехитрил американскую квоту?» — «Я думал, что что-нибудь посоветуете», — неловко проговорил Мартын. «Чудак человек,— сказал Грузинов,— ведь ваш приятель, наверное, лучше знает». — «Но я беспокоюсь за него...» — тихо произнес Мартын и с грустью подумал, что разговор выходит отнюдь не таким, каким он его воображал, и что Юрий Тимофеевич никогда не расскажет, как он сам множество раз переходил границу. «И понятно, что беспокоитесь,— сказал Грузинов.— Особенно если он новичок. Впрочем, проводник там всегда найдется». — «Ах, нет, это опасно,— воскликнул Мартын,— нарвется на предателя». — «Ну конечно, следует быть осторожным», — согласился Грузинов и, потирая ладонью глаза, внимательно, сквозь толстые белые пальцы, посмотрел на Мартына. «И очень важно, конечно, знать местность», — добавил он вяло.

Тогда Мартын проворно вынул небольшую в трубочку свернутую карту. Он знал ее наизусть, не раз забавлялся тем, что чертил ее не глядя,— но теперь следовало скрыть свое знание. «Я, видите ли, даже запасся картой,— сказал он непринужденно.— Мне, например, кажется, что Коля перейдет вот здесь, или здесь». — «Ах, его зовут Колей,— сказал Грузинов.— Запомним, запомним. А карта хорошая. Пойдите...» (появился футляр, чмокнув, открылся, блеснули очки)... «Значит, позвольте,—

какой масштаб?— о, прекрасно...— вот — Режица, вот Пыталово, на самой черте. У меня был приятель, тоже, по страшному совпадению, Коля, который раз перешел речку бродом и пошел вот так, а в другой раз начал здесь,— и лесом, лесом — очень густой лес,— Рогожинский, вот, а теперь, если взять на северо-восток...»

Грузинов теперь говорил живо и все ускорял речь, водя острием разогнутой английской булавки по карте,— и в одну минуту наметил полдюжины маршрутов, и все сыпал названиями деревень, призывал к жизни невидимые тропы,— и чем оживленнее он говорил, тем яснее становилось Мартыну, что Грузинов над ним издевается. Вдруг донеслись из сада два женских голоса, странно выкрикивающих фамилию Юрия Тимофеевича. Он высунулся. Барышни-англичанки (барышням вообще он нравился,— разыгрывал перед ними байбака, простака) звали его есть мороженое. «Вот пристающие,— сказал Грузинов,— я все равно мороженого никогда не ем». Мартыну показалось, что уже где-то, когда-то были сказаны эти слова (как в «Незнакомке» Блока) и что тогда, как и теперь, он чем-то был озадачен, что-то пытался объяснить. «Вот мой совет,— сказал Грузинов, ловко свернув карту и протянув ее Мартыну.— Передайте Коле, чтоб он оставался дома и занимался чем-нибудь дельным. Хороший малый, должно быть,— и было бы жаль, если бы он заплутал».— «Он в этом лучше меня смыслит»,— мстительно ответил Мартын.

Спустились в сад. Мартын все время усиленно улыбался и чувствовал ненависть к Грузинову, к его холодным глазам, к сливочно-белому непроницаемому лбу. Но одно было хорошо: вот, разговор произошел, это минуло,— обошелся, как с мальчиш-

кой,— черт с ним, совесть чиста, теперь можно спокойно уложить вещи и уехать.

#### XLV

В день отъезда он проснулся очень рано, как, бывало, в детстве, в рождественское утро. Мать, по английскому обычаю, осторожно входила среди ночи и подвешивала к изножию кровати чулок, набитый подарками. Для пущей убедительности она нацепляла ватную бороду и надевала мужнин башлык. Мартын, проснись он ненароком, видел бы воочию святого Николая. И вот, утром, при ярко-желтом блеске лампы и под мрачным взглядом зимнего петербургского рассвета,— с коричневым небом над темным домом напротив, где снег провел карнизы белилами,— Мартын ощупывал длинный материнский чулок, хрустящий, туго набитый почти доверху пакетиками, которые просвечивали через шелк, и, замирая, совал в него руку, начинал вытаскивать и разворачивать зверьков, бонбоньерки,— все предисловие к большому подарку,— к паровозу и вагонам и рельсам (из которых можно составлять огромные восьмерки), ожидавшим его попозже, в гостиной. И нынче тоже Мартына ожидал поезд, этот поезд уходил из Лозанны под вечер и около девяти утра прибывал в Берлин. Софья Дмитриевна, уверенная, что сын едет только затем, чтобы повидаться с маленькой Зилановой, и замечавшая, что нет из Берлина писем, и терзавшаяся мыслью, что маленькая Зиланова недостаточно, быть может, любит его и окажется дурной женой, старалась как можно веселее обставить его отъезд и, под видом несколько лихорадочной бодрости, скрывала и



тревогу свою и огорчение, что вот, едва приехав, он уже покидает ее на целый месяц. Дядя Генрих, у которого раздулся флюс, был за обедом угрюм и неразговорчив. Мартын посмотрел на перечницу, к которой дядя потянулся, и ему показалось, что эту перечницу (изображавшую толстого человечка с дырочками в серебряной лысине) он видит в последний раз. Он быстро перевел глаза на мать, на ее худые руки в бледных веснушках, на нежный профиль ее и приподнятую бровь,— словно она дивилась жирному рагу на тарелке,— и опять ему показалось, что эти веснушки, и бровь, и рагу он видит в последний раз. Одновременно и вся мебель в комнате, и ненастный пейзаж в окне, и часы с деревянным циферблатом над буфетом, и увеличенные фотографии усатых сюртучных господ в черных рамах,— все как будто заговорило, требуя к себе внимания в виду скорой разлуки. «Мне можно тебя проводить до Лозанны?— спросила мать.— Ах, я же знаю, что ты не любишь проводов,— поспешила она добавить, заметив, что Мартын наморщил нос,— но я не для того, чтобы провожать тебя, а просто хочется проехаться в автомобиле, и кроме того, мне нужно кое-что купить». Мартын вздохнул. «Ну, не хочешь — не надо,— сказала Софья Дмитриевна с чрезвычайной веселостью.— Если меня не берут, я останусь. Но только ты надень теплое пальто, на этом я настаиваю».

Они между собой всегда говорили по-русски, и это постоянно сердило дядю Генриха, знавшего только одно русское слово «ничего», которое почему-то мерещилось ему символом славянского фатализма. Теперь, будучи в скверном настроении и страдая от боли в распухшей десне, он резко отодвинул стул, смахнул салфеткой крошки с живо-

та и, посасывая зуб, ушел в свой кабинет. «Как он стар,— подумал Мартын, глядя на его седой затылок,— или это так свет падает? Такая мрачная погода».

«Ну, что ж, тебе скоро нужно собираться,— заметила Софья Дмитриевна,— вероятно, уже автомобиль подан». Она выглянула в окно. «Да, стоит. Посмотри, как там смешно: ничего в тумане не видно, будто никаких гор нет... Правда?» «Я, кажется, забыл бритву»,— сказал Мартын.

Он поднялся к себе, уложил бритву и ночные туфли, с трудом защелкнул чемодан. Вдруг он вообразил, как будет в Риге или в Режице покупать простые, грубые вещи,— картуз, полушубок, сапоги. Быть может, револьвер? «Прощай-прощай»,— быстро пропела этажерка, увенчанная черной фигуркой футболиста, которая всегда напоминала Аллу Черносивову.

Внизу, в просторной прихожей, стояла Софья Дмитриевна, заложив руки в карманы макинтоша, и напевала, как всегда делала, когда нервничала. «Остался бы дома,— сказала она, когда Мартын с ней поравнялся,— ну, что тебе ехать...» Из двери направо, над которой была голова серны, вышел дядя Генрих и, глядя на Мартына исподлобья, спросил: «Ты уверен, что взял достаточно денег?» «Вполне,— ответил Мартын.— Благодарю тебя». «Прощай,— сказал дядя Генрих.— Я с тобой прощаюсь здесь, оттого что сегодня избегаю выходить. Если бы у другого так болели зубы, как у меня, он давно бы был в сумасшедшем доме».

«Ну, пойдем,— сказала Софья Дмитриевна,— я боюсь, что ты опоздаешь на поезд».

Дождь. Ветер. У Софьи Дмитриевны сразу растрепались волосы, и она все гладила себя по

ушам. «Постой,— сказала она, не доходя калитки сада, близ двух еловых стволов, между которыми летом натягивался гамак.— Постой же, я хочу тебя поцеловать». Он опустил чемодан наземь. «Поклонись ей от меня»,— шепнула она с многозначительной улыбкой,— и Мартын кивнул («Поскорей бы уехать, это невыносимо...»).

Шофер услужливо открыл калитку. Сыро блестел автомобиль, дождь слегка звенел, ударяясь в него. «И пожалуйста, пиши, хоть раз в неделю»,— сказала Софья Дмитриевна. Она отступила и с улыбкой замахала рукой, и, шурша по грязи, черный автомобиль скрылся за еловой просадью.

## XLVI

Ночь в вагоне,— в укачливом вагоне темно-дикого цвета,— длилась без конца: мгновениями Мартын проваливался в сон, и, содрогнувшись, просыпался, и опять катился вниз — словно с американских гор, и опять взлетал, и среди глухого стука колес улавливал дыхание пассажира на нижней койке, равномерный храп, как бы участвующий в общем движении поезда.

Задолго до приезда, пока все еще в вагоне спали, Мартын спустился со своей вышки и, захватив с собой губку, мыло, полотенце и складной таз в непромокаемом чехле, прошел в уборную. Там, предварительно распластав на полу листы купленного в Лозанне «Таймса», он выправил валкие края резиновой ванны и, скинув пижаму, облепил мыльной пеной все свое крепкое, темное от загара тело. Было тесновато, сильно качало, чувствовалась какая-то сквозная близость бегущих рельс, была

опасность ненароком коснуться стенки; но Мартын не мог обойтись без утренней ванны, видя в этом своего рода героическую оборону: так отбивается упорная атака земли, наступающей едва заметным слоем пыли, точно ей не терпится — до срока — завладеть человеком. После ванны, как бы дурно он ни спал, Мартын проникался благодатной бодростью. В такие минуты мысль о смерти, о том, что когда-нибудь — и может быть, — как знать? — скоро, — придется сдаться и проделать то, что проделали биллионы, триллионы людей, эта мысль о неминуемой, общедоступной смерти едва волновала его, и только постепенно к вечеру она входила в ту силу и к ночи раздувалась иногда до чудовищных размеров. Мартыну казалось, что в обычае казнить на рассвете есть милосердие: дай Бог, чтобы это случилось утром, когда человек владеет собой, — покашливает, улыбается и вот — стал и раскинул руки.

Выйдя на дебаркадер Ангальтского вокзала, он с наслаждением вдохнул дымно-холодный утренний воздух. Вдали, с той стороны, откуда пришел поезд, видно было в пролете железно-стеклянного свода чистое, бледно-голубое небо, блеск рельс, и, по сравнению с этой светлостью, здесь, под сводом, было темновато. Он прошел мимо тусклых вагонов, мимо громадного, шипящего, потного паровоза, и, отдав билет в человеческую руку контрольной будки, спустился по ступеням и вышел на улицу. Из привязанности к образам детства он решил избрать исходной точкой своего путешествия вокзал Фридриха, где некогда ловила Норд-экспресс русская семья, жившая в Континентале. Чемодан был изрядно тяжел, но Мартын чувствовал такую неусидчивость, такое волнение, что отправил-

ся пешком; однако, дойдя до угла Потсдамской улицы, он ощутил сильный голод, прикинул оставшееся расстояние и благоразумно сел в автобус. С самого начала этого необыкновенного дня все его чувства были заострены, — ему казалось, что он запоминает лица всех встречаемых, воспринимает живее, чем когда-либо, цвета, запахи, звуки, — и автомобильные рожи, которые, бывало, в дождливые ночи терзали слух отвратительным сырым хрюканьем, теперь звучали как-то отрешенно, мелодично и жалобно. Сидя в автобусе, он услышал недалеко от себя перелив русской речи. Пожилая чета и двое круглоглазых мальчиков. Старший устроился поближе к окну, младший несколько напирал на брата. «Ресторан», — сказал старший с восторгом. «Мотри, ресторан», — сказал младший, напирая. «Сам вижу», — огрызнулся старший. «Это ресторан», — сказал младший убежденно. «А ты, дурак, заткнись», — проговорил старший. «Это еще не Линден?» — заволновалась мать. «Это еще Почтамер», — веско сказал отец. «Почтамер уже проехали», — закричали мальчики, и вспыхнул короткий спор. «Арка, во класс!» — восхитился старший, тыча в стекло пальцем. «Не ори так», — заметил отец. «Чего?» «Говорю, не ори». Тот обиделся: «Я, во-первых, сказал тихо и вовсе не орал». «Арка», — с почтением произнес младший. Все загляделось на вид Бранденбургских ворот. «Исторические места», — сказал старший мальчик. «Да, старинная арка», — подтвердил отец. «Как же он пролезет», — спросил старший, тревожась за бока автобуса. — «Ужина-то какая!» «Пролезет», — прошептал младший с облегчением. «Это Унтер», — всполошилась мать. — «Надо вылазить!» «Унтер длинный-длинный», — сказал старший мальчик. —

Я на карте видел». «Это Президент страсе», — мечтательно проговорил младший. «Заткнись, дурак! Это Унтер». Затем все вместе хором: «Унтер длинный-длинный», и мужское соло: «Век будем ехать...»

Тут Мартын вышел, и, идя по направлению к вокзалу, он со странной печалью вспомнил свое детство, свое детское волнение, — такое же и совсем другое. Но это было только мгновенное сопоставление: оно пропело и замерло.

Сдав чемодан на хранение и взяв билет до Риги на вечерний поезд, он уселся в гулком зале буфета, заказал аргусоподобную глазунью и в последнем номере «Зарубежного дела», которое читал, пока ел, нашел между прочим ехиднейшую критику на бубновскую «Каравеллу». Насытившись, он закурил и огляделся. За соседним столом сидела барышня, что-то писала и вытирала слезы, — а потом смутными и влажными глазами взглянула на него, прижав к губам карандаш, и, найдя нужное слово, продолжала быстро писать, держа карандаш, как дети, почти у самого острия и напряженно скрючив палец. Открытое на груди черное пальто с потрепанной заячьей шкуркой на вороте, янтарные бусы, нежная белизна шеи, платок, зажатый в кулаке... Он расплатился и принялся ждать, когда она встанет, чтобы последовать за ней; но, кончив писать, она облокотилась на стол, глядя вверх и полуоткрыв губы. Так она сидела долго, и где-то за стеклами уходили поезда, и Мартын, которому следовало не опоздать в консульство, решил подождать еще минут пять, не больше. Пять минут прошло. «Я бы условился с ней где-нибудь кофе выпить, — только это», — умоляюще подумал он и представил себе, как будет ей намекать на далекий путь,



на опасность и как она будет плакать. Прошла еще одна минута. «Хорошо, не надо», — сказал Мартын и, английским манером перебросив через плечо макинтош, направился к выходу.

## XLVII

Быстро шелестел открытый таксомотор, пестрел кругом великолепный Тиргартен, и прекрасны были теплые, рыжие оттенки листвы, — «унылая пора, очей очарованье»... Дальше в воду канала гляделись пышные, блеклые каштаны, а проезжая по мосту, Мартын отметил, что у каменного льва Геракла отремонтированная часть хвоста все еще слишком светлая и, вероятно, не скоро примет матерую окраску всей группы: сколько еще лет, — десять, пятнадцать? Почему так трудно вообразить себя сорокалетним человеком?

В латвийском консульстве, в подвальном этаже, было оживленно и тесно. «Тук-тук», — стучал штемпель. Через несколько минут швейцарец Эдельвейс уже вышел оттуда и неподалеку, в мрачном особняке, получил, по дешевой цене, литовскую проездную визу.

Теперь можно было отправиться к Дарвину. Гостиница находилась против Зоологического сада. «Он уже ушел, — ответил человек в конторе. — Нет, я не знаю, когда он вернется».

«Как досадно, — подумал Мартын, выходя опять на улицу. — Надо было ему указать точную дату, а не просто «на днях». Промах, промах... Как это досадно». Он посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Паспорт был в порядке, билет куплен. День, который намечался столь нагруженным вся-

кими делами, вдруг оказался пустым. Что делать дальше? Пойти в Зоологический сад? Написать матери? Нет, это потом.

И пока он так размышлял, все время в глубине сознания происходила глухая работа. Он противился ей, старался ее не замечать, ибо твердо решил еще во Франции, что больше Соню не увидит никогда. Но берлинский воздух был Соней насыщен,— вон там, в Зоологическом саду, они вместе глазели на румяно-золотого китайского фазана, на чудесные ноздри гиппопотама, на желтую собаку динго, так высоко прыгавшую. «Она сейчас на службе,— подумал Мартын,— а к Зилановым все-таки нужно зайти...»

Поплыл, разматываясь, Куртфюрстендам. Автомобили обгоняли трамвай, трамвай обгонял велосипеды; потом мост, дым поездов далеко внизу, тысяча рельс, загадочно-голубое небо; поворот и осенняя прелесть Грюневальда.

И дверь ему открыла именно Соня. Она была в черной вязаной кофточке, немного растрепанная, тусклые раскосые глаза казались заспанными, на бледных щеках были знакомые ямки. «Кого я вижу?» — протянула она и низко-низко поклонилась, болтая опущенными руками. «Ну, здравствуй, здравствуй»,— сказала она, разогнувшись, и одна черная прядь дугой легла по виску. Она отмахнула ее движением указательного пальца. «Пойдем»,— сказала она и пошла вперед по коридору, мягко топая ночными туфлями. «Я боялся, что ты на службе»,— проговорил Мартын, стараясь не смотреть на ее прелестный затылок. «Голова болит»,— сказала она, не оглядываясь, и, тихонько крикнув, подняла на ходу половую тряпку и бросила ее на сундук. Вошли в гостиную. «Присаживайся и все

говори», — сказала она, плюхнулась в кресло, тут же привстала, подобрала под себя ногу и уселась опять.

В гостиной все было то же, темный Беклин на стене, потрепанный плюш, какие-то вечные бледнолистные растения в вазе, удручающая люстра в виде плывущей хвостатой женщины, с бюстом и головой баварки и с оленьими рогами, растущими отовсюду.

«Я, собственно говоря, приехал сегодня, — сказал Мартын и стал закуривать. — Я буду здесь работать. То есть, собственно говоря, не здесь, а в окрестностях. Это фабрика, и я, значит, как простой рабочий». «Да ну, — протянула Соня и добавила, заметив его ищущий взгляд: — Ничего, брось прямо на пол». «И вот такая забавная вещь, — продолжал Мартын. — Я, видишь ли, собственно, не хочу, чтобы моя мать знала, что я работаю на фабрике. Так что, если она случайно Ольге Павловне напишет, — она, знаешь, иногда любит таким окружным путем узнать, здоров ли я и так далее, — вот, понимаешь, тогда нужно ответить, что часто у вас бываю. Я, конечно, буду очень, очень редко бывать, некогда будет».

«Ты подурнел, — задумчиво сказала Соня. — Огрубел как-то. Это, может быть, от загара».

«Скитался по всему югу Франции, — сипло проговорил Мартын, ударом пальца стряхивая пепел. — Батрачил на фермах, бродяжничал, а по воскресеньям одевался барином и ездил кутить в Монте-Карло. Очень интересная вещь — рулетка. А что ты поделываешь? Все у вас здоровы?»

«Предки здоровы, — сказала со вздохом Соня, — а вот с Ириной прямо беда. Это крест какой-то... Ну и с деньгами полный мрак. Папа говорит, что

нужно переехать в Париж. Ты в Париже тоже был?»

«Да, проездом,— небрежно ответил Мартын (день в Париже много лет тому назад, по пути из Биаррица в Берлин, дети с обручами в Тюильрийском саду, игрушечные парусники на воде бассейна, старик, кормящий воробьев, серебристая сквозная башня, склеп Наполеона, где колонны похожи на витые сюкр д'орж...).— Да, проездом. А знаешь, между прочим, какая новость,— Дарвин здесь».

Соня улыбнулась и заморгала. «Ах, приведи его! Приведи его непременно, это безумно интересно».

«Я его еще не видал. Он здесь по делам Майонинг Ньюса. Его, знаешь, посылали в Америку, настоящим стал журналистом. А главное,— у него есть в Англии невеста, и он весной женится».

«Да ведь это восхитительно,— тихо проговорила Соня.— Все как по-писаному. Я так ясно представляю ее,— высокая, глаза, как тарелки, а мать, вероятно, очень на нее похожа, только суше и краснее. Бедный Дарвин!»

«Чепуха,— сказал Мартын,— я уверен, что она очень хорошенькая и умная».

«Ну, еще что-нибудь расскажи»,— попросила Соня после молчания. Мартын пожал плечами. Как он поступил опрометчиво, пустив в оборот сразу весь свой разговорный запас. Ему казалось дико, что вот, перед ним, в двух шагах от него, сидит Соня, и он не смеет ничего ей сказать важного, не смеет намекнуть на последнее ее письмо, не смеет спросить, выходит ли она за Бубнова замуж,— ничего не смеет. Он попытался вообразить, как будет вот тут, в этой комнате, сидеть

после возвращения, как она будет слушать его,— и неужели он, как сейчас, все выпалит разом, неужели Соня так же, как сейчас, будет сквозь шелк почесывать голень и глядеть мимо него на вещи, ему неизвестные? Он подумал, что, вероятно, пришел некстати, что, быть может, она ждет кого-нибудь и что с ним ей тягостно. Но уйти он не мог, как не мог придумать ничего занимательного, и Соня своим молчанием как бы нарочно старалась довести его до крайности,— вот он совсем потеряется и выболтает все,— и про экспедицию, и про любовь, и про все то сокровенное, заповедное, чем связаны были между собой эта экспедиция, и его любовь, и «унылая пора, очей очарованье».

Стукнула дверь в прихожей, раздались шаги, и в гостиную вошел с портфелем под мышкой Зиланов. «А, очень рад,— сказал он.— Как поживает ваша матушка?» Погодя появилась из другой двери Ольга Павловна и задала тот же вопрос. «Откушайте с нами»,— сказала она. Перешли в столовую. Ирина, войдя, застыла и вдруг кинулась к Мартыну и принялась его целовать мокрыми губами. «Ира, Ирочка»,— с виноватой улыбкой приговаривала ее мать. На большом блюде были маленькие черные котлетки. Зиланов развернул салфетку и заложил угол за воротник.

За обедом Мартын показал Ирине, как нужно скрестить третий и второй палец, чтобы, касаясь ими хлебного шарика, осязать не один шарик, а два. Она долго не могла приладить руку, но, когда, наконец, с помощью Мартына, шарик под ее пальцами волшебным образом раздвоился, Ирина заворковала от восторга. Как обезьянка, которая, видя свое отражение в осколке зеркала, подглядывает снизу, нет ли там другой обезьянки, она все пригибала

голову, думая, что и впрямь под пальцами два катыша; когда же Соня после обеда повела Мартына к телефону, находившемуся за углом коридора, возле кухни, Ирина со стоном кинулась за ними, боясь, что Мартын совсем уходит, а убедившись, что это не так, вернулась в столовую и полезла под стол отыскивать закатившийся шарик. «Я хочу, собственно говоря, позвонить Дарвину,— сказал Мартын.— Нужно посмотреть в книжке, как номер гостиницы». У Сони озарилось лицо, она сказала, захлебываясь: «Ах, дай мне, я сама с ним поговорю, это будет восхитительно. Я, знаешь, его хорошенько заинтригую». «Нет, не надо, зачем же»,— ответил Мартын. «Ну, тогда я только соединю. Ведь соединить можно? Как номер?» Она наклонилась над телефонным фолиантом, в который он глядел, и пахнуло теплом от ее головы; на щеке, под самым глазом, была блудная ресничка. Вполголоса скороговоркой повторяя номер, чтобы его не забыть, она села на сундук и сняла трубку. «Только соединить, помни»,— строго заметил Мартын. Соня со старательной ясностью сказала номер и принялась ждать, бегая глазами и мягко стуча пятками о стенку сундука. Потом она улыбнулась, прижав еще плотнее трубку к уху, и вся сгорбилась, звонко прося Дарвина к телефону. «Дай мне трубку,— сказал Мартын.— Это нечестно». Соня еще больше собралась. «Я разъединю»,— сказал Мартын. Она сделала резкое движение, чтобы защитить рычажок, и в это же мгновение настороженно подняла брови. «Нет, спасибо, ничего»,— сказала она и повесила трубку. «Дома нет,— обратилась она к Мартыну, глядя на него исподлобья.— Можешь быть спокоен, я больше не позвоню. А ты какой был невежа, так и



остался». «Соня», — протянул Мартын. Она соскользнула с сундука, надела, шаркая, свалившуюся туфлю и пошла в столовую. Там убирали со стола, Елена Павловна говорила что-то Ирине, которая от нее отворачивалась. «Я вас еще увижу?» — спросил Зиланов. «Да я не знаю», — сказал Мартын. — Мне уже, пожалуй, нужно идти». «На всякий случай я с вами попрощаюсь», — проговорил Зиланов и ушел работать к себе в спальню...

«Не забывайте нас», — сказали Ольга и Елена Павловны вместе и, улыбнувшись, тронули друг дружку за рукава черных платьев. Мартын поклонился. Ирина приложила руку к груди и вдруг бросилась к нему и вцепилась в отвороты его пиджака. Он смутился, попробовал осторожно разжать ее пальцы; но она держала его крепко, а когда мать взяла ее сзади за плечи, Ирина в голос зарыдала. Мартын невольно поморщился, глядя на ужасное выражение ее лица, на красную сыпь между бровями. Резким, чуть грубым движением он оторвал ее пальцы. Ее увлекли в другую комнату, ее грудной рев удалился, замер. «Вечные истории», — сказала Соня, провожая Мартына в прихожую. Мартын надел макинтош, — макинтош был сложный, и для устройства пояска требовалось некоторое время. «Заходи как-нибудь вечером», — сказала Соня, глядя на его манипуляции и держа руки в передних карманчиках черной своей кофточки. Мартын хмуро покачал головой. «Собираемся и танцуем», — сказала Соня и, тесно сложив ноги, двинула носками, потом пятками, опять носками, опять пятками, чуть подвигаясь вбок. «Ну вот, — промолвил Мартын, хлопая себя по карманам. — Пакетов у меня, кажется, не было». «Помнишь?» — спросила Соня и тихо засвистала мотив лондонского фокстрота.

Мартын прочистил горло. «Мне не нравится твоя шляпа,— заметила она.— Теперь так не носят». «Прощай»,— сказал Мартын и очень ловко сгреб Соню, толкнулся губами в ее оскаленные зубы, в щеку, в нежное место за ухом, отпустил ее (причем она попятилась и чуть не упала) и быстро ушел, невольно хлопнув дверью.

#### XLVIII

Он заметил, что улыбается, что запыхался, что сильно бьется сердце. «Ну вот, ну вот»,— сказал он вполголоса и размашистым шагом пошел по панели, словно куда-то спешил. Спешить было некуда. Отсутствие Дарвина путало его расчеты; меж тем до отхода поезда оставалось еще несколько часов. Возвратившись пешком по Курфюрстендаму, он со смутной грустью смотрел на знакомые подробности Берлина; вот суровая церковь на перекрестке, такая одинокая среди языческих кинематографов. Вот Тауэннциенская, где пешеходы почему-то избегают проложенного посредине бульвара, предпочитая течь вдоль витрин. Вот слепец, продающий свет,— протягивающий в вечную тьму вечный коробок спичек; лотки с вереском и астрами, лотки с бананами и яблоками; человек в рыжем пальто, стоящий на сидении старого автомобиля и веером держащий плитки безымянного шоколада, о волшебном качестве которого он речисто рассказывает кучке зевак. Мартын завернул за угол, зашел в русский магазин купить книжку. Учтивый полный господин, несколько похожий на черепаху, выложил на прилавок то, что зовется «новинки». Ничего не найдя, Мартын купил «Панч» и опять

оказался на улице. Тут он с чувством неудовлетворенности вдруг вспомнил скудный зилановский обед. Рассчитав, что из ресторана уместно будет еще раз позвонить Дарвину, он направился в «Пир горой», где в прошлом году столовался. Из гостиницы ему ответили, что Дарвин еще не вернулся. «Двадцать пфеннигов с вас,— сказала напудренная дама за прилавком.— Мерси».

Хозяином ресторана являлся тот самый художник Данилевский, который бывал в Адреизе,— небольшого роста, пожилой уже человек, в стоячем воротнике, с румяным детским лицом и русой бородавкой под глазом. Он подошел к столику Мартына и застенчиво спросил: «Ба-бар-щок вкусный?» — (он испытывал странное тяготение как раз к тем звукам, которые ему трудно давались). «Очень»,— ответил Мартын и,— как всегда, с чувством щемящей нежности,— увидел Данилевского на фоне крымской ночи.

Тот сел боком к столу, поощрительно глядя, как Мартын хлебает суп. «Я вам говорил, что, по некоторым сведениям, они бы, они бы, они безвыездно живут в усадьбе,— удивительно...» («Неужели их не трогают?— подумал Мартын.— Неужели все осталось по-прежнему,— эти, например, сушеные маленькие груши на крыше веранды?»)

«Могикане»,— задумчиво сказал Данилевский.

В зале было пустовато. Плюшевые диванчики, печка с коленчатой трубой, газеты на древках.

«Все это изменится к лучшему. Знаете, я бы бабами, большими бабами, хотел расписать стены, если бы это не было так грустно. Одежды — прямо пожары, но бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. Яп, яп, пробовал. Или можно тучи, а внизу, а внизу — опушку.

Помещение мы расширим, тут, тут и там все снимем, я вчера вызвал мастера, но он почему-то не пришел».

«Много бывает народу?» — спросил Мартын.

«Обыкновенно — да. Сейчас не обеденный час, не судите. Но вообще... И хорошо представлена литературная быратья. Ракитин, например, ну, знаете, журналист, всегда в гетрах, большой проникер... А на днях, бу, а на днях, бу, Сережа Бубнов, буй, буй, — неистовствовал, бил посуду, у него запой, любовное несчастье, нехорошо, — а ведь это же жениховством пахло».

Данилевский вздохнул, постукал пальцами по столу и, медленно встав, ушел на кухню. Он опять появился, когда Мартын снимал свою шляпу с вешалки. «Завтра шашлык, — сказал Данилевский, — ждем вас», — и у Мартына мелькнуло желание сказать что-нибудь очень хорошее этому милому, грустному, так мелодично заикающемуся человеку; но что, собственно, можно было сказать?

## XLIX

Пройдя через мощеный двор, где посредине, на газоне, стояла безногая статуя и росло несколько туй, он толкнул знакомую дверь, поднялся по лестнице, отзывавшей капустой и кошками, и позвонил. Ему открыл молодой немец, один из жильцов, и, предупредив, что Бубнов болен, постучал на ходу к нему в дверь. Голос Бубнова хрипло и уныло завопил: «Херайн».

Бубнов сидел на постели, в черных штанах, в открытой сорочке, лицо у него было опухшее и небритое, с багровыми веками. На постели, на полу, на столе, где мутной желтизной сквозил стакан чаю,

валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубнов одновременно заканчивает новеллу и пытается составить по-немецки внушительное письмо Финансовому ведомству, требующему от него уплаты налога. Он не был пьян, однако и трезвым его тоже нельзя было назвать. Жажда, по-видимому, у него прошла, но все в нем было искривлено, расшатано ураганом, мысли блуждали, отыскивали свои жилища и находили развалины. Не удивившись вовсе появлению Мартына, которого он не видел с весны, Бубнов принялся разносить какого-то критика, — словно Мартын был ответствен за статью этого критика. «Травят меня», — злобно говорил Бубнов, и лицо его с глубокими глазными впадинами было при этом довольно жутко. Он был склонен считать, что всякая бранная рецензия на его книги подсказана побочными причинами, — завистью, личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно бессвязную речь о литературных интригах, Мартын дивился, что человек может так болеть чужим мнением, и его подмывало сказать Бубнову, что его рассказ о Зоорландии — неудачный, фальшивый, никуда не годный рассказ. — Когда же Бубнов без всякой связи с предыдущим, вдруг заговорил о сердечной своей беде, Мартын проклял дурное любопытство, заставившее его сюда прийти. «Имени ее не назову, не спрашивай, — говорил Бубнов, — переходивший на ты с актерской легкостью, — но помни, из-за нее еще не один погибнет. А как я любил ее... Как я был счастлив. Огромное чувство, когда, знаешь, гремят ангелы. Но она испугалась моих горних высот...»

Мартын посидел еще немного, почувствовал наплыв невозможной тоски и молча поднялся. Буб-

нов, всхлипывая, проводил его до двери. Через несколько дней (уже в Латвии) Мартын нашел в русской газете новую бубновскую «новеллу», на сей раз превосходную, и там у героя-немца был Мартынов галстук, бледно-серый в розовую полоску, который Бубнов, казавшийся столь поглощенным горем, украл, как очень ловкий вор, одной рукой вынимающий у человека часы, пока другою вытирает слезы.

Зайдя в писчебумажную лавку, Мартын купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо, после чего направился в гостиницу Дарвина, решив там подождать до последнего возможного срока и уже прямо оттуда ехать на вокзал. Было около пяти, небо затуманилось,— белесое, невеселое. Глуше, чем утром, звучали автомобильные рожки. Проехал открытый фургон, запряженный парой тощих лошадей, и там громоздилась целая обстановка,— кушетка, комод, море в золоченой раме и еще много всякой другой грустной рухляди. Через пятнистый от сырости асфальт прошла женщина в трауре, катя колясочку, в которой сидел синеглазый внимательный младенец, и, докатив колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробежал пудель, догоняя черную левретку; та боязливо оглянулась, дрожа и подняв согнутую переднюю лапу. «Что это, в самом деле,— подумал Мартын.— Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться». Он вошел в холл гостиницы. Оказалось, что Дарвина еще нет.

Тогда он выбрал в холле удобное кожаное кресло и, отвинтив колпачок с пера, принялся писать матери. Пространство на открытке было ограниченное, почерк у него был крупный, так что вместились немного. «Все благополучно,— писал он, сильно на-



жимая на перо.— Остановился на старом месте, адресуй туда же. Надеюсь, дядин флюс лучше. Дарвина я еще не видал. Зилановы передают привет. Напишу опять не раньше недели, так как ровно не о чем. Many kisses». Все это он перечел дважды, и почему-то сжалось сердце, и прошел по спине холод. «Ну, пожалуйста, без глупостей»,— сказал себе Мартын и, опять сильно нажимая, написал майорше с просьбой сохранять для него письма. Опустив открытки, он вернулся, откинулся в кресле и стал ждать, поглядывая на стенные часы. Прошло четверть часа, двадцать минут, двадцать пять. По лестнице поднялись две мулатки с необыкновенно худыми ногами. Вдруг он услышал за спиной мощное дыхание, которое тотчас узнал. Он вскочил, и Дарвин огрел его по плечу, издавая гортанные восклицания. «Негодяй, негодяй,— радостно забормотал Мартын,— я тебя ищу с утра».

## L

Дарвин как будто слегка пополнел, волосы поредели, он отпустил усы,— светлые, подстриженные, вроде новой зубной щетки. И он и Мартын были почему-то смущены и не знали, о чем говорить, и все трепали друг друга, посмеиваясь и урча. «Что же ты будешь пить,— спросил Дарвин, когда они вошли в тесный, но нарядный номер,— виски и соду? Коктейль? Или просто чай?» «Все равно, все равно, что хочешь»,— ответил Мартын и взял со столика большой снимок в дорогой раме. «Она»,— лаконично заметил Дарвин. Это был портрет молодой женщины с диадемой на лбу. Сросшиеся на переносице брови, свет-

лые глаза и лебединая шея,— все было очень отчетливо и властно. «Ее зовут Ивлин, она, знаешь, недурно поет, я уверен, что ты бы с ней очень подружился»,— и, отобрав портрет, Дарвин еще раз мечтательно на него посмотрел, прежде чем поставить на место. «Ну-с,— сказал он, повалившись на диван и сразу вытянув ноги,— какие новости?»

Вошел слуга с коктейлями. Мартын без удовольствия глотнул пряную жидкость и вкратце рассказал, как он прожил эти два года. Его удивило, что, как только он замолк, Дарвин заговорил о себе, подробно и самодовольно, чего прежде никогда не случалось. Как странно было слышать из его ленивых целомудренных уст речь об успехах, о заработках, о прекрасных надеждах на будущее,— и оказывается, писал он теперь не прежние очаровательные вещи о пиявках и закатах, а статьи по экономическим и государственным вопросам, и особенно его интересовал какой-то мораториум. Когда же Мартын, во время неожиданной паузы, напомнил ему о давнем, смешном, кембриджском,— о горящей колеснице, о Розе, о драке,— Дарвин равнодушно проговорил: «Да, хорошие были времена»,— и Мартын с ужасом отметил, что воспоминание у Дарвина умерло или отсутствует, и осталась одна выцветшая вывеска.

«А что поделывает Вадим?» — сонно спросил Дарвин.

«Вадим в Брюсселе,— ответил Мартын,— кажется, служит. А вот Зилановы тут, я часто видаюсь с Соней. Она все еще не вышла замуж».

Дарвин выпустил огромный клуб дыма. «Привет ей, привет,— сказал он.— А вот ты... Да, жалко, что ты все как-то треплешься. Вот я тебя завтра кое с

кем познакомлю, я уверен, что тебе понравится газетное дело».

Мартын кашлянул. Настало время заговорить о самом важном, о чем он еще недавно так мечтал с Дарвином поговорить.

«Спасибо,— сказал он,— но это невозможно,— я через час уезжаю из Берлина».

Дарвин слегка привстал: «Вот те на. Куда же?»

«Сейчас узнаешь. Сейчас я тебе расскажу вещи, которых не знает никто. Вот уже несколько лет,— да, несколько лет,— но это не важно...»

Он запнулся. Дарвин вздохнул и сказал: «Я уже понял. Буду шафером».

«Не надо, прошу тебя. Ведь я же серьезно. Я, знаешь, специально сегодня добивался тебя, чтобы поговорить. Дело в том, что я собираюсь нелегально перейти из Латвии в Россию,— да, на двадцать четыре часа,— и затем обратно. А ты мне нужен вот почему,— я дам тебе четыре открытки, будешь посылать их моей матери по одной в неделю,— скажем, каждый четверг. Вероятно, я вернусь раньше,— я не могу сказать наперед, сколько мне потребуется времени, чтобы сначала обследовать местность, выбрать маршрут и так далее... Правда, я уже получил очень важные сведения от одного человека. Но, кроме всего, может случиться, что я застряну, не сразу выберусь. Она, конечно, ничего не должна знать, должна аккуратно получать письма. Я дал ей мой старый адрес,— это очень просто».

Молчание.

«Да, конечно, это очень просто»,— проговорил Дарвин.

Опять молчание.

«Я только не совсем понимаю, зачем это все».

«Подумай и поймешь», — сказал Мартын.

«Заговор против добрых старых Советов? Хочешь кого-нибудь повидать? Что-нибудь передать, устроить? Признаюсь, я в детстве любил этих мрачных бородачей, бросающих бомбы в тройку жестокого наместника».

Мартын хмуро покачал головой.

«А если ты просто хочешь посетить страну твоих отцов — хотя твой отец был швейцарец, не правда ли? — но если ты так хочешь ее посетить, не проще ли взять визу и переехать границу в поезде? Не хочешь? Ты полагаешь, может быть, что швейцарцу после того убийства в женевском кафе не дадут визы? Изволь, — я достану тебе британский паспорт».

«Ты все не то говоришь, — сказал Мартын. — Я думал, ты все сразу поймешь».

Дарвин закинул руки за голову. Он все не мог решить, морочит ли его Мартын или нет, — и если не морочит, то какие именно соображения толкают его на это вздорное предприятие. Он попыхивал трубкой и сказал:

«Если, наконец, тебе нравится один только голый риск, то незачем ездить так далеко. Давай сейчас придумаем что-нибудь необыкновенное, что можно сейчас же исполнить, не выходя из комнаты. А потом поужинаем и поедем в мюзик-холл».

Мартын молчал, и лицо его было грустно. «Что за ерунда, — подумал Дарвин. — Тут есть что-то странное. Спокойно сидел в Кембридже, пока была у них гражданская война, а теперь хочет получить пулю в лоб за шпионаж. Морочит ли он меня или нет? Какие дурацкие разговоры...»

Мартын вдруг вздрогнул, взглянул на часы и встал.

«Послушай, будет тебе валять дурака,— сказал Дарвин, сильно дымя трубкой.— Это, наконец, просто невежливо с твоей стороны. Я тебя не видел два года. Или расскажи мне все толком, или признайся, что шутил,— и будем говорить о другом».

«Я тебе все сказал,— ответил Мартын.— Все. И теперь мне пора».

Он не спеша надел макинтош, поднял шляпу, упавшую на пол. Дарвин, спокойно лежавший на диване, зевнул и отвернулся к стене. «Прощай»,— сказал Мартын, но Дарвин промолчал. «Прощай»,— повторил Мартын. «Глупости, он не уйдет»,— подумал Дарвин и зевнул опять, плотно прикрыв глаза. «Не уйдет»,— снова подумал он и сонно подобрал одну ногу. Некоторое время длилось забавное молчание. Погодя, Дарвин тихо засмеялся и повернул голову. Но в комнате никого не было. Казалось даже непонятным, как это Мартыну удалось так тихо выйти. У Дарвина мелькнула мысль, не спрятался ли Мартын. Он полежал еще несколько минут, потом, осторожно оглядывая уже полутемную комнату, спустил ноги и выпрямился. «Ну, довольно, выходи»,— сказал он, услышав легкий шорох между шкапом и дверью, где была ниша для чемоданов. Никто не вышел. Дарвин подошел и глянул в угол. Никого. Только большой кусок оберточной бумаги, оставшийся от вчерашней покупки. Он включил свет, задумался, потом открыл дверь в коридор. В коридоре было тихо, светло и пусто. «Ну его к черту»,— сказал он и опять задумался, но вдруг встряхнулся и деловито начал переодеваться к ужину.

На душе у него было беспокойно, а это с ним бывало последнее время не часто. Появление Мартына не только взволновало его, как нежный отголо-

сок университетских дней,— оно еще было необычайно само по себе,— все в Мартыне было необычайно,— этот грубоватый загар, и словно запыхавшийся голос, и какое-то новое, надменное выражение глаз, и странные темные речи. Но Дарвину, последнее время жившему такой твердой, основательной жизнью, так мало волновавшемуся (даже тогда, когда объяснялся в любви), так освоившемуся с мыслью, что, после тревог и забав молодости, он вышел на гладко мощеную дорогу,— удалось справиться с необычайным впечатлением, оставленным Мартыном, уверить себя, что все это была не очень умная шутка и что, пожалуй, еще нынче Мартын появится опять. Он уже был в смокинге и разглядывал в зеркале свою мощную фигуру и большое носатое лицо, как вдруг позвонил телефон на ночном столике. Он не сразу узнал далекий, уменьшенный расстоянием голос, зазвучавший в трубке, ибо как-то так случилось, что он никогда не говорил с Мартыном по телефону. «Напоминаю тебе мою просьбу,— мутно сказал голос.— Я пришлю тебе письма на днях, пересылай их по одному. Сейчас уходит мой поезд. Я говорю: поезд. Да-да,— мой поезд...»

Голос пропал. Дарвин со звоном повесил трубку и некоторое время почесывал щеку. Потом он быстро вышел и спустился вниз. Там он потребовал расписание поездов. Да,— совершенно правильно. Что за чертовщина...

В этот вечер он никуда не пошел, все ждал чего-то, сел писать невесте, и не о чем было писать. Прошло несколько дней. В среду он получил толстый конверт из Риги и в нем нашел четыре берлинских открытки, адресованных госпоже Эдельвейс. На одной из них он высмотрел вкрапленную в рус-



ский текст фразу по-английски: «Я часто хожу с Дарвином в мюзик-холл». Дарвину сделалось не по себе. В четверг утром, с неприятным чувством, что участвует в дурном деле, он опустил первую по дате открытку в синий почтовый ящик на углу. Прошла неделя; он опустил и вторую. Затем он не выдержал и поехал в Ригу, где посетил своего консула, адресный стол, полицию, но не узнал ничего. Мартын словно растворился в воздухе. Дарвин вернулся в Берлин и нехотя опустил третью открытку. В пятницу в издательство Зиланова зашел огромный человек иностранного вида, и Михаил Платонович, всмотревшись, узнал в нем молодого англичанина, ухаживавшего в Лондоне за его дочерью. Ровным голосом, по-немецки, Дарвин изложил свой последний разговор с Мартыном и историю с пересылкой писем. «Да, позвольте,— сказал Зиланов,— позвольте, тут что-то не то,— он говорил моей дочери, что будет работать на фабрике под Берлином. Вы уверены, что он уехал? Что за странная история...» «Я сперва думал, что он шутит,— сказал Дарвин.— Но теперь я не знаю, что думать... Если он действительно...» «Какой, однако, сумасброд,— сказал Зиланов.— Кто бы мог предположить. Юноша уравновешенный, солидный... Просто, вы знаете, не верится, тут какой-то подвох... Вот что: прежде всего следует выяснить, не знает ли чего-нибудь моя дочь. Поедьте ко мне».

Соня, увидев отца и Дарвина и заметив что-то необычное в их лицах, подумала на сотую долю мгновения (бывают такие мгновенные кошмары), что Дарвин приехал делать предложение. «Алло, алло, Соня»,— воскликнул Дарвин с очень деланной развязностью; Зиланов же, тусклыми глазами глядя на дочь, попросил ее не пугаться и тут же,

чуть ли не в дверях, все ей рассказал. Соня сделалась белой как полотно и опустилась на стул в прихожей. «Но ведь это ужасно»,— сказала она тихо. Она помолчала и затем легонько хлопнула себя по коленям. «Это ужасно»,— повторила она еще тише. «Он тебе что-нибудь говорил? Ты в курсе дела?» — спрашивал Зиланов. Дарвин потирал щеку, и старался не смотреть на Соню, и чувствовал самое страшное, что может чувствовать англичанин: желание зареветь. «Конечно, я все знаю»,— тонким голосом крещендо сказала Соня. В глубине показалась Ольга Павловна, и муж сделал ей знак рукой, чтобы она не мешала. «Что ты знаешь? Отвечай же толком»,— проговорил он и тронул Соню за плечо. Она вдруг согнулась вдвое и зарыдала, упершись локтями в колени и опустив на ладони лицо. Потом — разогнулась, громко всхлипнула, словно задохнувшись, переглотнула и вперемешку с рыданиями закричала: «Его убьют, Боже мой, ведь его убьют...» «Возьми себя в руки,— сказал Зиланов.— Не кричи. Я требую, чтобы ты спокойно, толково объяснила, о чем он тебе говорил. Оля, проводи этого господина куда-нибудь,— да в гостиную же,— а, пустяки, что монтеры... Соня, перестань кричать! Испугаешь Ирину, перестань, я требую...»

Он долго ее успокаивал, долго ее допрашивал. Дарвин сидел один в гостиной. Там же монтер возился со штепселем, и электричество то гасло, то зажигалось опять.

«Девочка, конечно, права, что требует немедленных мер,— сказал Зиланов, когда он вместе с Дарвином опять вышел на улицу.— Но что можно сделать? И я не знаю, все ли это так романтически авантюрно, как ей кажется. Она сама всегда так настроена. Очень нервная натура. Я никак не могу

понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способным на... на подвиг, если хотите. Я, разумеется, кое с кем снесусь, придется, возможно, съездить в Латвию, но дело довольно безнадежное, если он действительно попытался перейти... вы знаете, так странно, ведь я же,— да, я,— когда-то сообщал фрау Эдельвейс о смерти ее первого мужа».

Прошло еще несколько дней. Выяснилось только одно: нужно терпение, нужно ждать. Дарвин отправился в Швейцарию,— предупредить Софью Дмитриевну. Все было серо, шел мелкий дождь, когда он прибыл в Лозанну. Повыше в горах пахло мокрым снегом, капало с деревьев: ноябрь вдруг отсырел после первых морозов. Наемный автомобиль быстро довез его до деревни, скользнул шинами на повороте и опрокинулся в канаву. Шофер только расшиб себе руку; Дарвин встал, нашел шляпу, стряхнул с пальто мокрый снег и спросил зевак, далеко ли до усадьбы Генриха Эдельвейса. Ему указали кратчайший путь,— тропинкой через еловый лес. Выйдя из лесу, он пересек проезжую дорогу и, пройдя по аллее, увидел зелено-коричневый дом. Перед калиткой, на темной земле, остался после прохождения глубокий след от резиновых узоров его подошв; этот след медленно наполнился мутной водой, а калитка, которую Дарвин неплотно прикрыл, через некоторое время скрипнула от порыва влажного ветра и открылась, сильно качнувшись. Погодя на нее села синица, поговорила, поговорила, а потом перелетела на еловую ветку. Все было очень мокро и тускло. Через час стало еще тусклее. Из глубины печального, бурого сада вышел Дарвин, прикрыл за собой калитку (она

тотчас открылась опять) и пошел обратно — тропинкой через лес. В лесу он остановился и закурил трубку. Его широкое коричневое пальто было расстегнуто, на груди висели концы разноцветного кашне. В лесу было тихо, только слышалось легкое чмокание: где-то, под мокрым серым снегом, бежала вода. Дарвин прислушался и почему-то покачал головой. Табак, едва разгоревшись, потух, трубка издала беспомощный сосущий звук. Он что-то тихо сказал, задумчиво потер щеку и двинулся дальше. Воздух был тусклый, через тропу местами пролегли корни, черная хвоя иногда задевала за плечо, темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно.

# А. Несмелов

## Полковник Афонин

РАССКАЗ

Уже в течение нескольких дней шли напряженные бои за обладание этим проклятым озерным дефиле. Лобовой участок русской позиции был неширок, — умещалось на нем лишь три окопавшихся батальона.

Само по себе едва ли особенно важное при производимой общей большой операции, дефиле это стало таковым в самом процессе ее развертывания.

Случилось так, как часто бывает при игре в шахматы, когда

случайно выдвинутая пешка оказывается под ударом, и вдруг противники все свое внимание сосредотачивают именно на ней, — один защищая ее, другой — на нее нападая. И наконец, происходит так, что все их силы концентрируются по обе стороны этой пешки, и отдача или удержание ее уже определяют исход всей партии... А в начале игры и отдать ее, и взять можно было без особого влияния на этот исход.

И именно такой вот решающей дело пешкой стало это злополучное дефиле в разворачивании тех боевых событий... К этой узкой, местами заболоченной и покрытой кустами тальника полосе суши противники с обеих сторон непрерывно подтягивали силы. Атаки велись уже в течение нескольких дней. Атакующие ударные части обеих сторон почти ежедневно менялись, ибо после первой же вылазки редели на три четверти своего состава и снова откатывались к укрепленным базам, где их сменяли новые батальоны.

И к концу недели на изрытом снарядами пространстве между окопами противников скопились сотни трупов и много сотен раненых, которых невозможно было подобрать, так как огонь с обеих сторон не прекращался ни днем, ни ночью. А справа и слева была топь, вода.

И надо заметить, что перед нашими проволочными заграждениями, куда добегали и где падали противники, — стонали и вопили, моля о помощи, раненые немцы, а перед германской проволокой молили о глотке воды, о милосердной добивающей пуле русские воины...

И костлявая смерть шагала между срезанными пулеметным огнем кустами тальника, — безглазый, безносый непобедимый боец со скаткой поверх



савана и с окровавленным клинком в руке вместо глупой косы, кроткого сельскохозяйственного оружия...

Н-ский полк, после двух атак почти переставший существовать, был сменен новым полком,— сибирским.

Фамилия командира сибиряков была простая, русская. Такой же была и душа у него,— славянская душа: простая, прямая, мужественная и великодушная. Глаза из-под седеющих бровей смотрели зорко, умно и в то же время ласково.

Полковник Афонин был убежден, что целым и невредимым ему с войны не вернуться. Он знал — убьют. И, глубоко религиозный, он в своей каждодневной утренней молитве не просил у Бога сохранить ему жизнь. Его молитва была иной,— короткая молитва честного воина:

«Дай мне, Боже, послужить Родине моей всем разумом моим и всей кровью моей!»

Как, думал полковник Афонин, может молиться о сохранении своей жизни начальник, ежедневно посылающий на смерть несколько тысяч единокровных людей? Ведь смерть скачет вдоль цепей их на своем вороном жеребце, и каждое мгновение ее окровавленный клинок срубает чью-нибудь голову. О своей голове не молился полковник Афонин.

Он не берег себя и не позволял, чтобы его берегли подчиненные, гордившиеся им и искренно его любившие. Но полковник не рисовался своею храбростью, он даже не знал, действительно ли он так храбр, как о нем все говорили,— он ведь просто по долгу командира всегда лишь старался быть там, где был особенно нужен. А особенно нужен он, конечно, оказывался в самых опасных пунктах боя, где офицеры терялись, где солдаты падали духом.

И секрет боевых удач этого военначальника, секрет уважения, которое он возбуждал к себе со стороны старших по службе, и любви, преклонения у подчиненных, — крылся в том, что Афонин, как и Гумилев, смело мог бы сказать о себе:

Золотое сердце России  
Верно бьется в груди моей!

Такое сердце не могло ощущать трепета ни при свисте пуль, ни при грохоте артиллерийского огня, ибо:

Я, носитель мысли великой, —  
Не могу, не могу умереть.

Маленькое сердце каждого, павшего за Родину, вечно будет биться в бессмертном сердце Нации.

Полки сменились ночью.

Заметив движение на нашей стороне, немцы усилили ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, — они опасались очередной атаки.

Ночь была беззвездная, сырая. Вечером прошумел сильный дождь. Над немецкими окопами то и дело взлетали ослепительно яркие шарики осветительных ракет. И каждая из них на несколько секунд озаряла белым светом изрытую снарядами землю, изуродованные кусты, брошенные предметы снаряжения, неподвижные бугорки трупов...

Но эта мертвая, исковерканная земля не была мертва окончательно, — она агонизировала.

В те минуты, когда огонь затихал и наступала непривычная, странная для слуха тишина, — защитники немецких и русских окопов слышали, как стонали и зывали о помощи те триста сажень

пространства, которые отделяли врагов друг от друга. По-русски, по-немецки, по-польски, по-венгерски, по-еврейски молили они о помощи, о бинте, глотке воды, о носилках; они взывали к Богу, к далеким матерям, к друзьям и товарищам; они выли, стонали, богохульствовали...

Это предсмертным томлением томились раненые.

Кто мог, поднимал руки, головы. Кто мог, пытался ползти, волоча перебитые ноги, цепляясь вывалившимися внутренностями за стебли срезанного пулями тальника.

И, чтобы не знать всего этого, чтобы не слышать этого, чтобы забыть о том, что происходит там, за проволокой,— стрелок торопился снова вдавить приклад в плечо, а пулеметчик с лицом, искаженным тоской, вновь наклонился к своей машине... И вот, в треске огня, опять смолкали стоны тех, кто остался там, за роковой чертой, в роковой зоне,— между своими и чужими.

Полковник Афонин обошел передовые окопы.

— Перед проволокой, господин полковник, сотни раненых!— доложил ему один из командиров рот.— Перед нашими — все немцы. Сейчас сам видел — полз один к нам. Уж под проволоку стал подлезать, как его немецкая же пуля добила. А как стонут, слышали?

— Слышал,— сумрачно ответил командир полка.

— Такое положение вещей... то есть, я хочу сказать, такая обстановка деморализирует бойцов, господин полковник! Сейчас за моей спиной разговор вполголоса: «Хорошо, если сразу убьют, а как-то вот так, суток трое, валяться перед проволокой германа...»

— Все понимаю, капитан!

И полковник Афонин спешно прошел к блиндажам штаба полка.

— Ваше превосходительство, перемирие необходимо!

В прижатую к уху трубку сердито фыркнул знакомый голос:

— И докладывать об этом мне не смейте! Никаких перемирий! Я даже представить себе не могу, как бы я передал ваши соображения ком-кору...

— Ваше превосходительство, убедительно прошу вас! Пусть командир корпуса снесется со штабом армии. Иначе — не ручаюсь за успех...

— Полковник!..

— Ваше превосходительство.

В трубку забулькало, зарокотало, — генерал разразился гневной негодующей речью...

— И как вы можете!.. — гремел он. — Вы, которого, с его железным полком, нарочито назначили на самый ответственный участок позиции корпуса, через час после прибытия к месту назначения начинать с того, чтобы просить о перемирии! Позор! Я не верю своим ушам... Что? Сотни раненых! Ну и что же? Ведь вы сами же говорите, что это — немцы... Пусть немцы и просят о перемирии!..

— Но, ваше превосходительство, немцы — около наших окопов. А подле немецких — наши. И, кроме того, немцы уже прекратили атаки, а нам через сутки атаковать. Мои сибиряки готовы на величайшее самопожертвование, их не пугает смерть, но умереть, истекая кровью, умереть от голода и жажды в десяти саженьях от людей, го-

товых оказать помощь и не имеющих возможности это сделать, — это... это...

— Полковник, оставьте лирику! Немцы говорят правду, — победит тот, чьи нервы крепче.

— Победит, ваше превосходительство, тот, кто не испытывает предела человеческим силам! Я смею официально доложить вам, что я не ручаюсь за успех завтрашнего удара...

— Полковник! — снова загремел было генерал и... осекся.

Он вспомнил Высочайший смотр, который две недели назад был произведен в ближайшем тылу полку полковника Афонина.

Пожав руку доблестному офицеру, Государь сказал:

— Я хочу, полковник, в ближайшем же будущем видеть вас начальником дивизии. Ведь вы уже представлены в генерал-майоры?

— Так точно, Ваше Императорское Величество, — ответил полковник Афонин. — Но обращаюсь к Вашему Величеству с покорнейшей просьбой — позволить мне остаться командиром моего полка...

— Почему же так?

— Я уже не молод, Государь, и я — не академик.

Император улыбнулся.

— Скромность — хорошее качество, — сказал он. — Но доблесть — качество лучшее. И я вас ценю за последнее качество. Через месяц получите бригаду, через полгода — дивизию...

И гремя в телефонную трубку, генерал, начальник полковника Афонина, вспомнил этот милостивый Высочайший разговор. И генерал утих. «Значит, действительно, дело там серьезно, — подумал он, — зря Афонин говорить не станет!»

И, меняя тон, вспыльчивый, но отходчивый по натуре, генерал сказал:

— Хорошо! Согласен. Сейчас свяжусь с комком и передам ему ваши соображения. Предупреждаю, — поддерживать их особенно не буду, но и поперек не стану...

И положил трубку.

А на рассвете в штаб полка пришла телефонограмма, что вопрос о перемирии разрешен благоприятно. В шестом часу утра из штаба дивизии был прислан офицер, на которого возложена была задача взять на себя обязанности парламентаря.

Немцы согласились на получасовое перемирие для уборки раненых, с тем, однако, условием, что санитары обеих сторон не переходили бы болотца, лежащего как раз посередине оспариваемого пространства. Таким образом, большинство наших раненых попадало к немцам, а раненые германцы — к нам.

Чтобы успеть управиться с ранеными за тридцать минут, полковник Афонин выслал за проволоку две резервные роты, — конечно, без оружия. Вышел он туда и сам.

Страшная картина представилась глазам... Тут и там, заползшие в каждое углубление, в каждую воронку от разрыва снаряда, копошились раненые, — окровавленные, грязные, полусумасшедшие от мук, от страха смерти, уже почти непохожие на людей.

Когда русские и немцы, с носилками, с полотнищами палаток выбежали из-за проволоки, искалеченные люди взвыли дикими, животными воплями, в которых звучало одно: жажда жить.

Десятки рук протянулись навстречу, десятки го-



лов с окровавленными, измазанными грязью лицами поднялись с земли. Кто еще был в силах, вставали сами и спешили к нашим окопам; других поднимали, помогали встать или клали на носилки и беглым шагом уносили из этого гиблого места. Полковник Афонин распоряжался, указывал, поторапливал.

Уже истекали последние минуты перемирия.

Дефиле пустело. Стихала сутолка уже и за болотцем, на немецкой половине, где противник убирал наших раненых. А на середине дефиле, мирно беседуя и то и дело поглядывая на часы, стояли наш и немецкий парламентареры и трубачи с ними.

«Живо управились!» — подумал полковник Афонин и хотел уже возвращаться к себе, как его ухо уловило стон из-за куста тальника. Он направился туда, но под его ногой зачавкала вода, топь...

«Не заглянули туда, лентяй!» — с досадой подумал об уборщиках полковник и, смело шагнув в воду, раздвинул кусты. Там, почти весь в воде, лежал огромный рыжеголовый немецкий солдат. Голубые глаза поверженного врага с мольбой и тоской искали глаз русского офицера.

— Ну, приятель, вставай! — по-немецки сказал полковник Афонин. — Или не можешь?

Немец отрицательно покачал головой и заплакал, по-детски всхлипывая.

— Эй! — крикнул командир полка солдатам. — Живо сюда!..

Четыре рослых сибиряка мигом кинулись на зов, и через несколько минут немец был уже в безопасности.

Срок перемирия истек. Парламентареры, пожав друг другу руки, беглым шагом шли каждый к своим. Звонко взвыли трубы. А через минуту щелк-

нул первый винтовочный выстрел, и русский пулемет прострочил всю ленту по козырькам немецких окопов. Бабахнула пушка, и снаряд, визжа, ввинтился в воздух.

А на рассвете, чуть на востоке засерело, Н-ский сибирский полк пошел пытаться свое счастье. Полковник Афонин шел следом за наступающей цепью...

Закричали ура. У немцев взвились красные, тревожные ракеты.

«Через пять — десять минут все решится, — подумал командир полка и перекрестился. — Помоги, Господи!..»

И он хотел обернуться и крикнуть, чтобы резервы поскорее подтягивались, как вдруг словно огненный веер пахнул на него огнем и жаром... И поднял на воздух.

Полковник Афонин потерял сознание.

Потом — сколько прошло времени? — оно снова стало возвращаться. Первое, что ощутил офицер, это — головная боль и тошнота. Затем он услышал близко около себя плач. Плакал мужчина, но по-бабьи, — всхлипывая, причитая.

И полковник из этих причитаний понял, что плачут о нем.

— И что же это такое, и почему ж это так? — басовито рыдал кто-то. — И как же это, батюшка, ты нас в такую минуту оставил? Ведь это чего же вокруг-то делается? Ведь сейчас нас всех в плен забирать будут! Голыми руками возьмут! Погибнет слава полка... — как ветром ее сметет!..

Тут всем существом своим полковник Афонин понял: с его полком плохо, — и, придя в себя окончательно, открыл глаза. И тотчас же боль, разрывав-

шая голову, вся перешла в тошноту. Полковника вырвало. Сразу же головная боль пошла на убыль, стала терпимой...

Рыдающий у ног начальника подпрапорщик Ляшко бросился на помощь, — поддержал за плечи, поднес к губам начальника жестяную кружку с водой.

— Что с полком?

— Плохо, ваше высокоблагородие... Сильно теснят. Вот-вот побежим...

— Кто принял командование?

— Заместо вас теперь командир первого батальона.

— Да, капитан Голубев! Где он?

— Сейчас только были здесь.

— Почему здесь, а не там?

— Не могу знать.

— Позовите его.

Через несколько минут в дверь землянки, низко пригнувшись, вошел рослый, широкоплечий капитан Голубев. Он был без фуражки. Волосы всклокочены. На правом плече, на защитном погоне, — кровь. Кровь размазана и по щеке.

— Что с полком?

— Нас отбросили, и противник перешел в контратаку. Резервы исчерпаны, патронов мало. Очень плохо!..

Лицо у Голубева было измученное, полубезумное. Голос срывался.

— Вы ранены?

— Пустое... царапина...

— Почему же в таком случае вы здесь, а не там, где вы нужны? Не в бою?

В глазах капитана сверкнули отчаяние и злоба.

— А вам какое дело? — вдруг истерически

закричал он.— Теперь полком командую я, а не вы! Вы не имеете права спрашивать у меня отчета в моих действиях... Я за них сам отвечаю!

Полковник Афонин взглянул внимательнее в лицо офицера и понял: человек полностью исчерпал все свои силы и больше никуда не годен.

— Ляшко!— тихо сказал командир полка подпрапорщику.— Помоги-ка, брат, мне встать...

И, с трудом поднявшись, преодолевая головокружение,— капитану Голубеву, спокойно, не повышая голоса, не сердясь:

— Я вновь вступаю в командование полком, капитан Голубев. Если вы в силах, возвращайтесь к своему батальону.

Через полчаса атаковавшие нас немцы были отброшены, и на плечах их мы ворвались в их окопы. Дефиле целиком принадлежало теперь нам. Пешка прошла все шахматное поле и стала королевой.

Год, два... Третий год.

Иркутск. Первая большевистская весна. Страстная неделя.

Неистово светит яркое весеннее солнце. На улицах снега уже почти нет,— тепло, тихо, благостно.

Но город угрюм и уныл. Походка у прохожих какая-то торопливая, голова у всех словно втянута в плечи. Будто каждый опасается неожиданного удара сзади и бежит-торопится скорее домой.

Уверенно чувствуют себя лишь красногвардейцы в длиннополых,— кавалерийский образец,— шинелях и франтоватых френчах офицерского покроя. На груди у каждого — красный бант или красная розетка; на поясах кобуры с наганами болтается плетеный ременный шнур...

Восемнадцатый год!

Генерал Афонин, под руку с супругой, медленно идет в этой толпе. За ними, с корзинкой в руках, слуга из военнопленных,— баварец Фриц: собрались на базар,— надо сделать покупки к празднику.

На генерале фронтовая шинель солдатского сукна, на плечах — полосы от погон, снятых революцией.

Вот впереди какая-то строем идущая по мостовой воинская часть. Без оружия. Нерусские мундиры...

— Это еще кто такие?— спрашивает супруга генерала.— Тоже красногвардейцы?

— Никак нет!— отвечает Фриц из-за ее спины.— Это наши, немцы. На вокзал идут. Первая партия на родину...

Немцев человек пятьдесят. Их ведет голубоглазый гигант. На огненно-рыжей голове смешная форменная германская бескозырка с круглой маленькой кокардой. Гигант смотрит в сторону генерала.

Что с ним? Почему он вытягивается, каменеет лицом и, вытаращив глаза, зычно кричит какую-то команду своим вольно идущим рядом?

И как один, все немцы поворачивают головы направо, в сторону четы Афониных. Они звонко печатают шаг по бугристой мостовой.

И это в восемнадцатом году, в большевистском Иркутске!

Генеральша даже пугается.

— Что это они?— робко спрашивает она мужа, крепче прижимаясь к его руке.

— Не понимаю, в чем дело?— пожимает плечами генерал.— Что они, шутят, Фриц?

— Не может этого быть!— решительно отвечает военнопленный.— Я сейчас узнаю, ваше превосходительство.

И он бежит к землякам. Скоро он возвращается, рысью догнав генерала и его супругу. И он не один: с ним голубоглазый рыжеволосый гигант. И немец по-строевому вытягивается перед генералом. Руку — к бескозырке.

Генерал растерялся, ничего не понимает.

— В чем дело, Фриц?

— Он вас узнал, ваше превосходительство... Вы сами нашли его где-то в болоте во время перемирия и спасли ему жизнь. В той команде, что прошла, есть еще несколько немцев из тех, которых спасли ваши люди. Он хочет благодарить вас за них и за себя.

Рыжеголовый гигант начинает говорить по-немецки,— все так же вытянувшись, с рукой, отдающей честь. Прохожие, давно уже отвыкшие от таких картин, с каким-то пугливым любопытством смотрят на эту сцену. Встревожена и жена генерала: ведь вот — подошли два красногвардейца с красными бантами на гимнастерках и, перемигиваясь, пересмеиваясь, слушают слова на непонятном для них языке.

Немец благодарит. Немец говорит, что матери, жены и сестры спасенных генералом германских солдат все эти годы молили Бога о здравии и благополучии доброго русского командира полка. И они никогда не перестанут молиться о нем. Благодарил он генерала и от себя лично, и от лица всех своих товарищей...

Он кончил. Щелкнул каблуками, рывком опустил руку и вытянул ее по шву,— огромный, сильный, окаменевший в почтении.



Генерал протянул ему руку.

Немецкий солдат осторожно пожал ее, и на его голубых глазах были слезы.

А русские солдаты, изуродованные революцией, стояли рядом и сплевывали на боевую шинель генерала подсолнечную шелуху.

1936

Гайто (Георгий Иванович) ГАЗДАНОВ  
(1903—1971)

В 1935 году Гайто Газданов писал о себе Горькому: «Я уехал за границу шестнадцати лет, пробыв перед этим год солдатом белой армии, кончил гимназию в Болгарии, учился четыре года в Сорбонне и занимался литературой в свободное от профессиональной шоферской работы время». Итак, мальчиком покинув родину, Газданов стал писателем за рубежом. Романы «Вечер у Клэр» (1929), «История одного путешествия» (1934—1935), «Ночные дороги» (1941), рассказы «Черные лебеди» (1930), «Ошибка» (1938), «Вечерний спутник» (1939), «Княжна Мэри» (1953), «Судьба Саломеи» (1959) и др. принесли автору славу, любовь, искреннее восхищение современников. Многие его произведения переведены на другие языки. Творческую манеру Газданова критики сравнивали с манерой Марселя Пруста и Владимира Набокова (Сирина). Заметим, что подобные сравнения звучат как комплименты.

## Михаил Андреевич ОСОРГИН (1878—1942)

Юрист, окончивший Московский университет, успешно соединявший адвокатскую практику с журналистской работой, активный участник революционных событий 1905 года, скрывшийся от властей за границу, корреспондент газеты «Русские ведомости» в Италии, в 1916 году Осоргин вернулся в Петроград. Продолжал сотрудничать в «Русских ведомостях». Февральская революция застала Осоргина в Москве. В этот период выходят первые книги Осоргина — «Призраки» (1917), «Сказки и несказки» (1918), «Из маленького домика» (1917—1919). В послереволюционные годы Осоргин был первым председателем Всероссийского союза журналистов, товарищем председателя Московского отделения Союза писателей, одним из организаторов Книжной лавки писателей. Принимал участие в организации и работе Комитета помощи голодающим. Вместе с другими членами этого комитета был выслан из Москвы, а затем и из страны.

В эмиграции в Осоргине, образно говоря, проснулся настоящий художник. «Сивцев Вражек», «Повесть о сестре», «Свидетель истории», «Книга о концах», «Вольный каменщик», «В тихом местечке Франции», «Письма о незначительном», «Времена» — вот что принесло Осоргину искреннюю читательскую любовь и уважение. Произведения Осоргина переведены на многие языки мира.

## Иван Алексеевич БУНИН (1870—1953)

Имя Бунина вряд ли требует представления. Почетный член Петербургской академии, лауреат

Нобелевской премии. Автор книги стихотворений «Листопад» (1901), рассказов «На край света» (1895), «Антоновские яблоки» (1900), «Сосны» (1901), «Сны» (1904), «Братья» (1914), «Господин из Сан-Франциско» (1915), «Грамматика любви» (1915), «Легкое дыхание» (1916), «Петлистые уши» (1917), книги новелл «Темные аллеи», повестей «Деревня» (1910), «Суходол» (1912), романа «Жизнь Арсеньева» (1927—1933), циклов путевых очерков «Тень птицы» (1908), «Храм солнца» (1909). Известно резко отрицательное отношение Бунина к революции, выразившееся, в частности, в произведении «Окаянные дни» (1935).

Этюд «Странствия» входит в цикл «Серп и молот» (1935).

### Владимир Владимирович НАБОКОВ (1899—1977)

Эмигрировал из России в юношеском возрасте вместе с родителями. Неприязнь к происходившему в России сохранил на всю жизнь. Уместно привести его высказывание по этому поводу, датированное шестидесятыми годами: «Мое политическое credo подобно гранитной скале — оно возникло в юности, когда в девятнадцать лет я покинул Россию, и с тех пор не менялось. В своей банальности оно даже классично. Свобода слова, свобода мысли, свобода искусства... Портреты глав правительств не должны быть больше размера почтовой марки. пытки и казни должны быть отменены...»

Начал писать под псевдонимом Сирин. «Машенька» (1926), «Защита Лужина» (1929—1930), «Камера обскура» (1932—1933), «Отчаяние»

(1934), «Дар» (1937), «Приглашение на казнь» (1935—1936), сборники рассказов «Возвращение Чорба» (1930), «Весна в Фиальте» (1956), книга воспоминаний «Другие берега» (1951) — вот крайне неполный перечень написанного Набоковым за долгую жизнь. До 1940 года Набоков писал на русском языке, затем также и на английском, с шестидесятых годов — только на английском языке. Перечисляя написанное Набоковым, хочется вспомнить слова Бунина: «Набоков открыл целую новую вселенную, за что все мы должны быть ему благодарны».

**Арсений НЕСМЕЛОВ** (псевдоним Арсения Ивановича Митропольского) —  
(1889—1945)

Окончил Кадетский корпус. До конца дней гордился, что он «кадровый поручик, гренадер, ветеран окопной войны». В октябрьские дни 1917 года, во время восстания юнкеров, честь боевого офицера заставила его оказаться на стороне белых. Воевал в армии Колчака. Вместе с остатками колчаковцев оказался в Приморье. Затем возникла необходимость бежать в Китай. В Харбине, «русском» городе Китая, Арсений Несмелов приобрел литературную известность. «Кровавый отблеск» (1928), «Без России» (1931), «Полустанок» (1938), «Белая флотилия» (1942), «Рассказы о войне» (1936) — вот вехи литературного пути поэта и прозаика Арсения Несмелова.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Г. Газданов*

ВЕЧЕР У КЛЭР. Роман . . . . . 3

*М. Осоргин*

ЗЕМЛЯ. Рассказ . . . . . 161

*И. Бунин*

СТРАНСТВИЯ. Этюд . . . . . 185

*В. Набоков*

ПОДВИГ. Роман . . . . . 200

*А. Несмелов*

ПОЛКОВНИК АФОНИН. Рассказ . . . . 409

ОБ АВТОРАХ . . . . . 424



*Литературно-художественное издание*

## **С ТОГО БЕРЕГА**

Писатели русского зарубежья  
о России.

Произведения 20—30 гг.

**Книга вторая**

Редактор

**И. А. Зимина**

Художник

**А. П. Платонов**

Художественный редактор

**С. А. Барабаш**

Технический редактор

**Л. И. Куприянова**

Корректор

**В. Г. Петрова**

Подписано к печати 5.09.91

Формат  $70 \times 100^{1/32}$

Бумага этикеточная «А»

Гарнитура таймс

Печать офсетная

Усл. печ. л. 17,55. Усл. кр. отт. 17,7. Уч.-изд. л. 16,6

Тираж 40 000 экз. Тип. зак. 2037

Издательство «Водолей». 113162, Москва, Хавская, 3

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации РСФСР. 144003,  
г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.

В издательстве  
«Водолей»  
в 1991—1992 гг.  
будет подготовлена  
и выпущена новая серия  
**«СКАЗКИ ИЗ СТАРОГО ШКАФА»**

В серии выходит сборник сказок советских писателей «Двенадцать месяцев». Книгу составят произведения, на которых воспитывались многие поколения читателей нашей страны:

сказки *С. Маршака, К. Чуковского, А. Толстого, Ю. Олеши.*

Книга предназначена для детей младшего возраста.

---

В издательстве  
«Водолей»  
в 1991—1992 гг.  
будет подготовлена  
и выпущена новая серия  
**«СКАЗКИ ИЗ СТАРОГО ШКАФА»**

В серии выходит сборник сказок советских писателей, снискавших у читателя славу подлинных мастеров русского слова, знатоков русского народного характера, философов и поэтов, сумевших запечатлеть в своих произведениях самую корневую суть народной жизни.

В книгу «Ермаковы лебеди» войдут сказы и сказки *П. Бажова, А. Платонова, И. Соколова-Микитова, С. Писахова.*

В издательстве  
«Водолей»  
в 1991—1992 гг.  
будет подготовлена  
и выпущена новая серия  
«СКАЗКИ ИЗ СТАРОГО ШКАФА»

В серии выходит сборник сказок известнейше-  
го русского собирателя русских народных сказок  
*А. Н. Афанасьева* «Заколдованная королева»

---

В издательстве  
«Володей»  
В 1991—1992 гг.  
будет подготовлена  
и выпущена новая серия  
«СКАЗКИ ИЗ СТАРОГО ШКАФА»

В серии выходит сборник сказок русских писа-  
телей девятнадцатого века «Оборотень».

В книгу войдут сказки *В. Одоевского, С. Акса-  
кова, А. Погорельского, О. Сомова, В. Брюсова* и др.









